

АЛЕКСЕИ
ТОЛСТОИ

Scan Kreyder - 10.07.2014
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

АЛЕКСЕИ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

7

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1972

**Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
В. Р. Щербиньы.**

**Иллюстрации художника
Д. А. Шмаринова.**

ПЕТР ПЕРВЫЙ

РОМАН



КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить,— вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковшик.

Чада прыгали с ноги на ногу,— все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках до пупка.

— Дверь, оглашенные! — закричала мать из избы.

Мать стояла у печи. На шестке ярко загорелись лучины. Материно морщинистое лицо осветилось огнем. Страшнее всего блеснули из-под рваного плата исплаканые глаза,— как на иконе. Санька отчего-то забоялась, захлопнула дверь изо всей силы. Потом зачерпнула пахучую воду, хлебнула, укусила льдинку и дала напиться братикам. Прошептала:

— Озябли? А то на двор сбегаем, посмотрим,— батя коня запрягает...

На дворе отец запрягал в сани. Падал тихий снежок, небо было снежное, на высоком тыну сидели галки, и здесь не так студено, как в сенях. На бате, Иване Артемиче,— так звала его мать, а люди и сам он себя на людях — Ивашкой, по прозвищу Бровкиным,— высокий колпак надвинут на сердитые брови. Рыжая боро-

да не чесана с самого покрова... Рукавицы торчали за пазухой сермяжного кафтана, подпоясанного низко лыком, лапти зло визжали по навозному снегу: у бати со сбруей не ладилось... Гнилая была сбруя, одни узлы. С досады он кричал на вороную лошаденку, такую же, как батя, коротконогую, с раздутым пузом.

— Балуй, нечистый дух!

Чада справили у крыльца малую надобность и жалась на обледенелом пороге, хотя мороз и прохватывал. Артамошка, самый маленький, едва выговорил:

— Ничаво, на печке отогреемся...

Иван Артемич запряг и стал поить коня из бадьи. Конь пил долго, раздувая косматые бока: «Что ж, кормите впроголодь, уж попою вдоволь»... Батя надел рукавицы, взял из саней, из-под соломы, кнут.

— Бегите в избу, я вас! — крикнул он чадам. Упал боком на сани и, раскатившись за воротами, рысцой поехал мимо осыпанных снегом высоких елей на усадьбу сына дворянского Волкова.

— Ой, студено, люто, — сказала Санька.

Чада кинулись в темную избу, полезли на печь, стучали зубами. Под черным потолком клубился теплый, сухой дым, уходил в волоковое окошечко над дверью: избу топили по-черному. Мать творила тесто. Двор все-таки был зажиточный — конь, корова, четыре курицы. Про Ивашку Бровкина говорили: крепкий. Падали со светца в воду, шипели угольки лучины. Санька натянула на себя, на братиков бараний тулуп и под тулупом опять начала шептать про разные страсти: про тех, не будь помянуты, кто по ночам шуршит в подполье...

— Давеча, лопни мои глаза, вот напужалась... У порога — сор, а на сору — веник... Я гляжу с печки, — с нами крестная сила! Из-под веника — лохматый, с кошачьими усами...

— Ой, ой, ой, — боялись под тулупом маленькие.

2

Чуть проторенная дорога вела лесом. Вековые сосны закрывали небо. Бурелом, чащоба — тяжелые места. Землею этой Василий, сын Волков, в позапрошлом году был поверстан в отвод от отца, московского служилого

дворянина. Поместный приказ поверстал Василия четырьмястами пятьюдесятью десятинами, и при них крестьян приписано тридцать семь душ с семьями.

Василий поставил усадьбу, да протратился, половину земли пришлось заложить в монастыре. Монахи дали денег под большой рост — двадцать копеечек с рубля. А надо было по верстке быть на государевой службе на коне добром, в панцире, с саблею, с пищалью и вести с собой ратников, троих мужиков, на конях же, в тегилях, в саблях, в саадаках... Едва-едва на монастырские деньги поднял он такое вооружение. А жить самому? А дворню прокормить? А рост плати монахам?

Царская казна пощады не знает. Что ни год — новый наказ, новые деньги — кормовые, дорожные, дани и оброки. Себе много ли перепадет? И все спрашивают с помещика — почему ленив выколачивать оброк. А с мужика больше одной шкуры не сдерешь. Истощало государство при покойном царе Алексее Михайловиче от войн, от смут и бунтов. Как погулял по земле вор анафема Стенька Разин, — крестьяне забыли бога. Чуть прижмешь покрепче, — скалят зубы по-волчьи. От тягот бегут на Дон, — откуда их ни грамотой, ни саблей не добыть.

Конь плелся дорожной рысцой, весь покрылся инеем. Ветви задевали дугу, сыпали снежной пылью. Прильнув к стволам, на проезжего глядели пушистохвостые белки, — гибель в лесах была этой белки. Иван Артемич лежал в санях и думал, — мужику одно только и оставалось: думать...

«Ну, ладно... Того подай, этого подай.. Тому заплати, этому заплати... Но — прорва, — эдакое государство! — разве ее напитаешь? От работы не бегаем, терпим. А в Москве бояре в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок, сытому дьяволу. Ну, ладно... Ты заставь, бери, что тебе надо, но не озорничай... А это, ребята, две шкуры драть — озорство. Государевых людей ныне развелось — плюнь, и там дьяк, али подьячий, али целовальник сидит, пишет... А мужик один... Ох, ребята, лучше я убегу, зверь меня в лесу заломает, смерть скорее, чем это озорство... Так вы долго на нас не прокормитесь...»

Ивашка Бровкин думал, может быть, так, а может, и не так. Из леса на дорогу выехал, стоя в санях на коленках, Цыган (по прозвищу), волковский же крестьянин, черный, с проседью, мужик. Лет пятнадцать он был в бегах, шатался меж двор. Но вышел указ: вернуть помещикам всех беглых без срока давности. Цыгана взяли под Воронежем, где он крестьянствовал, и вернули Волкову-старшему. Он опять было наострил лапти,— поймали, и велено было Цыгана бить кнутом без пощады и держать в тюрьме,— на усадьбе же у Волкова,— а как кожа подживет, вынув, в другой ряд бить его кнутом же без пощады и опять кинуть в тюрьму, чтобы ему, плуту, вору, впредь бегать было не повадно. Цыган только тем и выручился, что его отписали на Васильеву дачу.

— Здорóво,— сказал Цыган Ивану и пересел в его сани.

— Здорóво.

— Ничего не слышно?

— Хорошего будто ничего не слышно...

Цыган снял варежку, разворотил усы, бороду, скрывая лукавство:

— Встретил в лесу человека: царь, говорит, помирает.

Иван Артемич привстал в санях. Жуть взяла... «Тпру»... Стащил колпак, перекрестился:

— Кого же теперь царем-то скажут?

— Окромя, говорит, некого, как мальчонку, Петра Алексеевича. А он едва титьку бросил...

— Ну, парень! — Иван нахлобучил колпак, глаза побелели.— Ну, парень... Жди теперь боярского царства. Все распропадем...

— Пропадем, а может и ничего — так-то.— Цыган подсунулся вплоть. Подмигнул.— Человек этот сказывал — быть смуте... Может, еще поживем, хлеб пожуюем, чай — бывалые.— Цыган оскалил лешачьи зубы и засмеялся, кашлянул на весь лес.

Белка кинулась со ствола, перелетела через дорогу, посыпался снег, заиграл столбом иголок в косом свете. Большое малиновое солнце повисло в конце дороги над бугром, над высокими частоколами, крутыми кровлями и дымами волковской усадьбы...

Ивашка и Цыган оставили коней около высоких ворот. Над ними под двухскатной крышей — образ честного креста господня. Далее тянулся кругом всей усадьбы неперелазный тын. Хоть татар встречай... Мужики сняли шапки. Ивашка взялся за кольцо в калитке, сказал, как положено:

— Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас...

Скрипя лаптями, из воротни вышел Аверьян, сторож, посмотрел в щель, — свои. Проговорил: аминь, — и стал отворять ворота.

Мужики завели лошадей во двор. Стояли без шапок, косясь на слюдяные окошечки боярской избы. Туда, в хоромы, вело крыльцо с крутой лестницей. Красивое крыльцо резного дерева, крыша луковицей. Выше крыльца — кровля — шатром, с двумя полубочками, с золоченым гребнем. Нижнее жильё избы — подклеть — из могучих бревен. Готовил ее Василий Волков, под кладовые для зимних и летних запасов — хлеба, солонины, солений, мочений разных. Но, — мужики знали, — в кладовых у него одни мыши. А крыльцо — дай бог иному князю: крыльцо богатое...

— Аверьян, зачем боярин нас вызывал с конями, — повинность, что ли, какая?.. — спросил Ивашка. — За нами, кажется, ничего нет такого...

— В Москву ратных людей повезете...

— Это опять коней ломать?..

— А что слышно, — спросил Цыган, придвигаясь, — война с кем? Смута?

— Не твоего и не моего ума дело. — Седой Аверьян поклонился. — Приказано — повезешь. Сегодня батогов воз привезли для вашего-то брата...

Аверьян, не сгибая ног, пошел в сторожку. В зимних сумерках кое-где светило окошечко. Нагорожено всякого строения на дворе было много — скотные дворы, погреб, изба, кузня. Но все наполовину без пользы. Дворовых холопей у Волкова было всего пятнадцать душ, да и те перебивались с хлеба на квас. Работали, конечно, — пахали кое-как, сеяли, лес возили, но с этого разве проживешь? Труд холопий. Говорили, будто Василий посылает одного в Москву юродствовать на паперти, — тот

денег приносит. Да двое ходят с коробами в Москве же, продают ложки, лапти, свистульки... А все-таки основа — мужички. Те — кормят...

Ивашка и Цыган, стоя в сумерках на дворе, думали. Спешить некуда. Хорошего ждать неоткуда. Конечно, старики рассказывают, прежде легче было: не понравилось, ушел к другому помещику. Ныне это заказано, — где велено, там и живи. Велено кормить Василия Волкова, — как хочешь, так и корми. Все стали холопами. И ждать надо: еще труднее будет...

Завизжала где-то дверь, по снегу подлетела просто-волосая девка-дворовая, бесстыдница:

— Боярин велел, — распрягайте. Ночевать велел. Лошадям задавать — избави боже, боярское сено...

Цыган хотел было кнутом ожечь по гладкому заду эту девку, — убежала... Не спеша распрягли. Пошли в дворницкую избу ночевать. Дворовые, человек восемь, своровав у боярина сальную свечу, хлестали засаленными картами по столу, — отыгрывали друг у друга копейки... Крик, спор, один норовит сунуть деньги за щеку, другой рвет ему губы. Лодыри, и ведь — сытые!

В стороне, на лавке сидел мальчик в длинной холщовой рубахе, в разбитых лаптях, — Алешка, сын Ивана Артемича. Осенью пришлось, с голоду, за недоимку отдать его боярину в вечную кабалу. Мальчишка большеглазый, в мать. По вихрам видно — бьют его здесь. Покосился Иван на сына, жалко стало, ничего не сказал. Алешка молча, низко поклонился отцу.

Он поманил сына, спросил шепотом:

— Ужинали?

— Ужинали.

— Эх, со двора я хлеба не захватил. (Слукавил, — ломоть хлеба был у него за пазухой, в тряпице.) Ты уж расстарайся как-нибудь... Вот что, Алеша... Утром хочу боярину в ноги упасть, — делов у меня много. Чай, смиляется, — съезди вместо меня в Москву.

Алешка степенно кивнул: «Хорошо, батя». Иван стал разуваться, и — бойкой скороговоркой, будто он веселый, сытый:

— Это, что же, каждый день, ребята, у вас такое веселье? Ай, легко живете, сладко пьете...

Один, рослый холоп, бросив карты, обернулся:

— А ты кто тут, — нам выговаривать...

Иван, не дожидаясь, когда смажут по уху, полез на полати.

4

У Василия Волкова остался ночевать гость — сосед, Михайла Тыртов, мелкопоместный сын дворянский. Отужинали рано. На широких лавках, поближе к муравленой печи, постланы были кошмы, подушки, медвежьи шубы. Но по молодости не спалось. Жарко. Сидели на лавке в одном исподнем. Беседовали в сумерках, позевывали, крестили рот.

— Тебе, — говорил гость степенно и тихо, — тебе, Василий, еще многие завидуют... А ты влезь в мою шкуру. Нас у отца четырнадцать. Семеро поверстаны в отвод, бьются на пустошах, у кого два мужика, у кого трое, — остальные в бегах. Я, восьмой, новик, завтра верстаться буду. Дадут погорелую деревеньку, болото с лягушками... Как жить? А?

— Ныне всем трудно, — Василий перебирал одной рукой кипарисные четки, свесив их между колен. — Все бьемся... Как жить?..

— Дед мой выше Голицына сидел, — говорил Тыртов, — у гроба Михаила Федоровича дневал и ночевал. А мы дома в лаптях ходим... К стыду уж привыкли. Не о чести думать, а как живу быть... Отец в Поместном приказе с просьбами весь лоб расколотил: ныне без доброго посула и не попросишь. Дьяку — дай, подьячему — дай, младшему подьячему — дай. Да еще не берут — косоротятся... Просили мы о малом деле подьячего, Степку Ремезова, послали ему посулы, десять алтын, — едва эти деньги собрали, — да сухих карасей пуд. Деньги-то он взял, жаждущая рожа и пьяная, а карасей велел на двор выкинуть... Иные, кто половчее, домогаются... Володька Чемоданов с челобитной до царя дошел, два сельца ему в вечное владенье дано. А Володька, — все знают, в прошлую войну от поляков без памяти бегал с поля, и отец его под Смоленском три раза бегал с поля... Так, чем их за это наделов лишить, из дворов выбить прочь, — их селами жалуют... Нет правды...

Помолчали. От печи пыхало жаром. Сухо тыркали сверчки. Тишина, скука. Даже собаки перестали брехать на дворе. Волков проговорил, задумавшись:

— Король бы какой взял нас на службу — в Венецию, или в Рим, или в Вену... Ушел бы я без оглядки... Василий Васильевич Голицын отцу моему крестному книгу давал, так я брал ее читать... Все народы живут в богатстве, в довольстве, одни мы нищие... Был недавно в Москве, искал оружейника, послали меня на Кукуй-слободу, к немцам... Ну, что ж, они не православные, — их бог рассудит... А как вошел я за ограду, — улицы подметены, избы чистые, веселые, в огородах — цветы... Иду и робею и — дивно, ну будто во сне... Люди приветливые и ведь тут же, рядом с нами живут. И — богатство! Один Кукуй богаче всей Москвы с пригородами...

— Торговлишкой заняться? Опять деньги нужны, — Михайла поглядел на босые ноги. — В стрельцы пойти? Тоже дело не наживочное. Покуда до сотника доберешься, — горб изломают. Недавно к отцу заезжал конюх из царской конюшни, Данило Меньшиков, рассказывал: казна за два с половиной года жалованье задолжала стрелецким полкам. А поди, пошуми, — сажают за караул. Полковник Пыжов гоняет стрельцов на свои подмосковные вотчины, и там они работают как холопы... А пошли жаловаться, — челобитчиков били кнутом перед съезжей избой. Ох, стрельцы злы... Меньшиков говорил: погодите, они еще покажут...

— Слышно, говорят: кто в боярской-то шубе, и не ездит за Москву-реку.

— А что ты хочешь? Все обнищали... Такая тягота от даней, оброков, пошлин, — беги без оглядки... Меньшиков рассказывал: иноземцы — те торгуют, в Архангельске, в Холмогорах поставлены дворы у них каменные. За границей покупают за рубль, продают у нас за три... А наши купчишки от жадности только товар гноят. Посадские от беспощадного тягла бегут кто в уезды, кто в дикую степь. Ныне прорубные деньги стали брать, за проруби в речке... А куда идут деньги? Меньшиков рассказывал: Василий Васильевич Голицын палаты воздвиг на реке Неглинной. Снаружи обиты они медными листами, а внутри — золотой кожей...

Василий поднял голову, посмотрел на Михайлу. Тот подобрал ноги под лавку и тоже глядит на Василия. Только что сидел смирный человек — подменили, — усмехнулся, ногой задрожал, лавка под ним заходила...

— Ты чего? — спросил Василий тихо...

— На прошлой неделе под селом Воробьевым опять обоз разбили. Слышал? (Василий нахмурился, взялся за четки.) Суконной сотни купцы везли красный товар... Погорячились в Москву к ужину доехать, не доехали... Купчишко-то один жив остался, донес. Кинулись ловить разбойников, одни следы нашли, да и те замело...

Михайла задрожал плечами, засмеялся:

— Не пужайся, я там не был, от Меньшикова слышал... (Он наклонился к Василию.) Следочки-то, говорят, прямо на Варварку привели, на двор к Степке Одоевскому... Князь Одоевского меньшому сыну... Нам с тобой однолетку...

— Спать надо ложиться, спать пора, — угрюмо сказал Василий.

Михайла опять невесело засмеялся:

— Ну, пошутили, давай спать.

Легко поднялся с лавки, хрустнул суставчиками, потягиваясь. Налил квасу в деревянную чашку и пил долго, поглядывая из-за края чашки на Василия.

— Двадцать пять человек дворовых снаряжены саблями и огневым боем у Степки-то Одоевского... Народ отчаянный... Он их приучил: больше года не кормил, — только выпускал ночью за ворота искать добычи... Волки...

Михайла лег на лавку, натянул медвежий тулуп, руку подsunул под голову, глаза у него блестели.

— Дсносить пойдешь на мой разговор?

Василий повесил четки, молча улегся лицом к соновой стене, где проступала смола. Долго спустя ответил:

— Нет, не донесу.

За воротами Земляного вала ухабистая дорога пошла кружить по улицам, мимо высоких и узких, в два жилья, бревенчатых изб. Везде — кучи золы, падаль, битые

горшки, сношенное тряпье,— все выкидывалось на улицу.

Алешка, держа вожжи, шел сбоку саней, где сидели трое холопов в бумажных, набитых паклей, военных колпаках и толсто стеганных, нестигающихся войлочных кафтанах с высокими воротниками — тегилеях. Это были ратники Василия Волкова. На кольчуги денег не хватило, одел их в тегилей, хотя и робел,— как бы на смотре не стали его срамить и ругать: не по верстке-де оружие показываешь, заворовался...

Василий и Михайла сидели в санях у Цыгана. Позади холопы вели коней: Васильева — в богатом чепраке и персидском седле и Михайлова разбитого мерина, оседланного худо, плохо.

Михайла сидел, насупившись. Их обгоняло, крича и хлеща по лошадям, много дворян и детей боярских в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферязях, в терликах, в турецких кафтанах,— весь уезд съезжался на Лубянскую площадь, на смотр, на земельную верстку и переверстку. Люди, все до одного, смеялись, глядя на Михайлова мерина: «Эй, ты — на воронье кладбище ведешь? Гляди, не дойдет...» Перегоняя, жгли кнутами,— мерин приседал... Гогот, хохот, свист...

Переехали мост через Яuzu, где на крутом берегу вертелись сотни небольших мельниц. Рысью вслед за санями и обозами проехали по площади вдоль белооблезлой стены с квадратными башнями и пушками меж зубцов. В Мясницких низеньких воротах — крик, ругань, давка,— каждому надобно проскочить первому, бьются кулаками, летят шапки, трещат сани, лошади лезут на дыбы. Над воротами теплится неугасимая лампада перед темным ликом.

Алешку исхлестали кнутами, потерял шапку,— как только жив остался! Выехали на Мясницкую... Вытирая кровь с носа, он глядел по сторонам: ох, ты!

Народ валом валил вдоль узкой навозной улицы. Из дощатых лавчонок перегибались, кричали купчишки, ловили за полы, с прохожих рвали шапки,— зазывали к себе. За высокими заборами — каменные избы, красные, серебряные крутые крыши, пестрые церковные маковки. Церквей — тысячи. И большие пятиглавые, и маленькие — на перекрестках — чуть в дверь человеку войти, а

внутри десятерым не повернуться. В раскрытых притворах жаркие огоньки свечей. Заснувшие на коленях старухи. Косматые, страшные нищие трясут лохмотьями, хватают за ноги, гнусава, заголяют тело в крови и дряни... Проходим в нос безместные страшноглазые попы суют калач, кричат: «Купец, идем служить, а то — калач закушу...» Тучи галок над церквушками...

Едва продрались за Лубянку, где толпились кучками по всей площади конные ратники. Вдали, у Никольских ворот, виднелась высокая — трубой — соболья шапка боярина, меховые колпаки дьяков, темные кафтаны выборных лучших людей. Оттуда худой, длинный человек с длинной бородищей кричал, махал бумагой. Тогда выезжал дворянин, богато ли, бедно ли вооруженный, один или со своими ратниками, и скакал к столу. Спешивался, кланялся низко боярину и дьякам. Они осматривали вооружение и коней, прочитывали записи, — много ли земли ему поверстано. Спорили. Дворянин божился, рвал себя за грудь, а иные, прося, плакали, что вконец захудали на землишке и помирают голодной и озябают студеной смертью.

Так, по стародавнему обычаю, каждый год перед весенними походами происходил смотр государевых служилых людей — дворянского ополчения.

Василий и Михайла сели верхами. Цыганову и Алешкину лошадей распрягли, посадили на них без сидел двух волковских холопов, а третьему, пешему, велели сказать, что лошадь-де по дороге ногу побила. Сани бросили.

Цыган только за стремя схватился: «Куда коня-то моего угоняете? Боярин! Да милостивый!»... Василий погрозил нагайкой: «Пошуми-ка...» А когда он отъехал, Цыган изругался по-черному и по-матерному, бросил в сани хомут и дугу и лег сам, зарылся в солому с досады...

Об Алешке забыли. Он прибрал сбрую в сани. Посидел, прозяб без шапки, в худой шубейке. Что ж — дело мужицкое, надо терпеть. И вдруг потянул носом сытный дух. Мимо шел посадский в заячьей шапке, пухлый мужик с маленькими глазами. На животе у него, в лотке под ветошью дымились подовые пироги. «Дьявол!» — покосился на Алешку, приоткрыл с угла ветошь, — «румяные, горячие!» Духом поволокло Алешку к пирогам:

— Почем, дяденька?

— Полденьги пара. Язык проглотишь.

У Алешки за щекой находились полденьги — полушка, — когда уходил в холопы, подарила мамка на горькое счастье. И жалко денег, и живот разворачивает.

— Давай, что ли, — грубо сказал Алешка. Купил пироги и поел. Сроду такого не ел. А когда вернулся к саням, — ни кнута, ни дуги, ни хомута со шлеей нет, — унесли. Кинулся к Цыгану, — тот из-под соломы обругал. У Алешки отнялись ноги, в голове — пустой звон. Сел было на отвод саней — плакать. Сорвался, стал кидаться к прохожим: «Вора не видали?..» Смеются. Что делать? Побежал через площадь искать боярина.

Волков сидел на коне, подбоченясь, — в медной шапке, на груди и на брюхе морозом заиндевели железные, пластинами, латы. Василия не узнать — орел. Позади — верхами — два холопа, как бочки, в тегилеях, на плечах — рогатины. Сами понимали: ну и вояки! глупее глупого. Ухмылялись.

Растирая слезы, гнусава до жалости, Алешка стал сказывать про беду.

— Сам виноват! — крикнул Василий, — отец выпорот. А сбрую отец новую не справит, — я его выпорю. Пошел, не вертись перед конем!

Тут его выкрикнул длинный дьяк, махая бумагой. Волков с места вскачь, и за ним холопы, колотя лошадек лаптями, побежали к Никольским воротам, где у стола, в горлатной шапке и в двух шубах — бархатной и поверх — нагольной, бараньей, — сидел страшный князь Федор Юрьевич Ромодановский.

Что ж теперь делать-то? Ни шапки, ни сбруи... Алешка тихо голосил, бредя по площади. Его окликнул, схватил за плечо Михайла Тыртов, нагнулся с коня.

— Алешка, — сказал и у самого — слезы, и губы трясутся, — Алешка, для бога беги к Тверским воротам, — спросишь, где двор Данилы Меньшикова, конюха. Войдешь и Даниле кланяйся три раза в землю... Скажи — Михайла, мол, бьет челом... Конь, мол, у него заплошал... Стыдно, мол... Дал бы он мне на день какого ни на есть коня — показаться. Запомнишь? Скажи — я отслужу... За коня мне хоть человека зарезать... Плачь, проси...

— Просить буду, а он откажет? — спросил Алешка.

— В землю по плечи тебя вобью! — Михайла выкатил глаза, раздул ноздри.

Без памяти Алешка кинулся бежать, куда было сказано.

Михайла промерз в седле, не евши весь день... Солнце клонилось в морозную мглу. Синел снег. Звонче скрипели конские копыта. Находили сумерки, и по всей Москве на звонницах и колокольнях начали звонить к вечерне. Мимо проехал шагом Василий Волков, хмуро опустив голову. Алешка все не шел. Он так и не пришел совсем.

6

В низкой, жарко натопленной палате лампы озаряли низкий свод и темную роспись на нем: райских птиц, завитки трав.

Под темными ликами образов, на широкой лавке уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич.

Ждали этого давно: у царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять заутрени, присел на стульчик, да и свалился. Кинулись — едва бьется сердце. Положили под образа. От воды у него ноги раздуло, как бревна, и брюхо стало пухнуть. Вызвали немца-лекаря. Он выпустил воду, и царь затих, — стал тихо отходить. Потемнели глазные впадины, заострился нос. Одно время он что-то шептал, не могли понять — что? Немец нагнулся к его бескровным устам: Федор Алексеевич невнятно, одним дуновением произносил по-латыни вирши. Лекарю почудился в царском шепоте стих Овидия... На смертном одре — Овидия? Несомненно, царь был без памяти...

Сейчас даже его дыхания не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет, — сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким, суровый и восковой, в черной мантии и клобуке с белым восьмиконечным крестом, сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти. У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна, — сквозь туман слез глядела туда, где из груди перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было семнадцать лет, взяли ее во дворец из бедной семьи Апраксиных за красоту. Два только месяца побыла ца-

рицей. Темнобровое глупенькое ее личико распухло от слез. Она только всхлипывала по-ребячьи, хрустела пальцами,— голосить боялась.

В другом конце палаты, в сумраке под сводами, шепталась большая царская родня — сестры, тетки, дядья и ближние бояре: Иван Максимович Языков — маленький, в хорошем теле, добрый, сладкий, человек великой ловкости и глубокий проникатель дворцовых обхождений; постный и благостный старец, книжник, первый постельничий — Алексей Тимофеевич Лихачев и князь Василий Васильевич Голицын — писанный красавец: кудрявая бородка с проплешинкой, вздернутые усы, стрижен коротко,— по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках,— князь роста был среднего.

Синие глаза его блестели возбужденно. Час был решительный,— надо сказывать нового царя. Кого? Петра или Ивана? Сына Нарышкиной или сына Милославской? Оба еще несмышленные мальчишки, за обоими сила — в родне. Петр — горяч умом, крепок телесно, Иван — слабоумный, больной, вей из него веревки... Что предпочесть? Кого?

Василий Васильевич становился боком к двустворчатой, обложенной медными бармами дверце, припав ухом, прислушивался,— в соседней тронной палате гудели бояре. С утра, не пивши, не евши, прели в шубах,— Нарышкины с товарищи и Милославские с товарищи. Полна палата: лаются, поминают обиды, чуют: сегодня кто-то из них поднимется наверх, кто-то полетит в ссылку.

— Гвалт, проше пана,— прошептал Василий Васильевич и, подойдя к Языкову, сказал ему по-польски тихо: — ты б, Иван Максимович, все ж поспрошал патриарха,— он-то за кого?

Курчавый, сильно заросший русым волосом Языков румяно, сладко улыбнулся, глядя снизу вверх,— от жары запотел, пах розовым маслом:

— И владыка и мы твоего слова ждем, князюшка... А мы-то как будто решили...

Подошел Лихачев, вздохнул, осторожно кладя белую руку на бороду.

— Разбиваться нельзя, Василий Васильевич, в сей великий час. Мы так размыслили: Ивану быть царем трудно, непрочно,— хил. Нам сила нужна.

Василий Васильевич опустил ресницы, усмехался уголком красивых губ. Понял, что спорить сейчас опасно.

— Будь так,— сказал,— быть царем Петру.

Поднял синие глаза, и вдруг они вздрогнули и заволоклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя, Софью. Не плавно, лебедем, как подобало бы девице,— она вошла стремительно, распахнулись полы ее пестрого летника, не застегнутого на полной груди, разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступали пятна. Царевна была широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой. Выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьими,— мужскими. Она глядела на Василия Васильевича и, видимо, поняла — о чем он только что говорил и что ответил.

Ноздри ее презрительно задрожали. Она повернулась к постели умирающего, всплеснула руками, стиснула их и опустилась на ковер, прижала лоб к постели. Патриарх поднял голову, тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате, насторожились. Пять царевен начали креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя. Отмахнул черные рукава и, широко осенив его крестом, начал читать отходную.

Софья схватилась за затылок и закричала пронзительно, дико,— завывала низким голосом. Закричали ее сестры... Царица Марфа Матвеевна упала ничком на лавку. К ней подошел старший брат ее, Федор Матвеевич Апраксин, рослый и тучный, в шубе до пят,— стал гладить царицу по спине. К патриарху подбежал Языков, припал и потянул за руку. Патриарх, Языков, Лихачев и Голицын быстро вышли в тронную палату. Бояре стадом двинулись к ним, размахивая рукавами, выставляя бороды, без стыда выкатывая глаза: «Что, ну что, владыко?..»

— Царь Федор Алексеевич преставился с миром... Бояре, поплачем...

Его не слушали,— теснясь, пихаясь в дверях, бояре спешили к умершему, падали на колени, ударялись лбом

о ковер и, приподнявшись, целовали уже сложенные его восковые руки. От духоты начали трещать и гаснуть лампы. Софью увели. Василий Васильевич скрылся. К Языкову подошли: братья князя Голицыны, Петр и Борис Алексеевичи, черный, бровастый, страшный видом князь Яков Долгорукий и братья его Лука, Борис и Григорий. Яков сказал:

— У нас ножи взяты и панцири под платьем... Что ж, кричать Петра?

— Идите на крыльцо, к народу. Туда патриарх выйдет, там и крикнем... А станут кричать Ивана Алексеевича,— бейте воров ножами...

Через час патриарх вышел на красное крыльцо и, благословив тысячную толпу — стрельцов, детей боярских, служилых людей, купцов, посадских, спросил,— кому из царевичей быть на царстве? Горели костры. За Москвой-рекой садился месяц. Его ледяной свет мерцал на куполах. Из толпы крикнули:

— Хотим Петра Алексеевича...

И еще хриплый голос:

— Хотим царем Ивана...

На голос кинулись люди, и он затих, и громче закричали в толпе: «Петра, Петра!..»

7

На Данилином дворе два цепных кобеля рванулись на Алешку, задохнулись от злобы. Девчонка с болячками на губах, в накинутой на голову шубейке, велела ему идти по обмерзлой лестнице наверх, в горницу, сама хихикнула ни к чему, шмыгнула под крыльцо, в подклеть, где в темноте горели дрова в печи.

Алешка, поднимаясь по лестнице, слушал, как кто-то наверху кричит дурным голосом... «Ну,— подумал он,— живым отсюда не уйти...» Ухватился за обструганную чурочку на веревке,— едва оторвал от косяков забухшую дверь. В нос ударило жаром натопленной избы, редькой, водочным духом. Под образами у накрытого стола сидели двое — поп с косицей, рыжая борода — веником, и низенький, рябой, с вострым носом.

— Вгоняй ему ума в задние ворота! — кричали они, стуча чарками.

Третий, грузный человек, в малиновой рубахе распояской, зажав между колен кого-то, хлестал его ремнем по голому заду. Исполосованный, худощавый зад вихлялся, вывертывался. «Ай-ай, тятка!» — визжал тот, кого пороли. Алешка обмер.

Рябой замигал на Алешку голыми веками. Поп разинул большой рот, крикнул густо:

— Еще чадо, лупи его заодно!

Алешка уперся лаптями, вытянул шею. «Ну, пропал...» Грузный человек обернулся. Из-под ног его, подхватив порточки, выскочил мальчик, с бело-голубыми круглыми глазами. Кинулся в дверь, скрылся. Тогда Алешка, как было приказано, повалился в ноги и три раза стукнулся лбом. Грузный человек поднял его за шиворот, приблизил к своему лицу — медному, потному, обдал жарким перегаром:

— Зачем пришел? Воровать? Подглядывать? По дворам шарить?

Алешка, стуча зубами, стал сказывать про Тыртова. У медного человека надувались жилы, — ничего не понимал... «Какой Тыртов? Какого коня? Так ты за конем пришел? Конокрад?..» Алешка заплакал, забожился, закрестился трехперстно... Тогда медный человек бешено схватил его за волосы, поволок, топча сапогами, вышиб ногою дверь и швырнул Алешку с обледенелой лестницы...

— Выбивай вора со двора, — заорал он, шатаясь, — Шарок, Бровка, взы его...

Нагибаясь в дверях, как бык, Данила Меньшиков вернулся к столу. Сопя, налил чарки. Щепотью захватил редьки.

— Ты, поп, писание читал, ты знать должен, — загудел он, — сын у меня от рук отбился... Заворовался вконец, сучий выкидыш. Убить мне, что ли, его? Как по писанию-то? А?

Поп Филька ответил степенно:

— По писанию будет так: казни сына от юности его, и покоит тя на старость твою. И не ослабляй, бия младенца; аще бо жезлом биеша его, не умрет, но здоровее будет; учащай ему раны — бо душу избавляеши от смерти...

— Аминь,— вздохнул востроносый...

— Погоди,— отдышусь, я его опять позову,— сказал Данила.— Ох, плохо, ребята... Что ни год — то хуже. Дети от рук отбиваются, древнего благочестия нет... Царское жалованье по два года не плочено... Жрать нечего стало... Стрельцы грозятся Москву с четырех концов поджечь... Шатание великое в народе... Скоро все пропадем...

Рябой, востроносый, начетчик Фома Подщипаев, сказал:

— Никониане¹ древнюю веру сломали, а ею (поднял палец) земля жила... Новой веры нет... Дети в грехе рождаются,— хоть его до смерти бей, что ж из того: в нем души нет... Дети века сего... Никониане. Стадо без пастыря, пища сатаны... Протопоп Аввакум писал: «А ты ли, никониан, покушаешься часть Христову соблазнить и в жертву с собою отцу своему, дьяволу, принести»... Дьяволу! (Опять поднял палец) И далее: «Кто ты, никониан? Кал еси, вонь еси, пес еси смрадный...»

— Псы! — Данила бухнул по столу.

— Никонианские попы да протопопы в шелковых рясах ходят, от сытости щеки лопаются, псы проклятые! — сказал поп Филька.

Фома Подщипаев, выждав, когда кончат браниться, проговорил опять:

— И о сем сказано у протопопа Аввакума: «Друг мой, Иларион, архиепископ рязанской! Вспомни, как жил Мелхиседек в чаще леса на горе Фаворской. Ел ростки древес и вместо питья росу лизал. Прямой был священник, не искал ренских и романей, и водок, и вин процеженных, и пива с кардамоном. Друг мой, Иларион, архиепископ рязанской. Видишь ли, как Мелхиседек жил. На вороных в каретах не тешился, ездя. Да еще и был царской породы. А ты кто, попенок?.. В карету садишься, растопыришься, что пузырь на воде, сидя в карете на подушке, расчесав волосы, что девка, да и едешь, выставя рожу, по площади, чтоб черницы-ворухи любили... Ох, ох, бедной... Явно ослепил тебя дьявол... И не видал ты и не знаешь духовного жития»...

¹ Никониане — последователи патриарха Никона и проведенной им в 1553 году церковной реформы.

Закрыв глаза, поп Филька затряс щеками, засмеялся. Данила еще налил. Выпили.

— Стрельцы уж никонианские книги рвут и прочь мечут,— сказал он.— Дал бы бог — стрельцы за старину встали...

Он обернулся. Залаяли кобели. Заскрипели ступени крыльца. За дверью произнесли Иисову молитву. «Аминь»,— ответили трое собеседников. Вошел высокий стрелец Пыжова полка, Овсей Ржов, шурина Данилы. Перекрестился на угол. Отмахнул волосы.

— Пируете! — сказал спокойно.— А какие дела делаются наверху, вы не знаете?.. Царь помер... Нарышкины с Долгорукими Петра крикнули... Вот это беда, какой не ждали... Все в кабалу пойдём к боярам да к никонианам...

8

Турманом скатился Алешка с лестницы в сугроб. Желтозубые кобели кинулись, налетели. Он спрятал голову. Зажмурился... И не разорвали... Вот так чудо,— бог спас! Рыча, кобели отошли. Над Алешкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову:

— Эй, ты кто?

Алешка выпростал один глаз. Кобели неподалеку опять зарычали. Около Алешки присел на корточки давешний мальчик,— кого только что пороли.

— Как зовут? — спросил он.

— Алешкой.

— Чей?

— Мы — Бровкины, деревенские.

Мальчик разглядывал Алешку по-собачьему,— то наклонит голову к одному плечу, то к другому. Луна из-за крыши сарая светила ему на большеглазое лицо. Ох, должно быть, бойкий мальчик...

— Пойдем греться,— сказал он.— А не пойдешь, гляди, я тебя... Драться хочешь?

— Не,— Алешка живо прилег. И опять они смотрели друг на друга.

— Пусти,— протянул голосом Алешка,— не надо... Я тебе ничего не сделал... Я пойду...

— А куда пойдешь-то?

— Сам не знаю куда... Меня обещались в землю вбить по плечи... И дома меня убьют.

— Порет тятка-то?

— Тятка меня продал в вечное, ныне не порет. Дворовые, конечно, бьют. А когда дома жил,— конечно, пороли...

— Ты что же — беглый?

— Нет еще... А тебя как зовут?

— Алексашкой... Мы Меньшиковы... Меня тятка когда два раза, а когда три раза на день порет. У меня на заднице одни кости остались, мясо все содранное.

— Эх ты, паря...

— Пойдем, что ли, греться...

— Ладно.

Мальчики побежали в подклеть, где давеча Алешка видел огонь в печи. Тут было тепло, сухо, пахло горячим хлебом, горела сальная свеча в железном витом подсвечнике. На прокопченных бревенчатых стенах шевелились тараканы. Век бы отсюда не ушел.

— Васёнка, тятке ничего не говори,— скороговоркой сказал Алексашка низенькой бабе-стряпухе.— Разувайся, Алешка.— Он снял валенки. Алешка разулся. Залезли на печь, занимавшую половину подклети. Там в темноте чьи-то глаза смотрели не мигая. Это была давешняя девочка, отворившая Алешке калитку. Она подавалась в самую глубь, за трубу.

— Давайте чего-нибудь говорить,— прошептал Алексашка.— У меня мамка померла. Тятка по все дни пьяный, жениться хочет. Мачехи боюсь. Сейчас меня бьют, а тогда душу вытрясут...

— Они вытрясут,— поддакнул Алешка.

Девочка за трубой шмыгнула.

— То-то и я говорю... Намедни у Серпуховских ворот видел,— цыгане стоят табором, с медведями... На дудках играют... Пляс, песни... Они звали. Уйдем с цыганами бродить?.. А?

— С цыганами голодно будет,— сказал Алешка.

— А то найдемся к купцам чего-нибудь делать... А летом уйдем. В лесу можно медвежонка поймать. Я знаю одного посадского,— он их ловит, он научит... Ты будешь медведя водить, а я — петь, плясать... Я все песни знаю. А плясать злее меня нет на Москве.

Девочка за трубой чаще зашмыгала, Алексашка ткнул ее в бок:

— Замолчи, постылая... Вот что, мы ее с собой тоже возьмем, ладно.

— С бабой хлопот много...

— К лету ее возьмем, грибы собирать,— она дура, дура, а до грибов страсть бойкая... Сейчас мы щей похлебаем, меня позовут наверх молитвы читать, потом пороть. Потом я вернусь. Лягем спать. А чуть свет побегим в Китай-город, за Москву-реку сбегаем, обсмотримся. Там есть знакомые. Я бы давно убежал, товарища не находилось.

— Купца бы найти, наняться — пирогами торговать,— сказал Алешка.

На крыльце бухнула дверь,— уходили гости, треща ступенями. Грозный голос Данилы крикнул Алексашку наверх.

9

На Варварке стоит низенькая изба в шесть окон, с коньками и петухами,— кружало — царев кабак. Над воротами — бараний череп. Ворота широко раскрыты,— входи кто хочет. На дворе на желтых от мочи сугробах, на навозе валяются пьяные,— у кого в кровь разбита рожа, у кого сняли сапоги, шапку. Много запряженных розвальней и купецких, с расписными задками, саней стоят у ворот и на дворе.

В избе за прилавком — суровый целовальник с черными бровями. На полке — штофы, оловянные кубки. В углу — лампы перед черными ликами. У стен — лавки, длинный стол. За перегородкой — вторая, чистая палата для купечества. Туда если сунется ярыжка какой-нибудь или пьяный посадский,— окликнет целовальник, надвинув брови,— не слушаешь честью — возьмет сзади за портки и выбьет одним духом из кабака.

Там, во второй палате,— степенный разговор, купечество пьет пиво имбирное, горячий сбитень. Торгуются, вершат сделки, бьют по рукам. Толкуют о делах,— дела ныне такие, что в затылке начешешься.

В передней избе у прилавка — крик, шум, ругань. Пей, гуляй, только плати. Казна строга. Денег нет —

снимай шубу. А весь человек пропился,— целовальник мигнет подьячему, тот сядет с краю стола,— за ухом гусиное перо, на шее чернильница,— и пошел строчить. Ох, спохватись, пьяная голова! Настрочит тебе премудрый подьячий кабальную запись. Пришел ты вольный в царев кабак, уйдешь голым холопом.

— Ныне пить легче стало,— говаривает целовальник, цедя зеленое вино в оловянную кружку.— Ныне друг за тобой придет, сродственник или жена прибежит, уведет, покуда душу не пропил. Ныне мы таких отпускаем, за последним не гонимся. Иди с богом. А при покойном государе Алексее Михайловиче, бывало, придет такой-то друг уводить пьяного, чтобы он последний грош не пропил... Стой... Убыток казне... И этот грош казне нужен... Сейчас кричишь караул. Пристава его, кто пить отговаривает, хватают и — в Разбойный приказ. А там, рассудив дело, рубят ему левую руку и правую ногу и бросают на лед... Пейте, соколы, пейте, ничего не бойтесь, ныне руки, ноги не рубим...

10

Сегодня у кабака народ лез друг на друга, заглядывал в окошки. На дворе, на крыльце не протолкаться. Много виднелось стрелецких кафтанов — красных, зеленых, клюквенных. Теснота, давка. «Что такое? Кого? За что?..» Там, в кабаке, в чистой избе стояли стрельцы и гостинодворцы. В тесноте надышались,— с окошек лило ручьями. Стрельцы привели в избу полуживого человека,— он лежал на полу и стонал, надрывая душу. Одежда изорвана в клочья, тело сытое. В серых волосах запеклась кровь. Нос, щеки,— все разбито.

Стрельцы, указывая на него, кричали:

— И с вами то же скоро будет...

— Дремлете? А они на Кукуе не дремлют...

— Ребята, за что немцы бьют наших?

— Хорошо мы шли мимо, вступились... Убили бы его до смерти...

— При покойном царе разве такие дела бывали? Разве наших давали в обиду иноземцам проклятым?

Овсей Ржов, стрелец Пыжова полка, унимал товарищей, говорил гостинодворским купцам с поклоном:

— По бедности к вам пришли, господа честные гости, именитые купцы. Деваться нам стало некуда с женами, малыми ребятами... Вконец обхудали... Жалованье нам не идет второй год. Полковники нас замучили на насадной работе. А жить с чего? Торговать в городе нам не дают, а в слободах тесно... Немцы всем завладели. Ныне уж и лен и пряжу на корню скупили. Кожи скупают, сами мнут, дьяволы, на Кукуе... Бабы наших, слободских, башмаков нипочем покупать не хотят, а спрашивают немецкие... Жить стало не можно... А не вступитесь за нас, стрельцов, и вы, купцы, пропадете... Нарышкины до царской казны дорвались... Жаждут... Ждите теперь таких пошлин и даней,— все животы отдадите... Да ждите на Москву хуже того — боярина Матвеева,— из ссылки едет... У него сердце одebelело злобой. Он всю Москву проглотит...

Страшны были стоны избитого человека. Страшны, темны слова стрельца. Переглядывались гостинодворцы. Не очень-то верилось, чтобы кукуйские немцы избивали этого купчишку. Дело темное. Однако ж и правду говорят стрельцы. Плохо стало жить,— с каждым годом — скуднее, тревожнее... Что ни грамота: «Царь-де сказал, бояре приговорили», — то новая беда: плати, гони деньги в прорву... Кому пожалуешься, кто защитит? Верхние бояре? Они одно знают — выколачивать деньги в казну, а как эти деньги доставать — им все равно. Последнюю рубаху сними,— отдай. Как враги на Москве.

В круг, стоявший около избитого, пролез купчина, вертя пальцами в серебряных перстнях:

— Мы, то есть Воробьевы,— сказал,— привезли на ярмарку в Архангельск шелку-сырца. И у нас, то есть немцы,— сговорились между собой,— того шелку не купили ни на алтын. И староста ихний, то есть немец Вульфий, кричал нам: мы-де сделаем то, что московские купчишки у нас на правеже настоятся за долги, да и впредь заставим их, то есть нас, московских, торговать одними лаптями...

Гул пошел по избе... Стрельцы: «А мы что вам говорим! Да и лаптей скоро не будет!» Молодой купец Богдан Жигулин выскочил в круг, потрянул кудрявыми волосами.

— Я с Поморья,— сказал бойко,— ездил за ворванью. А как приехал, с тем и уехал — с пустыми возами. Иноземцы, Макселин да Биркопов, у поморов на десять лет вперед все ворванье сало откупили. И все поморцы кругом у них в долгах. Иноземцы берут у них сало по четверть цены, а помимо себя никому продавать не велят. И поморцы обнищали, и в море уж не ходят бить зверя, а разбрелись врозь... Нам, русским людям, на север и ходу нет теперь...

Стрельцы опять закричали, подсучивая рукава. Овсей Ржов схватился за саблю, звякнул ею, оскалился:

— Нам — дай срок — с полковниками расправиться... А тогда и до бояр доберемся... Ударим набат по Москве. Все посады за нас. Вы только нас, купцы, поддержите... Ну, ребята, подымай его, пошли дальше...

Стрельцы подхватили избитого человека,— тот завывал, мотая головой: «Ой, уби-и-и-и-ли»,— и поволокли его из избы, распихивая народ, на Красную площадь — показывать.

Гостинодворцы остались в избе,— смутно! Ох, смутны, лихи дела! Тоже ведь, свяжись со стрельцами: шпыни, им терять нечего... А не свяжешься,— все равно бояре проглотят...

11

Алексашку на этот раз, после вечерней, выдрали без пощады,— едва приполз в подклеть. Укрылся, молчал, хрустел зубами. Алешка носил ему на печь каши с молоком. Очень его жалел: «Эх ты, как тебя, паря...»

Сутки лежал Алексашка в жарком месте у трубы, и — отошел, разговорился:

— Этакого отца на колесе изломать, аспида хищного... Ты, Алешка, возьми потихоньку деревянного масла за образами,— я задницу помажу, к утру подсохнет, тогда и уйдем... Домой не вернусь, хоть в канаве сдохнуть...

Всю ночь шумела непогода за бревенчатой стеной. Выли в печной трубе домовые голоса. Стряпухина девочка тихо плакала. Алешке приснилась мать,— стоит в дыму посреди избы и плачет, не зажмуривая глаз, и все к голове подносит руки, жалуется... Алешка истосковался во сне.

Чуть свет Алексашка толкнул его: «Будя спать-то, вставай». Почесываясь, обулись поладнее. Нашли полкраюхи хлеба, взяли. Посвистав кобелям, отвалили подворотню и вылезли со двора. Утро было тихое, мгlistое. Сыро. Шуршат, падают сосульки. Черны извилистые бревенчатые улицы. За деревянным городом разливается, совсем близко, заря туманными кровяными полосами.

На улицах ленивые сторожа убирали рогатки, поставленные на ночь от бродяг и воров. Брели, переругиваясь, нищие, калеки, юродивые — спозаранок занимать места на папертях. По Воздвиженке гнали по навозной дороге ревуший скот — на водопой на речку Неглинную.

Вместе со скотом мальчики дошли до круглой башни Боровицких ворот. У чугунных пушек дремал в бараньем тулупе немец-мушкетер.

— Тут иди сторожо, тут царь недалеко, — сказал Алексашка.

По крутому берегу Неглинной, по кучам золы и мусора они добрались до Иверского моста, перешли его. Рассвело. Над городом волоклись серые тучи. Вдоль стен Кремля пролегал глубокий ров. Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно водяных мельниц. На берегу его стояли виселицы — по два столба с перекладиной. На одной висел длинный человек в лаптях, с закрученными назад локтями. Опущенное лицо его исклевано птицами.

— А вон еще двое, — сказал Алексашка: во рву на дне валялись трупы, полузанесенные снегом, — это — воры, во как их...

Вся площадь от Иверской до белого, на синем цоколе, с синими главами, Василия Блаженного была пустынная. Санная дорога вилась по ней к Спасским воротам. Над ними, над раскоряченным золотым орлом, кружилась туча ворон, крича по-весеннему. Стрелки на черных часах дошли до восьми, заморская музыка заиграла на колоколах. Алешка стащил колпак и начал креститься на башню. Страшно было здесь.

— Идем, Алексашка, а то еще нас увидят...

— Со мной ничего не бойся, дурень.

Они пошли через площадь. По той ее стороне тесно громоздились дощатые лавки, балаганы, рогожные палат-

ки. Гостинодворцы уже снимали с дверей замки, вывешивали на шестах товары. В калашном ряду дымили печки,— запахло пирогами. Со всех переулков тянулся народ.

Алексашка оставял без внимания,— дадут ли по затылку, обругают: до всего ему было дело. Лез сквозь толпу к лавкам, заговаривал с купцами, приценивался, отпускал шуточки. Алешка, разинув рот, едва за ним поспевал. Увидев толстую женщину в суконной шубе, в лисьей шапке поверх платка. Алексашка заволокил ногу, пополз к купчихе, тряся, заикался: «У-у-у-у-богому, си-си-сиротке, боярыня-матушка, с го-го-голоду помираю...» Вдова купчиха, подняв юбку, вынула из привешенного под животом кисета две полкопейки, подала, степенно перекрестилась. Побежали покупать пироги, пить горячий, на меду, сбитень.

— Я тебе толкую — со мной не пропадешь,— сказал Алексашка.

Народу все подваливало. Одни шли поглядеть на людей, послушать, что говорят, другие — погордиться обновой, иные — стянуть, что плохо лежит. В проулке, где на снегу, как кошма, валялись обстриженные волосы,— зазывали народ цирюльники, щелкали ножницами. Коекого уж посадили на торчком стоящее полено, надели на голову горшок, стригли. Больше всего шуму было в нитошном ряду. Здесь бабы кричали, как на пожаре, покупая, продавая нитки, иголки, пуговицы, всякий пошивной приклад. Алешка, чтобы не пропасть, держался за Алексашкин кушак.

Когда опять вышли к площади,— кто-то пробежал, про что-то закричал. С Варварки поднималась большая толпа. Гикали, свистели пронзительно. Стрельцы несли на руках избитого человека.

— Православные,— со слезами говорили они на все стороны,— глядите, что с купцом сделали...

Этого человека положили в чьи-то лубяные сани. Стрелец Овсей Ржов, взлезши на них, стал говорить все про то же: как немцы по злобе убили едва не до смерти доброго купца и как верхние бояре скоро всю Москву продадут на откуп иноземцам... Алексашка с Алешкой пробрались к самым саням.

Алешка, присев на корточки, сразу признал в избитом того самого пухлого, с маленькими глазками, в заячьей шапке, посадского, кто на Лубянке продал ему два подовых пирога. От него несло водкой. Стонать он устал. Лежа на боку, мордой в соломе, только повторял негромко:

— О-ох... Отпустите меня, Христа ради...

Овсей Ржов, крестясь, кланялся церквям и народу. Стрельцы нашептывали в толпе. Разгоралась злоба. Вдруг закричали: «Скачут, скачут...»

От Спасских ворот по санному следу скакали два всадника. Передний — в стрелецком клюквенном кафтане, в заломленном колпаке. Кривая сабля его, усыпанная алмазами, билась по бархатному чепраку. Не задерживая хода, бросив поводья, он врезался в толпу. Испуганные руки схватили коня под уздцы. Всадник быстро вертел головой, показывал редкие желтые зубы, — широколобый, с запавшими глазами, с жесткой бородкой... Это был Тараруй, — как прозвали его в Москве, — князь Иван Андреевич Хованский, воевода, боярин древней крови и великий ненавистник худародных Нарышкиных. Стрельцы, завидя, что он в стрелецком кафтане, закричали:

— С нами, с нами, Иван Андреевич! — и побежали к нему.

Другой, подъехавший не так шибко, был Василий Васильевич Голицын. Похлопывая коня по шее, он спрашивал:

— Бунтуете, православные? Кто вас обидел, за что? Говорите, говорите, мы о людях день и ночь душой болеем... А то царь увидел вас сверху, испужался по малолетству, нас послал разузнать...

Люди, разинув рты, глядели на его парчовую шубу, — пол-Москвы можно купить за такую шубу, — глядели на самоцветные перстни на его руке, что похлопывала коня, — огонь брызгал от перстней. Люди пятились, ничего не отвечали. Усмехаясь, Василий Васильевич подъехал и стал стремя о стремя с Хованским.

— Отдайте нам в руки полковников, мы сами их рассудим: вниз головой с колокольни, — кричали ему стрельцы. — О чем бояре наверху думают? Зачем нам мальчишку царем навязали, нарышкинского ублюдка?

Хованский утюжил краем рукавицы полуседые усы. Поднял руку. Все стихли...

— Стрельцы! — он привстал в седле, от натуги побагровел, горловой голос его слышали самые дальние.— Стрельцы! Теперь сами видите, в каком вы у бояр несносном ярме... Теперь выбрали бог знает какого царя... Не я его кричал... И увидите: не только денег, а и корму вам не дадут... И работать будете как холопы... И дети ваши пойдут в вечную неволю к Нарышкиным... Хуже того... Продадут и вас и нас всех чужеземцам... Москву сгубят и веру православную искоренят... Эх, была русская сила, да где она!

Тут весь народ так страшно закричал, что Алешка испугался: «Ну, затопчут совсем...» Алексашка Меншиков, прыгая по саням, свистал в два пальца. И разобрать можно было только, как Тараруй, надсаживаясь, крикнул:

— Стрельцы! Айда за реку в полки, там будем говорить...

12

На площади остались только распряженные сани да Алешка с Алексашкой. Избитый посадский приподнялся, поглядел кругом припухлыми щелками и долго отсмаркивался.

— Дяденька,— сказал ему Алексашка, подмигнув Алешке,— мы тебя до дому доведем, нам тебя жалко.

Посадский был еще не в своем уме. Мальчишки повели его, он бормотал, спотыкался. Вдруг: «Стой!» — отталкивал мальчишек и кому-то грозился, топал разбухшим валенком. Шли за реку, к Серпуховским воротам. По дороге узнали, как его зовут: Федька Заяц. Двор у него на посаде был небольшой, на огороде — одно дерево с грачиными гнездами, но ворота и изба — новые. «Вот они, пирожки, калачики,— обрадовался Заяц, когда увидел свой двор,— вот они медовые, голубчики, выручают меня».

Калитку отворила рябая баба с вытекшим глазом. Заяц оттолкнул ее, и Алексашка с Алешкой шмыгнули следом. «Вы куда? Зачем?» — кинулся было он к ним, но махнул рукой и пошел в избу. Сел на покрытую но-

вой рогожей лавку, начал себя оглядывать,— все равное. Закрутил головой, заплакал.

— Убили меня,— сказал он кривой бабе.— Кто бил, за что, не помню. Дай чистое надеть.— И вдруг заорал, застучал о лавку: — Баню затопи, я тебе приказываю, кривая собака!

Баба повела носом, ушла. Мальчики жались ближе к печи, занимавшей половину избы. Заяц разговаривал:

— Выручили вы меня, ребята. Теперь — что хотите, просите... Тело мое все избитое, ребра целого нет... Куда я теперь,— возьму лоток, пойду торговать? Ох-ти мне... А ведь дело не ждет...

Алексашка опять подмигнул Алешке. Сказал:

— Награды нам никакой не надо, пусть переночевать.

Когда Заяц уполз в баню, мальчики залезли на печь.

— Завтра пойдем вместо него пироги продавать,— шепнул Алексашка,— говорю — со мной не пропадешь.

Чуть свет кривая баба заладила печь тестяные шишки, левашники, перепечи и подовые пироги — постные с горохом, репой, солеными грибами, и скоромные — с зайчатиной, с мясом, с лапшой. Федька Заяц стонал на лавке под тулупом,— не мог владеть ни единым членом. Алексашка подмел избу, летал на двор за водой, за дровами, выносил золу, помой, послал Алешку напоить Зайцеву скотину: в руках у него все так и горело, и все — с шуточками.

— Ловкач парень,— стонал Заяц,— ох, послал бы тебя с пирогами на базар... Так ведь уйдешь с деньгами-то, уворуешь... Больно уж расторопен...

Тогда Алексашка стал целовать нательный крест, что денег не украдет, снял со стены сорок святителей и целовал икону. Ничего не поделаешь,— Заяц поверил. Баба уложила в лотки под ветошь две сотни пирогов. Алексашка с Алешкой подвязали фартуки, заткнули рукавицы за пояс и, взяв лотки, пошли со двора.

— Вот, пироги подовые, медовые, полденьги пара, прямо с жара,— звонко кричал Алексашка, поглядывая на прохожих.— Вот, налетай, расхватывай! — Видя стоявших кучкой стрельцов, он приговаривал, приплясывая: — Вот, налетай, пироги царские, боярские, в Крем-

ле покупали, да по шее мне дали, Нарышкины ели, животы заболели.

Стрельцы смеялись, расхватывали пироги. Алешка гоже покрикивал с приговором. Не успели дойти до реки, как пришлось вернуться за новым товаром.

— Вас, ребята, мне бог послал,— удивился Заяц.

13

Михайло Тыртов третью неделю шатался по Москве: ни службы, ни денег. Тогда на Лубянской площади дьяки над ним надсмеялись. Земли, мужиков не дали. Князь Ромодановский ругал его и срамил, велел приходить на другой год, но уже без воровства — на добром коне.

С площади он поехал ночевать в харчевню. По пути встретил старшего брата, и тот ругал его за несчастье и отнял мерина. Не догадался отнять саблю и дедовский пояс, полосатого шелка с серебряными бляхами. В тот же вечер в харчевне, разгорячась от водки с чесноком, Михайла заложил у целовальника и саблю и пояс.

К Михайле прилипли двое бойких москвичей,— один сказался купеческим сыном, другой подьячим,— вернее — попросту — кабацкая теребень,— стали Михайлу хвалить, целовать в губы, обещались потешить. С ними Михайла гулял неделю. Водили его в подполье к одному греку — курить табак из коровьих рогов, налитых водой: накуривались до моро́ка,— чудилась чертовщина, сладкая жуть.

Водили в царскую мыльню — баню для народа на Москве-реке,— не столько париться, сколько поглядеть, посмеяться, когда в общий предбанник из облаков пара выскакивают голые бабы, прикрываясь вениками. И это казалось Михайле мороком, не хуже табаку.

Уговаривали пойти к сводне — потворенной бабе. Но Михайла по юности еще робел запретного. Вспомнил, как отец, бывало, после вечерни, сняв пальцами нагар со свечи, раскрывал старинную книгу в коже с медными застежками, переворачивал засаленную у угла страницу и читал о женах:

«Что есть жена? Сеть прельщения человеком. Светла лицом, и высокими очами мигающа, ногами играюща, много тем уязвляюща, и огонь лютый в членах возгораю-

ща... Что есть жена? Покоище змеиное, болезнь, бесовская сковорода, бесцельная злоба, соблазн адский, увет дьявола...»

Как тут не заробеть! Однажды завели его к Покровским воротам в кабак. Не успели сесть,— из-за рогожной занавески выскочила низенькая девка с распущенными волосами: брови намазаны черно — от переносья до висков, глаза круглые, уши длинные, щеки натерты свеклой до синевы. Сбросила с себя лоскутное одеяло и, голая, жирная, белая, начала приплясывать около Михайлы,— манить то одной, то другой рукой, в медных перстнях, звенящих обручах.

Показалась она ему бесовкой,— до того страшна,— до ужаса,— ее нагота... Дышит вином, пахнет горячим потом... Михайла вскочил, волосы зашевелились, крикнул дико, замахнулся на девку и, не ударив, выскочил на улицу.

Желтый весенний закат меркнул в дали затихшей улицы. Воздух пьяный. Хрустит ледок под сапогом. За сизой крепостной башней с железным флажком, из-за острой кровли лезет лунный круг — медно-красный,— блестит Михайле в лицо... Страшно... Постукивают зубы, холод в груди... Завизжала дверь кабака, и на крыльце — белой тенью раскорячилась та же девка.

— Чего боишься, иди назад, миленький.

Михайла кинулся бежать прочь без памяти.

Деньги скоро кончились. Товарищи отстали. Михайла, жалея о съеденном и выпитом, о виденном и нетронутом, шатался меж двор. Возвращаться в уезд к отцу и думать не хотелось.

Наконец вспомнил про сверстника, сына крестного отца, Степку Одоевского, и постучался к нему во двор. Встретили холопы недобро, морды у всех разбойничьи: «Куда в шапке на крыльцо прешь!» — один сорвал с Михайлы шапку. Однако — погрозились, пропустили. В просторных теплых сенях, убранных по лавкам звериными шкурами, встретил его красивый, как пряник, отрок в атласной рубашке, сафьяновых чудных сапожках. Нагло глядя в глаза, спросил вкрадчиво:

— Какое дело до боярина?

— Скажи Степану Семенычу,— друг, мол, его, Мишка Тыртов, челом бьет.

— Скажу,— пропел отрок, лениво ушел, потряхивая шелковыми кудрями. Пришлось подождать. Бедные — не гордые. Отрок опять явился, поманил пальцем.— Заходи.

Михайла вошел в крестовую палату. Заробев, исто-во перекрестился на угол, где образа завешены парчовым застенком с золотыми кружевами. Покосился,— вот они как живут, богатые. Что за хоромный наряд! Стены обиты рытым бархатом. На полу — ковры и коврики — пестрота. Бархатные налавочки на лавках. На подоконниках — шитые жемчугом наоконники. У стен — сундуки и ларцы, покрытые шелком и бархатом. Любую такую покрывку — на зипун или на ферязь, и во сне не приснится... Против окон — деревянная башенка с часами, на ней — медный слон.

— А, Миша, здорово,— проговорил Степка Одоевский, стоя в дверях. Михайла подошел к нему, поклонился — пальцами до ковра. Степка в ответ кивнул. Все же, не как холопу, а как дворянскому сыну подал влажную руку — пожать.— Садись, будь гостем.

Он сел, играя тростью. Сел и Михайла. На Степкиной обритой голове — вышитая камнями туфейка. Лоб — бочонком, без бровей, веки красные, нос — кривоватый, на маленьком подбородке — реденький пушок. «Такого соплей перешибить выродка, и такому — богатство», — подумал Михайла и униженно, как подобает убогому, стал рассказывать про неудачи, про бедность, завешую его молодой век.

— Степан Семеныч, для бога, научи ты меня, холопа твоего, куда голову приклонить... Хоть в монастырь иди... Хоть на большую дорогу с кистенем...— Степка при этих словах отдернул голову к стене, остеклянились у него выпуклые глаза. Но Михайла и виду не подал,— сказал про кистень будто так, по скудоумию...— Степан Семеныч, ведь сил больше нет терпеть нищету проклятую...

Помолчали. Михайла негромко,— прилично,— вздыхал. Степка с недоброй усмешкой водил концом трости по крылатому зверю на ковре.

— Что ж тебе присоветовать, Миша... Много есть способов для умного, а для дураков всегда сума да тюрьма... Вон, хоть бы тот же Володька Чемоданов две

добрые деревеньки оттягал у соседа... Леонтий Пусторослев недавно усадьбу добрую оттягал на Москве у Чижовых...

— Слышал, дивился... Да как ухватиться-то за такое дело — оттягать? Шутка ли!

— Присмотри деревеньку, да и оговори того помещика. Все так делают...

— Как это — оговори?

— А так: бумаги, чернил купи на копейку у площадного подьячего и настрочи донос...

— Да в чем оговаривать-то? На что донос?

— Молод ты, Миша, молоко еще не бросил пить... Вон, Левка Пусторослев пошел к Чижову на именины, да не столько пил, сколько слушал, а когда надо, и поддакивал... Старик Чижов и брякни за столом: «Дай-де бог великому государю Федору Алексеевичу здравствовать, а то говорят, что ему и до разговенья не дожить, в Кремле-де прошлою ночью кура петухом кричала»... Пусторослев, не будь дурак, вскочил и крикнул: «Слово и Дело!» — Всех гостей с именинником — цап-царап — в приказ Тайных дел. Пусторослев: «Так, мол, и так, сказаны Чижовым на государя поносные слова». Чижову руки вывернули и — на дыбу. И завертели дело про куру, что петухом кричала. Пусторослеву за верную службу — чижовскую усадьбу, а Чижова — в Сибирь навечно. Вот как умные-то поступают... — Степка поднял на Михайлу немигающие, как у рыбы, глаза. — Володька Чемоданов еще проще сделал: донес, что хотели его у соседа на дворе убить до смерти, а дьякам обещал с добычи третью часть. Сосед-то рад был и последнее отдать, от суда отвязаться...

Раздумав, Михайла проговорил, вертя шапку:

— Не опытен я по судам-то, Степан Семеныч.

— А кабы ты был опытный, я бы тебя не учил... (Степка засмеялся до того зло, — Михайла отодвинулся, глядя на его зубы — мелкие, изъеденные.) По судам ходить нужен опыт... А то гляди — и сам попадешь на дыбу... Так-то, Миша, с сильным не связывайся, слабого — бей... Ты вот, гляжу, пришел ко мне без страха...

— Степан Семеныч, как я — без страха..

— Помолчи, молчать учиться надо... Я с тобой приветливо беседую, а знаешь, как у других бывает?.. Вот,

мне скучно... Плеснул в ладоши... В горницу вскочили холопы... Потешьте меня, рабы верные... Взяли бы тебя за белые руки, да на двор — поиграть, как с мышью кошка... — Опять засмеялся одним ртом, глаза мертвые. — Не пужайся, я нынче с утра шучу.

Михайла осторожно поднялся, собираясь кланяться. Степка тронул его концом трости, заставил сесть.

— Прости, Степан Семеныч, по глупости что лишнее сказал.

— Лишнего не говорил, а смел не по чину, не по месту, не по роду, — холодно и важно ответил Степка. — Ну, бог простит. В другой раз в сенях меня жди, а в палату позовут — упирайся, не ходи. Да заставлю сесть, — не садись. И кланяться должен мне не большим поклоном, а в ноги.

У Михайлы затрепетали ноздри, — все же сломил себя, униженно стал благодарить за науку. Степка зевнул, перекрестил рот.

— Надо, надо помочь твоему убожеству... Есть у меня одна забота... Молчать-то умеешь?.. Ну, ладно... Вижу, парень понятливый... Сядь-ка ближе... (Он стукнул тростью, Михайла торопливо сел рядом. Степка оглянул его пристально.) Ты где стоишь-то, в харчевне? Ко мне ночевать приходи. Выдам тебе зипун, ферязь, штаны, сапоги нарядные, а свое, худое, пока спрячь. Боярыню одну надо убоготворить.

— По этой части? — Михайла густо залился краской.

— По этой самой, — беса тешить. Без хлопот набьешь карман ефимками... Есть одна боярыня знатная... Сидит на коробах с казной, а бес ее свербит... Понял, Мишка? Будешь ходить в повинении — тогда твое счастье... А заворуешься, — велю кинуть в яму к медведям, — и костей не найдут. (Он выпростал из-под жемчужных нарукавников ладони и похлопал. Вошел давешний наглый отрок.) Феоктист, отведи дворянского сына в баню, выдай ему исподнего и одежды доброй... Ужинать ко мне его приведешь.

Царевна Софья вернулась от обедни, — устала. Выстояла сегодня две великопостные службы. Кушала хлеб черный да капусту, и то — чуть-чуть. Села на отцовский

стул, вывезенный из-за моря, на колени опустила в вышитом платочке просфору. Стулец этот недавно по ее приказу принесли из Грановитой палаты. Вдова, царица Наталья, узнав, кричала: «Царевна-де и трон скоро велит в светлицу к себе приволочь»... Пускай серчает царица Наталья.

Мартовское солнце жарко било разноцветными лучами сквозь частые стекла двух окошечек... В светлице — чистенько, простенько, пахнет сухими травами. Белые стены, как в келье. Изразцовая с лежанками печь жарко натоплена. Вся утварь, лавки, стол покрыты холстами. Медленно вертится расписанный розами цифирный круг на стоячих часах. Задернут пеленою книжный шкафчик: великий пост — не до книг, не до забав.

Софья поставила ноги в суконных башмаках на скамеечку, полузакрыв глаза, покачивалась в дремоте. Весна, весна, бродит по миру грех, пробирается, сладкий, в девичью светлицу... В великопостные-то дни!.. Опустить бы занавеси на окошках, погасить пестрые лучи, — неохота встать, неохота позвать девку. Еще поют в памяти напевы древнего благочестия, а слух тревожно ловит, — не скрипнула ли половица, не идет ли свет жизни моей, ах, не входит ли грех... «Ну, что ж, отмолю... Все святые обители обойду пешком... Пусть войдет».

В светлице дремотно, только постукивает маятник. Много здесь было пролито слез. Не раз, бывало, металась Софья между этих стен... Кричи, изгрызи руки, — все равно, уходят годы, отцветает молодость... Обречена девка, царская дочь, на вечное девство, черную суконку... Из светлицы одна дверь — в монастырь. Сколько их тут — царевен — крикивало по ночам в подушку дикими голосами, рвало на себе косы, — никто не слышал, не видел.

Сколько их прожило век бесплодный, уснуло под монастырскими плитами. Имена забыты тех горьких дев. Одной выпало счастье, — вырвалась, как шалая птица, из девичьей тюрьмы. Разрешила сердцу — люби... И свет очей, Василий Васильевич прекрасный, не муж какой-нибудь с плетью и сапожищами, — возлюбленный со сладкими речами, любовник, вкрадчивый и нетерпеливый... Ох, грех, грех! Софья, оставив просфору, слабо замаха-

ла руками, будто отгоняла его, и улыбалась, не раскрывая глаз, теплым лучам из окна, горячим видениям...

Скрипнула половица. Софья вскинулась, пронзительно глядя на дверь, будто влетит сейчас в золотых ризах огненнокрылый погубитель. Губы задрожали, — опять облокотилась о бархатный подлокотник, опустила на ладонь лицо. Шумно стучало сердце.

Наклоняясь под низкой притолокой, осторожно вошел Василий Васильевич Голицын. Остановился без слов. Софья так бы и обхватила его, как волна морская, взволнованным телом. Но притворилась, что дремлет: сие было приличнее, — устала царевна, стоявши обедню, и почивает с улыбкой.

— Софья, — чуть слышно позвал он. Наклонился, хрустя парчой. У Софьи раскрылись губы. Тогда душистые усы его защекотали щеки, теплые губы приблизились, прижались сильно. Софья всколыхнулась, неизъяснимое желание прошло по спине, горячней судорогой растаяло в широком тазу ее. Подняла руки — обнять Василия Васильевича за голову, и оттолкнула:

— Ох, отойди... Что ты, грех, чай, в пятницу-то...

Раскрыла умные глаза и удивилась, как всегда, красоте Василия Васильевича. Почувствовала, что он — нетерпелив. Покачала головой, вся заливаясь радостью...

— Софья, — сказал он, — внизу Иван Михайлович да Иван Андреевич Хованский с великими вестями пришли к тебе. Выйди. Дело неотложное...

Софья схватила его руки, прижала к полной груди и поцеловала их. Ресницы ее были влажны от избытка любви. Подошла к зеркальцу — поправить венец, и рассеянно скользнула по своему отражению — некрасива, но ведь любит...

— Пойдем.

У косящатого окошечка, касаясь потолочного свода горлатными шапками, стояли Хованский и Иван Михайлович Милославский, царевнин дядя, — широкоскулый, с глазами-щелками, весь потный, в новой, дарованной шубе, весь налитой кровью от сытости и волнения. Софья, быстро подойдя, по-монашечьи наклонила голову. Иван

Михайлович вытянул насколько возможно бороду и губы — ближе подступить мешало ему чрево.

— Матвеев уже в Троице. (Зеленоватые глаза Софьи расширились.) Монахи его, как царя, встречают... Мая двенадцатого ждать его на Москве. Только что прискакал из-под Троицы племянник мой, Петька Толстой... Рассказывает: Матвеев после обедни при всем народе лаял и срамил нас, Милославских: «Вороны, говорит, на царскую казну слетелись... На стрелецких-де копьях хотят во дворец прыгнуть... Только этому-де не бывать... Уничтожу мятеж, стрелецкие полки разошлю по городам да на границы. Верхним боярам крылья пообломаю. Крест-де целую царю Петру Алексеевичу. А за малолетством его пусть правит мать, Наталья Кирилловна, и без того не умру, покуда так все не сбудется...»

Лицо Софьи посерело. Стояла она, опустив голову и руки. Только вздрагивал рогатый венец, и толстая коса шевелилась по спине. Василий Васильевич находился поодаль, в тени. Хованский мрачно глядел под ноги, сказал:

— Сбудется, да не то... Матвееву на Москве не быть...

— А хуже других,— еще торопливее зашептал Милославский,— срамил он и лаял князя Василия Васильевича. «Васька-де Голицын за царский венец хватается, быть ему без головы...»

Софья медленно обернулась, встретилась глазами с Василием Васильевичем. Он усмехнулся,— слабая жалкая морщинка скользнула в углу рта. Софья поняла: решается его жизнь, идет разговор о его голове... За эту морщинку сожгла бы Москву она сейчас... Проглотив волнение, Софья спросила:

— А что говорят стрельцы?

Милославский засопел. Василий Васильевич мягко пошел по палате, заглядывая в двери, вернулся и стал за спиной Софьи. Не сдержавшись, она перебила начавшего рассказывать Хованского.

— Царица Наталья Кирилловна крови возжаждала... С чего бы? Или все еще худородство свое не может забыть,— у отца с матерью в лаптях ходила... Все знают, когда Матвеев из жалости ее взял к себе в палаты, а

у нее и рубашки не было переменить... А теремов сроду не знала, с мужиками за одним столом вино пила.— У Софьи полная шея, туго охваченная жемчужным воротом сорочки, налилась гневом, щеки покрылись пятнами.— Весело царица век прожила, и с покойным батюшкой и с Никоном-патриархом немало шуток было шучено... Мы-то знаем, теремные... Братец Петруша—прямо—притча, чудо какое-то — и лицом и повадкой на отца не похож.— Софья, стукнув перстнями, стиснула, прижала руки к груди...— Я — девка, мне стыдно с вами говорить о государских делах... Но уж — если Наталья Кирилловна крови захотела,— будет ей кровь... Либо всем вам головы прочь, а я в колодезь кинусь...

— Любо, любо слушать такие слова,— проговорил Василий Васильевич.— Ты, князь Иван Андреевич, расскажи царевне, что в полках творится...

— Кроме Стремяного, все полки за тебя, Софья Алексеевна,— сказал Хованский.— Каждый день стрельцы собираются многолюдно у съезжих изб, бросают в окна камнями, палками, бранят полковников матерно... («Кха»,— поперхнулся при этом слове Милославский, испуганно моргнул Василий Васильевич, а Софья и бровью не повела...) Полковника Бухвостова да сотника Боборыкина, кои строго стали говорить и унимать, стрельцы взвели на колокольню и сбили оттуда наземь, кричали: «Любо, любо...» И приказов они слушать не хотят; в слободах, в Белом городе и в Китае собираются в круги и мутят на базарах народ, и ходят к торговым баням, и кричат: «Не хотим, чтоб правили нами Нарышкины да Матвеев, мы им шею свернем».

— Кричать они горласты, но нам видеть надобно от них великие дела.— Софья вытянулась, изломила брови.— Пусть не побоятся на копья поднять Артамона Матвеева, Языкова и Лихачева — врагов моих, Нарышкиных — все семя... Мальчишку, щенка ее, спихнуть не побоятся... Мачеха, мачеха!. Чрево проклятое... Вот, возьми...— Софья сразу сорвала с пальцев все перстни, зажав в кулаке, протянула Хованскому.— Пошли им... Скажи им,— все им будет, что просят... И жалованье, и земли, и вольности... Пусть не заробеют, когда надо. Скажи им: пусть кричат меня на царство.

Милославский только махал в перепуге руками на Софью. Хованский, разгораясь безумством, скалил зубы... Василий Васильевич прикрыл глаза ладонью, не понять зачем,— быть может, не хотел, чтобы при сих словах увидали надменное лицо его...

Алексашка с Алешкой отъелись на пирогах за весну. Житье — лучше не надо. Разжирел и Заяц, обленился: «Поработал со свое, теперь вы потрудитесь на меня, ребята». Сидел целый день на крыльце, глядя на кур, на воробьев. Полюбил грызть орехи. С лени и жиру начали приходить к нему мысли: «А вдруг мальчишки утаивают деньги? Не может быть, чтобы не воровали хоть по малости».

Стал он по вечерам, считая выручку, расспрашивать, придираяться, лазить у них по карманам и за щеки, ища утайных денег. По ночам стал плохо спать, все думал: «Должен человек воровать — раз он около денег». Оставалось одно средство: застращать мальчишек.

Алексашка с Алешкой пришли однажды к ужину веселые — отдали выручку. Заяц пересчитал и придрался,— копейки не хватает... Украли! Где копейка? Взял, с утра еще вырезанную, сырую палку, сгреб Алексашку за виски и начал бить с приговором: раз по Алексашке, два — по Алешке. Отвозив мальчиков, велел подавать ужинать.

— Так-то,— говорил он, набивая рот студнем, с уксусом, с перцем,— за битого нынче двух небитых дают... В люди вас выведу, вьюноши, сами потом спасибо скажете.

Ел Заяц щи со свиной, куриные пупки на меду с имбирем, лапшу с курой, жареное мясо. Молоко жрал с кашей. Кладя ложку на непокрытый стол, тонко рыгал. Щеки у него дрожали от сытости, глаза заплыли. Растегнул пуговицу на портках:

— Бога будете за меня молить, чада мои дорогие... Я — добрый человек... Ешьте, пейте,— почувствуйте, я ваш отец...

Алексашка молчал, кривил рот, в глаза не глядел. После ужина сказал Алешке:

— От отца ушел через битые, а от этого и по давню уйду. Он теперь повадится драться, боров.

Страшно стало Алешке бросать сытую жизнь. Лучше, конечно, без битья! Да где же найти такое место на свете,— все бьют. На печи тайком плакал. Но нельзя же было отбиваться от товарища. Наутро, взяв лотки с пирогами, мальчики вышли на улицу.

Свежо было майское утро. Сизые лужи. На берегах — пахучая листва. Посвистывают скворцы, задрав к солнцу головки. За воротами стоят шальные девки,— лентяи работать. На иной, босой, одна посконная рубаха, а на голове — венец из бересты, в косе — ленты. Глаза дикие. Скворцы на крышах щелкают соловьями, заманивают девок в рощи, на траву. Вот весна-то!.. «Вот пироги подовые с медом...»

Алексашка засмеялся:

— Подождет Заяц нынешней выручки.

— Ай, Алексашка, ведь так — грабеж.

— Дура деревенская... А жалованье нам дьявол платил? Хребет на него даром два месяца ломали... Эй! Купи, стрелец, с зайчиной, пара — с жару,— грош цена...

Все больше попадалось баб и девок за воротами, на перекрестках толпился народ. Вот бегом прошли стрельцы, звякая бердышами,— народ расступился, глядя на них в страхе. Чем ближе к Всехсвятскому мосту через Москву-реку, тем стрельцов и народу становилось больше. Весь берег, как мухами, обсажен людьми,— лезли на навозные кучи — глядеть на Кремль. В зеркальной воде, едва колеблемой течением, спокойно отражались зеленоверхие башни, зубцы кирпичных стен и золотые купола кремлевских церквей, церковенок и соборов. Но беспокойны были разговоры в народе. За твердынями стен, где пестрели чудные, нарядные крыши боярских дворов и государева дворца,— в этой майской тишине творилось неладное.. Что доподлинно,— еще не знали. Стрельцы шумели, не переходя моста, охраняемого с кремлевской стороны двумя пушками. Там виднелись пешие и конные жильцы — дети боярские, служившие при государевой особе. Поверх белых кафтанов на них навешаны за спиной на медных дугах лебединые крылья. Жильцов было

мало, и, видимо, они робели, глядя, как с Балчуга подваливают тысячи народу.

Алексашка, как бес, вертелся близ моста. Пирогы они с Алешкой все живо сбыли, лотки бросили. Не до торговли. Жутко и весело. В толпе то здесь, то там начинали кричать люди. У всех накипело. Жить очертело при таких порядках. Грозили кремлевским башням. Старик посадский, взлезши на кучу мусора и снявши колпак с лысины, говорил медленно:

— При покойном Алексее Михайловиче так-то народ поднялся... Хлеба не было, соли не было, деньги стали дешевы, серебряный-то целковый казна переплавляла на медный... Бояре кровь народную пили жадно... Народ взбунтовался, снял с коня Алексея Михайловича и рвал на нем шубу... Тогда многие дворы боярские разбили и сожгли, бояр побили... И на Низу поднялся великодушный казак Разин... И быть бы тогда воле, народ бы жил вольно и богато... Не поддержали... Народ слабый, одно — горланить горазд. И ныне без единодушия того, ребята, ждите, — плахи да виселицы, одолеют вас бояре...

Слушали его, разинув рты... И еще смутнее становилось и жутче. Понимали только, что в Кремле власти нет, и время бы подходящее — пошатнуть вековую твердыню. Но как?

В другом месте выскакивал стрелец к народу:

— Чего ждете-то? Боярин Матвеев чуть свет в Москву въехал... Не знаете, что ли, Матвеева? Покуда в Кремле бояре, без головы, лаялись друг с дружкой, — жить еще можно было... Теперь настоящий государь объявился, — он вожди подтянет... Данями, налогами так всех обложит, как еще не видали... Бунтовать надо нынче, завтра будет поздно.

Кружились головы от таких слов. Завтра — поздно... Кровью наливались глаза... Мороком чудился Кремль, лениво отраженный в реке, — седой, запретный, вероломный, полный золота... На стенах у пушек — ни одного пушкаря. Будто — вымер. И высоко — плавающие коршуны над Кремлем...

Вдруг на той стороне моста засуетились крылатые жильцы, донесли их слабые крики. Между ними, вертясь на снежно-белом коне, появился всадник. Его не пускали, размахивая широколезвийными бердышами. Насе-

дая, он вздернул коня, вырвался, потерял шапку и бешено помчался по плавающему мосту, — между досок брызнула вода, — цок, цок, — тонконогий конь взмахивал весело гривой.

Тысячи народа затихли. С того берега раздался одинокий выстрел по скачущему. Врезавшись в толпу, он вытянулся на стремях, — кожа двигалась на сизо обритой его голове, длинное длинноносое лицо разгорелось от скачки; задыхаясь, он блестел карими глазами из-под широких, как намазанных углем, бровей. Его узнали:

— Толстой... Петр Андреевич... Племянник Милославского... Он — за нас... Слушайте, что он скажет...

Высоким, срывающимся голосом Петр Андреевич крикнул:

— Народ... Стрельцы... Беда... Матвеев да Нарышкины только что царевича Ивана задушили... Не поспеете — они и Петра задушат... Идите скорей в Кремль, а то будет поздно...

Заворчала, зашумела, закричала толпа, ревя — кинулась к мосту. Заколыхались тысячи голов, завертелся среди них белый конь Толстого. Заскрипел мост, опустился, — бежали по колено в воде. Расталкивая народ, молча, озверелые, проходили сотня за сотней стрельцы. Где-то ударил колокол — бум, бум, бум, — чаще, тревожнее... Отозвались колокольни, заметались колокола, и все сорок сороков московских забили набат...

В тихом Кремле кое-где, блеснув солнцем, захлопнулось окошко, другое...

От нетерпения перемешавшись полками, стрельцы добежали до Грановитой палаты и Благовещенского собора. Многие, отстав по пути, ломались в крепкие ворота боярских дворов, лезли на колокольни — бить набат, — тысячепудовым басом страшно гудел Иван Великий. В узких проулках между дворов, каменных монастырских оград и желтых стен длинного здания приказов валялись убитые и ползали со стонами раненые боярские челядинцы. Носилось испуганно несколько оседланных лошадей, их ловили со смехом. Крича, били камнями окна.

Стрельцы, народ, тучи мальчишек (и Алексашка с Алешкой) глядели на пестрый государев дворец, раскинувшийся на четверть Кремлевской площади. Палаты каменные и деревянные, высокие терема, приземистые избы, сени, башни и башенки, расписанные красным, зеленым, синим, обшитые тесом и бревенчатые, — соединены множеством переходов и лестниц. Сотни шатровых, луковичных крыш, чудных верхушек — ребрастых, пузатых, колючих, как петушки гребешки, — блестели золотом и серебром. Здесь жил владыка земли, после бога первый...

Страшновато все-таки. Сюда не то что простому человеку с оружием подойти, а боярин оставлял коня у ворот и месил по грязи пешком, ломил шапку, косясь на царские окна. Стояли, глядели. В грудь бил надрывно голос Ивана Великого. Брала оторопь. И тогда выскочили перед толпой бойкие людишки.

— Ребята, чего рты разинули? Царевича Ивана задушили, царя Петра сейчас кончают. Айда, приставляй лестницы, ломись на крыльцо!

Гул прошел по многотысячной толпе. Резко затрещали барабаны. «Айда, айда», — завопили дикие голоса. Кинулось десятка два стрельцов, перелезли через решетку, выхватывая кривые сабли, — взбежали на Красное крыльцо. Застучали в медную дверь, навалились плечами. «Айда, айда, айда», — ревом пронеслось по толпе. Заколыхались над головами откуда-то захваченные лестницы. Их приставили к окнам Грановитой палаты, к боковым перилам крыльца. Полезли. Лязгая зубами, кричали: «Давай Матвеева, давай Нарышкиных!»...

18

— Убьют ведь, убьют... Что делать, Артамон Сергеевич?..

— Бог милостив, царица. Выйду, поговорю с ними... Эй, послали за патриархом? Да бегите еще кто-нибудь...

— Артамон Сергеевич, это они, они, враги мои... Языков сам видел, — двое Милославских, переодетые, со стрельцами...

— Твое дело женское — молись, царица..

— Идет, идет! — закричали из сеней. Вонзая в дубо-

вый пол острие посоха, вошел патриарх Иоаким. Исступленные, в темных впадинах, глаза его устремились на низенькие окна под сводами. С той стороны к цветным стеклышкам прильнули головы стрельцов, взлезших на лестницы. Патриарх поднял сухую руку и погрозил. Головы отшатнулись.

Наталья Кирилловна кинулась к патриарху. Ее полное лицо было бело, как белый плат, под чернолисей шапochкой. Уцепилась за его ледяную руку, часто целуя, лепетала:

— Спаси, спаси владыко...

— Владыко, дела плохие,— сурово сказал Артамон Сергеевич. Патриарх повернул к нему расширенные зрачки. Матвеев мотнул квадратной пего-серой бородой.— Заговор, прямой бунт... Сами не знают, что кричат...

Похожий на икону древнего письма, орлиноглазый, тонконосый, Матвеев был спокоен: видал много всякого за долгую жизнь, не раз был близ смерти. Одно чувство осталось у него — гордое властолюбие... Сдерживая гнев, трепетавший в стариковских веках, сказал:

— Лишь бы из Кремля их удалить, а там расправимся...

За окнами жгуче раздавались удары и крики. По палате из двери в дверь пробежал на цыпочках тот, кого стрельцы и бояре ненавидели хуже сатаны,— красавец и щеголь, двадцатичетырехлетний и уже боярин, брат царицы, Иван Кириллович Нарышкин,— говорили, что будто бы уж примерял на голову царский венец. Черные усики его казались наклеенными на позеленевшем лице: словно он видел завтрашние пытки и страшную смерть свою на лобном месте. Размахивая польскими рукавами, крикнул:

— Софья пожаловала! — и скрылся за дверь. За ним вслед проковылял на кривых ногах карлик, ростом с дитя. Держась за шутовской колпак, плакал всем морщинистым лицом, тоже будто чуя, что завтра предаст своего господина.

В палату быстро вошли Софья, Василий Васильевич Голицын и Хованский. Щеки у Софьи были густо нарумянены. Вся — в золотой парче, в высоком жемчужном венце. Приложив к груди руки, низко поклонилась цари-

це и патриарху. Наталья Кирилловна отшатнулась от нее, как от змеи, заморгала глазами, — смолчала.

— Народ гневается, знать, есть за что, — сказала Софья громко, — ты бы с братьями вышла к народу, царица... Они бог знает что кричат, будто детей убили... Уговори, посули им милости, — того гляди, во дворец ворвутся...

Говорила, а белые зубы ее постукивали, зеленые глаза мерцали радостным возбуждением. Матвеев шагнул к ней.

— Не время сводить бабьи счеты...

— Тогда выдь ты к ним...

— Смерти не боюсь, Софья Алексеевна...

— Не спорьте, — сказал патриарх, стукнув посохом. — Покажите им детей, Ивана и Петра...

— Нет! — крикнула Наталья Кирилловна, хватаясь за виски. — Владыко, не позволю... Боюсь...

— Вынесите детей на Красное крыльцо, — повторил патриарх.

19

И вот завизжал замок на медной двери на Красном крыльце. Толпа придвинулась, затихла, жадно глядя. Замолкли барабаны.

Алексашка повис, вцепившись руками и ногами, на пузатом столбе крыльца. Алешка не отставал от него, хотя было ой как страшно.

Дверь распахнулась. Увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовьей черной опашени и золотопарчовой мантии. Взглянув на тысячи, тысячи глаз, упертых на нее, царица покачнулась. Чьи-то руки протянули ей мальчика в пестром узком кафтанчике. Царица с усилием, вздернув животом, приподняла его, поставила на перила крыльца. Мономахова шапка съехала ему на ухо, открыв черные стриженные волосы. Круглощекий и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши. Маленький рот сжат с испугу.

Царица хотела сказать что-то и зашлась, закинула голову. Из-за ее спины выдвинулся Матвеев. По толпе прошло рычание... Он держал за руку другого мальчика,

постарше, с худым равнодушным личиком, отвисшей губой.

— Кто вам лгал,— стариковским, но сильным голосом заговорил Матвеев, изламывая седые брови,— кто лгал, что царя и царевича задушили... Смотрите, вот царь Петр Алексеевич, на руках у царицы... Здоров и весел... Вот царевич Иван,— приподнял равнодушного мальчика и показал толпе.— Оба живы божьей милостью... (В толпе стали переглядываться, заговорили: «Они самые, обману нет...») Стрельцы! Идите спокойно по домам... Если что надо,— есть какие просьбы и жалобы,— присылайте челобитчиков...

С крыльца в толпу сошли Хованский и Василий Васильевич. Кладя руки на плечи стрельцам и простым людям, уговаривали разойтись, но говорили будто с усмешкой. Из присмирившей толпы раздались злые голоса:

— Ну что ж, что они живы...

— Сами видим, что живы...

— Все равно не уйдем из Кремля...

— Нашли дураков... Знаем ваши сладкие слова...

— А потом ноздри рвать у приказной избы...

— Выдайте нам Матвеевых и Нарышкиных...

— Ивана Кирилловича Нарышкина... Он царский венец примерял...

— Кровопийцы, бояре... Языкова нам выдайте... Долгорукова...

Все злее кричали голоса, перечисляя ненавистные имена бояр. Наталья Кирилловна опять побелела, обхватила сына. Петр вертел круглой головой,— чей-то голос крикнул со смехом: «Гляди-ка,— чистый кот». С крыльца сбежал, весь в алом бархате, в соболях, в звящем оружии, князь Михайла Долгорукий, сын стрелецкого начальника, холеный и надменный, закричал на стрельцов, размахивая нагайкой:

— Рады, сучьи дети, что отец мой больной лежит. Сарынь! Прочь отсюда, псы, холопы...

Попятились было стрельцы перед свистящей нагайкой... Но не те времена,— не так надо было разговаривать... Задышали, засопели, потянулись к нему:

— А с колокольни ты не летал?.. Ты кто нам, щенок?.. Бей его, ребята!..

Взяли его за перевязь, сорвали, в клочья разлетелся бархатный кафтан. Михайла Долгорукий выхватил саблю и, пятясь, отмахиваясь, взошел на крыльцо. Стрельцы, уставя копья, кинулись за ним. Схватили. Царица дико завизжала. Растопыренное тело Долгорукого полетело и скрылось в топчущей, рвущей его толпе. Матвеев и царица подались к двери. Но было уже поздно: из сеней Грановитой палаты выскочили Овсей Ржов с товарищами.

— Бей Матвеева,— закричали они.

— Любо, любо.— заревела толпа.

Овсей Ржов надел сзади на Матвеева. Царица взмахнула рукавами, прильнула к Артамону Сергеевичу. Царевич Иван, отпихнутый, упал и заплакал. Круглое лицо Петра исказилось, перекопилось, он вцепился обеими руками в пегую бороду Матвеева...

— Оттаскивай, не бойся, рви его,— кричали стрельцы, поднимая копья,— кидай нам!

Оттащили царицу, отшвырнули Петра, как котенка. Огромное тело Матвеева с разинутым ртом высоко вдруг поднялось, растопыря ноги, и перевалилось на уставленные копья.

Стрельцы, народ, мальчишки (Алексашка с Алешкой) ворвались во дворец, разбежались по сотням комнат. Царица с обоими царевичами все еще была на крыльце, без памяти. К тем, кто остался на площади, опять подошли Хованский и Голицын, и в толпе закричали:

— Хотим Ивана царем... Обоих... Хотим Софью... Любо, любо... Софью хотим на царство... Столб хотим на Красной площади, памятный столб,— чтоб воля наша была вечная...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Пошумели стрельцы. Истребили бояр: братьев царицы Ивана и Афанасия Нарышкиных, князей Юрия и Михайлу Долгоруких, Григория и Андрея Ромодановских, Михайлу Черкасского, Матвеева, Петра и Федора

Салтыковых, Языкова и других — похуже родом. Получили стрелецкое жалованье — двести сорок тысяч рублей, и еще по десяти сверх того рублей каждому стрельцу наградных. (Со всех городов пришлось собирать золотую и серебряную посуду, переливать ее в деньги, чтобы уплатить стрельцам.) На Красной площади поставили столб, где с четырех сторон написали имена убитых бояр, их вины и злодеяния. Полки потребовали жалованные грамоты, где бояре клялись ни ныне, ни впредь никакими поносными словами, бунтовщиками и изменниками стрельцов не называть, напрасно не казнить и в ссылки не ссылать.

Приев и выпив кремлевские запасы, стрельцы разошлись по слободам, посадские — по посадам. И все пошло по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, над сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки — нищета, холопство, бездолье.

Мужик с поротой задницей ковырял кое-как постылую землю. Посадский человек от нестерпимых даней и поборов выл на холодном дворе. Стонало все мелкое купечество. Худел мелкопоместный дворянин. Истощалась земля; урожай сам-три — слава тебе, господи. Кряхтели даже бояре и именитые купцы. Боярину в дедовские времена много ли было нужно? — шуба на соболях да шапка горлатная — вот и честь. А дома хлебал те же щи с солониной, спал да молился богу. Нынче глаза стали голоднее: захотелось жить не хуже польских панов, или лифляндцев, или немцев: наслышались, повидали многое. Сердце разгорелось жадностью. Стали бояре заводить дворню по сотне душ. А их обуять, одеть в гербовые кафтаны, прокормить ненасытную ораву, — нужны не прежние деньги. В деревянных избах жить стало неприлично. Прежде боярин или боярыня выезжали со двора в санях на одной лошади, холоп сидел верхом, позади дуги. На хомут, на уздечку, на шлею навешивали лисьих хвостов, чтобы люди завидовали. Теперь — выписывай из Данцига золоченую карету, запрягай ее четверней, — иначе нет чести. А где деньги? Туго, весьма туго.

Торговлишка плохая. Своему много не продашь, свой — гол. За границу не повезешь, — не на чем. Моря чужие. Все торги с заграницей прибрали к рукам ино-

земцы. А послушаешь, как торгуют в иных землях,— голу бы разбил с досады. Что за Россия, заклятая страна,— когда же ты с места сдвинешься?

В Москве стало два царя — Иван и Петр, и выше их — правительница, царица Софья. Одних бояр променяли на других. Вот и все. Скука. Время остановилось. Ждать нечего. У памятного стрелецкого столба на Красной площади стоял одно время часовой с бердышом, да куда-то ушел. Простой народ кругом столба навалил всякого. И опять зароптали на базарах люди, пошло шептанье. Стали стрельцы сомневаться: не до конца тогда довели дело, шуму было много, а толку никакого. Не довершить ли, пока не поздно?

Старики рассказывали,— хорошо было в старину: дешевле, сытнее, благообразнее. По деревням мужики с бабами водили хороводы. На посадах народ заплывал жиром от лени. О разбоях не слыхивали. Эх, были, да прошли времена!..

В стрелецкой слободе объявилось шесть человек раскольников — начетчики, высохшие, как кость, непоколебимые мужики. «Одно спасение,— говорили они стрельцам,— одно ваше спасение скинуть патриарха-никонианина и весь боярский синклит, ониконианившийся и ополячившийся, и вернуться к богобоязненной вере, к старой жизни». Раскольники читали соловецкие тетради — о том, как избежать прелести никонианской и спасти души и животы свои. Стрельцы плакали, слушая. Старец-раскольник, Никита Пустосвят, на базаре, стоя на возу, читал народу по соловецкой тетради:

«Я, братия моя, видал антихриста, право, видал... Некогда я, печален бывши, помышляючи, как придет антихрист, молитвы говорил, да и забылся, окаянный. И вот на поле многое множество людей вижу. И подле меня некто стоит. Я ему говорю: чего людей много? Он же отвечает: антихрист грядет, стой, не ужасайся. Я подперся посохом двоерогим, стою бодро. Ан — ведут нагого человека,— плоть-то у него вся смрад и зело дурна, огнем дышит, изо рта, из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит. За ним царь наш последует и власти, и бояре, и окольнічьи, и думные дворяне... И плюнул я на него, дурно мне стало, ужасно... Знаю по писанию —

скоро ему быть. Выблядков его уже много, бешеных собак...»

Теперь понятно было, что требовать. Стрельцы кинулись в Кремль. Начальник стрелецкого приказа, Иван Андреевич Хованский, стал за раскол. Шесть костяных раскольников с Никитой Пустосвятом, три дня не евши ни крошки, не пивши ни капли, принесли в Грановитую палату аналой, деревянные кресты и старые книги, и перед глазами Софьи лаяли и срамили патриарха и духовенство. Стрельцы у Красного крыльца кричали: «Хотим старой веры, хотим старины». А иные говорили и тверже: «Пора государыне царевне в монастырь, полно царством-то мутить». Оставалось одно средство, и Софья гневно пригрозила:

— Хотите променять нас на шестерых чернецов — мужиков — невежд? В таком разе нам, царям, жить здесь нельзя, уйдем в другие города, возвестим всему народу о нашем разорении, о вашей измене...

Стрельцы поняли, чем пригрозила Софья, — испугались: «Как бы она, ребята, не двинула дворянское ополчение на Москву?..» Попятились! Стали договариваться. А уж по приказу Василия Васильевича Голицына выносили из царских погребов на площадь ушаты с водкой и пивом. Дрогнули стрельцы, закружились головы. Кто-то крикнул: «Черт ли нам в старой вере, то дело поповское, бей раскольников». Одному костяному старцу тут же отсекли голову, двоих задавили, остальные едва унесли ноги.

Опоили проклятые бояре простых людей, вывернулись. Москва шумела, как улей. Каждый кричал про свое. Не нашлось тогда одной головы, — бушевали вразброд. Разбивали царские кабаки. Ловили подьячих из приказов, рвали на части. По Москве ни проходу, ни проезду. Ходили осаждать боярские дворы, едва бояре отстреливались, — великие в те дни бывали побоища. Пылали целые порядки изб. Неубранные трупы валялись на улицах и базарах. Прошел слух, что бояре стянули под Москвой ополчение, — разом хотят истребить бунт. И еще раз пошли стрельцы с тучами беглых холопов в Кремль, прибавив на копье челобитную о выдаче на суд и расправу всех бояр поголовно. Софья вышла на Красное крыльцо, белая от гнева: «Лгут на нас, и в мыслях того ополче-

ния не было, крест на том целую,— закричала она, рвя с себя сверкающий алмазный наперсный крест,— то лжет на нас Матвейка-царевич». И с крыльца выкинули на стрелецкие копья всего лишь одного, захудалого татарского царевича Матвейку: подавитесь!

Матвейку разорвали на мелкие клочья,— насытили ярость, и опять стрельцы ушли ни с чем... Три дня и три ночи бушевала Москва, вороньи стаи над ней взлетали высоко от набатного звона. И тогда же родилось у самых отчаянных решение: отрубить самую головку, убить обоих царей и Софью. Но, когда Москва пробудилась на четвертый день, Кремль был уже пуст: ни царей, ни царевны,— ушли вместе с боярами. Ужас охватил народ.

Софья уехала в село Коломенское и послала бирючей по уездам созывать дворянское ополчение. Весь август кружила она около Москвы по селам и монастырям, плакалась на папертях, жаловалась на обиды и разорение. В Кремле со стрельцами остался Иван Андреевич Хованский. Стали думать: уж не кликнуть ли его царем,— человек любезный, древнего рода, старого обычая. Будет свой царь для простого народа.

Ожидая богатых милостей, дворяне бойко садились на коней. Огромное, в двести тысяч ополчение сходилось к Троице-Сергиеву. А Софья, как птица, все кружила около Москвы. В сентябре посланный ею конный отряд, со Степкой Одоевским во главе, налетел на рассвете на село Пушкино. Там, объезжая со стрельцами подмосковные, ночевал на пригорке в шатре Иван Андреевич Хованский. Стрельцы спали беспечно. Их, сонных, всех порубили саблями. Иван Андреевич в исподнем белье выскочил из шатра, размахивая бердышом. Михайла Тыртов прямо с коня кинулся ему на плечи. Прикрутив Ивана Андреевича к седлу, повезли в село Воздвиженское, где Софья справляла свои именины. У околицы села на вынесенных скамьях сидели бояре, одетые по военному времени — в шлемах, в епанчах. Михайла Тыртов сбросил с седла Хованского, и тот от горя и стыда, раздетый, стал на колени на траву и заплакал. Думный дьяк Шакловитый прочел сказку о его винах. Иван Андреевич закричал с яростью: «Ложь! Не будь меня,— давно бы в Москве по колена в крови ходили...» Труд-

но было боярам решиться пролить кровь столь древнего рода. Василий Васильевич сидел белее снега. И он и Хованский были Гедиминовичами, и Гедиминовича судили сейчас худородные, недавние выскочки. Видя такое шатание, Иван Михайлович Милославский отошел к верхоконным и шепнул Степке Одоевскому. Тот во весь конский мах поскакал через село к шелковому шатру царевны Софьи и тем же махом, топча кур и малых ребят, вернулся. «Правительница-де приказала не сомневаться, кончать князя». Василий Васильевич торопливо отошел, закрыл глаза платочком. Дико закричал Хованский, когда Михайла Тыртов схватил его за волосы, таща в пыль на дорогу. Здесь же у околицы отрубили Хованскому голову.

Остались без головы стрельцы. Узнав о казни, в ужасе кинулись в Кремль, затворили ворота, зарядили пушки, приготовились к осаде, совсем как поляки, сто лет тому назад, когда Москву обложили войска новгородского купечества.

Софья поспешила в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен. Начальствовать ополчением поручила Василию Васильевичу. И так стояли, грозясь, обе стороны, ожидая, кто первый испугается. Испугались стрельцы и послали в Троицу челобитчиков. Принесли повинную. Тем и кончилась их воля. Столб на Красной площади снесли. Вольные грамоты взяты были назад. Начальником стрелецкого приказа назначили Шакловиного, скорого на расправу. Многие полки разослали по городам. Народ стал тише воды, ниже травы. И опять над Москвой, над всей землей повисла безысходная тишина. Потянулись годы.

2

В сумерках по улице вдоль заборов бежал Алексашка. Сердце резало, пот застилал глаза. Пылающая вдалеке изба мрачно озаряла лужи в колеях. Шагах в двадцати от Алексашки, бухая сапогами, бежал пьяный Данила Меньшиков. Не плеть на этот раз была в руке у него, — сверкал кривой нож. «Остановись! — вскрикивал Данила страшным голосом, — убью!..» Алешка давно остался позади, где-то залез на дерево.

Больше года Алексашка не видел отца, и вот — встретил у разбитого и подожженного кабака, и Данила сразу погнался за сыном. Все это время Алексашка с Алешкой жили хотя и впроголодь, но весело. В слободах мальчигов знали хорошо, приветливо пускали ночевать. Лето они прошатались кругом Москвы по рощам и речкам. Ловили певчих птиц, продавали их купцам. Воровали из огородов ягоды и овощи. Все думали — поймать и обучить ломаться медведя, но зверь легко в руки не давался. Удили рыбу.

Однажды, закинув удочку в тихую и светлую Яузу, что вытекала из дремучих лесов Лосинова острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно — в белых чулках и в зеленом не русском кафтанчике с красными отворотами и ясными пуговицами. Невдалеке, на пригорке, из-за липовых куш поднимались гребнистые кровли Преображенского дворца. Когда-то он весь был виден, отражался в реке, нарядный и пестрый, — теперь зарос листвой, приходил в запустение.

У ворот и по лугу бегали женщины, крича кого-то, — должно быть, искали мальчика. Но он, сердито сидя за лопухами, и ухом не вел. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку:

— Эй, нашу рыбу пугать... Смотри, портки снимем, переплывем, — мы тебя...

Мальчик только шмыгнул. Алексашка опять:

— Ты кто, чей? Мальчик...

— А вот велю тебе голову отрубить, — проговорил мальчик глуховатым голосом, — тогда узнаешь...

Сейчас же Алешка шепнул Алексашке:

— Что ты, ведь это царь, — и бросил удилище, чтобы бежать без оглядки. У Алексашки в синих глазах засветилось баловство:

— погоди, убежим, успеем. — Закинул удочку, смеясь стал глядеть на мальчика. — Очень тебя испугались, отрубил голову один такой... А чего ты сидишь? Тебя ищут...

— Сижу, от баб прячусь.

— Я смотрю, — ты не наш ли царь. А?

Мальчик ответил не сразу, — видимо, удивился, что говорят смело.

— Ну — царь. А тебе что?

— Как что... А вот ты взял бы да и принес нам сахарных пряников. (Петр глядел на Алексашку пристально, не улыбаясь.) Ей-богу, сбегай, принесешь — одну хитрость тебе покажу.— Алексашка снял шапку, из-за подкладки вытащил иглу.— Гляди — игла али нет?.. Хочешь — иглу сквозь щеку протащу с ниткой, и ничего не будет...

— Врешь? — спросил Петр.

— Вот — перекрещусь. А хочешь — ногой перекрещусь? — Алексашка живо присел, схватил босую ногу и ногой перекрестился. Петр удивился еще больше.

— Еще бы тебе царь бегал за пряниками,— ворчливо сказал он.— А за деньги иглу протащишь?

— За серебряную деньгу три раза протащу, и ничего не будет.

— Врешь? — Петр начал мигать от любопытства. Привстал, поглядел из-за лопухов в сторону дворца, где все еще суетились, звали, аукали его какие-то женщины, и побежал с той стороны по берегу к мосткам.

Дойдя до конца мостков, он очутился шагах в трех от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы. Отражались облака и разбитая молнией плакучая ива. Стоя под ивой, Алексашка показал Петру хитрость — три раза протащил сквозь щеку иглу с черной ниткой,— и ничего не было: ни капли крови, только три грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами.

— Дай-ка иглу,— сказал нетерпеливо.

— А ты что же — деньги-то?

— На!..

Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протаскивать ее сквозь щеку. Проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову: «Не хуже тебя, не хуже тебя!» Забыв о мальчишках, побежал к дворцу,— должно быть, учить бояр протаскивать иголки.

Рубль был новенький,— на одной стороне — двуглавый орел, на другой — правительница Софья. Сроду Алексашка с Алешкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы, но Петра видали только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки, то шагал с бара-

баном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая руками.

— Пустяками занимается,— говорил Алексашка, сидя под разбитой ивой.

В конце лета он ухитрился все-таки купить у цыган за полтинник худого, с горбом, как у свиньи, медвежонка. Алешка стал его водить за кольцо. Алексашка пел, плясал, боролся с медведем. Но настала осень, от дождей взмеси́ло грязь по колено на московских улицах и площадях. Плясать негде. В избы со зверем не пускают. Да и медведь до того жрал много,— все проедал, да и еще норовил завалиться спать на зиму. Пришлось его продать с убытком. Зимой Алешка, одевшись как можно жалостнее, просил милостыню. Алексашка на церковных площадях трясся, по пояс голый, на морозе,— будто немой, параличный,— много выжалывал денег. Бога гневить нечего — зиму прожили неплохо.

И опять — просохла земля, зазеленели рощи, запели птицы. Дела по горло: на утренней заре в туманной реке ловить рыбу, днем — шататься по базарам, вечером — в рощу — ставить силки. Алексашке много раз говорили люди: «Смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозитя убить». Алексашка только сплевывал сквозь зубы на три сажени. И неожиданно-негаданно — наскочил...

Всю старую Басманную пробежал Алексашка,— начало сводить ноги. Больше уже не оглядывался,— слышал: все ближе за спиной топали сапожищи, со свистом дышал Данила. Ну — конец! «Караууул!» — пискливо закричал Алексашка...

В это время из проулка на Разгуляй, где стоял известный кабак, вывернула, покачиваясь, высокая карета. Два коня, запряженные гусем, шли крупной рысью. На переднем сидел верхом немец в чулках и широкополой шляпе. Алексашка сейчас же вильнул к задним колесам, повис на оси, вскарабкался на запятки кареты. Увидев это, Данила заревел: «Стой!» Но немец наотмашь стегнул его кнутом, и Данила, задыхаясь руганью, упал в грязь. Карета проехала.

Алексашка отдыхивался, сидя на запятках,— надо было уехать как можно дальше от этого места. За По-

кровскими воротами карета свернула на гладкую дорожку, пошла быстрее и скоро подъехала к высокому частоколу. От ворот отделился иноземный человек, спросил что-то. Из кареты высунулась голова, как у попа, — с длинными кудрями, но лицо — бритое. «Франц Лефорт», — ответила голова. Ворота раскрылись, и Алексашка очутился на Кукуе, в немецкой слободе. Колеса шуршали по песку. Приветливый свет из окошек небольших домов падал на низенькие ограды, на подстриженные деревца, на стеклянные шары, стоявшие на столбах среди песчаных дорожек. В огородах перед домиками белели и чудно пахли цветы. Кое-где на лавках и на крылечках сидели немцы в вязаных колпаках, держали длинные трубки.

«Мать честная, вот живут чисто», — подумал Алексашка, вертя головой сзади кареты. В глазах зарябили огоньки. Проехали мимо четырехугольного пруда, — по краям его стояли круглые деревца в зеленых кадках, и между ними горели площадки, освещая несколько лодок, где, задрав верхние юбки, чтобы не мять их, сидели женщины с голыми по локоть руками, с открытой грудью, в шляпах с перьями, смеялись и пели. Здесь же, под ветряной мельницей, у освещенной двери аустерии, или по-нашему — кабака, плясали, сцепившись, парами девки с мужиками.

Повсюду ходили мушкетеры, — в Кремле суровые и молчаливые, здесь — в расстегнутых кафтанах, без оружия, под руку друг с другом, распевали песни, хохотали — без злобы, мирно. Все было мирное здесь, приветливое: будто и не на земле, — глаза впору протереть...

Вдруг въехали на широкий двор, среди его из круглого озера била вода. В глубине виднелся выкрашенный под кирпич дом с прилепленными к нему белыми столбами. Карета остановилась. Человек с длинными волосами вылез из нее и увидел соскочившего с запяток Алексашку.

— Ты кто, ты зачем, ты откуда здесь? — спросил он, смешно выговаривая слова. — Я тебя спрашиваю, мальчик. Ты — вор?

— Это я — вор? Тогда бей меня до смерти, если вор. — Алексашка весело глядел ему в бритое лицо со вздернутым носом и маленьким улыбающимся ртом. — Видел, как на Разгуляе отец бежал за мной с ножом?

— А! Да, видел... Я засмеялся: большой за маленьким...

— Отец меня все равно зарежет... Возьми, пожалуйста, меня на службу... Дяденька...

— На службу? А что ты умеешь делать?

— Все умею... Первое — петь, какие хошь, песни. На дудках играю, на рожках, на ложках. Смешить могу, — сколько раз люди лопались, вот как насмешу. Плясать — на заре начну, на заре кончу, и не вспотею... Что мне скажешь, — то и могу...

Франц Лефорт взял Алексашку за острый подбородок. Мальчик, видимо, ему понравился.

— О, ты изрядный мальчик... Возьмешь мыла и вымоешься, ибо ты грязный... И тогда я тебе дам платье... Ты будешь служить... Но если будешь воровать...

— Этим не занимаемся, у нас, чай, ум-то есть али нет, — сказал Алексашка так уверенно, что Франц Лефорт поверил. Крикнув конюху что-то про Алексашку, он пошел к дому, насвистывая, выворачивая ступни ног и на ходу будто подплясывая, должно быть оттого, что неподалеку на озере играла музыка и задорно визжали немки.

3

— Да уж будет тебе, Никита Моисеевич, как бы головка у ребенка не заболела...

Едва Наталья Кирилловна проговорила это, царь Петр бросил на полуслове читать Апостола, торопливо перекрестился запачканными в чернилах пальцами и, не дожидаясь, покуда учитель и дядька, Никита Моисеев Зотов, по уставу поклонится ему в ноги, поцеловал маменькину руку, беспомощно затрепетавшую, чтобы схватить, удержать на минутку сына, — и по скрипучим половицам и ступеням переходов и лестниц нетерпеливо понесли его косолапые шаги, пугая прижилых старух в темных углах Преображенского дворца.

— Шапку-то, шапку, головку напечет! — слабо крикнула вслед царица.

Никита Зотов стоял перед ней истово и прямо, как в церкви, — расчесанный, чистый, в мягких сапожках, в темной из тонкого сукна ферязи, — воротник сзади тор-

чал выше головы. Благообразное лицо с мягкими губами и кудрявой бородой запрокинуто от истовости. Благостный человек — и говорить нечего. Скажи ему: кинься, Никита, на нож — кинется. Предан больше собачьего, но уж больно светел, легок духом. Не таков бы нужен был дядька норовистому мальчику.

— Ты, Никита Моисеевич, побольше с ним божественное читай. А то он и на царя-то не похож... Ведь не оглянешься, — скоро уж женить... До сих пор не научился стопами шествовать, — все бегаёт, как простой... Ну — вон, гляди...

Смотря в окно, царица слабо всплеснула руками. По двору бежал Петр, спотыкаясь от торопливости. За ним — долговязые парни из дворцовой челяди, — с мушкетерами и топориками на длинных древках. На земляном валу, — потешной крепостце, построенной перед дворцом, — за частоколом стояли согнанные с деревни мужики в широких немецких шляпах. Велено было им также держать во рту трубки с табаком. Испуганно глядя на бегущего вприскок царя, они забыли, как нужно играть. Петр гневно закричал петушиным голосом. Наталья Кирилловна с содроганием увидела Петенькины бешеные, круглые глаза. Он вскарабкался на верх крепостцы и, сердясь, ударил несколько раз мушкетиком одного из потешных мужиков, втянувшего голову в плечи.

— Не по его — так и убьет, — проговорила Наталья Кирилловна, — в кого только нрав у него горячий?

Игра пошла сызнова. Выстраивая долговязых парней с топориками, Петр опять рассердился, что его плохо понимают. Это была беда: горячась, он начинал говорить неразборчиво, захлебывался торопливостью, точно хотел сказать много больше того, чем было слов на языке.

— Что-то головка стала у него так дергаться? — сказала Наталья Кирилловна, со страхом глядя на сына. И вдруг заткнула уши. Мужики в крепостце выкатили дубовую пушку, которую по строгому приказу царицы заряжали — чем помягче: пареной репой или яблоками, и выстрелили. И тотчас, побросав оружие, воздели руки — в знак того, что сдаются.

— Нельзя сдаваться! Биться должны! — кричал Петр, крутя и тряся головой. — Сначала! Все сначала!..

— Никита Моисеевич, затвори-ка окошко, очень шумят, голова разболелась,— проговорила царица.

Закрылось цветное окошко. Наталья Кирилловна склонила голову и чуть шевелила пальцами, перебирая афонские четки, святые раковинки. Тоскливо. От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна постарела, только брови да когда-то огненные темные глаза остались от ее красоты. Всегда была в черном, покрытая черным платком. Так в Угличе когда-то жила царица Марья Нагая с несчастным Димитрием... Не стряслось бы и здесь такой же беды... Правительница Софья сидит и видит — обвенчаться с Голицыным и царствовать. Уж и корону заказала для себя немецким мастерам.

В Преображенском дворце пустынно, только челядь бегают на цыпочках, да по темным углам шепчутся старухи — мамки, няньки. Царь хоть юн, но духу старушечьего не переносит: увидит, как нянька какая-нибудь, закапанная воском, пробирается вдоль стены, так цыкнет,— старушечка едва без памяти доползет до угла.

Бояре в Преображенском не бывают,— здесь ни чести, ни прибытка. Все толпятся в Кремле, поближе к солнцу. Чтобы не совсем было зазорно, Софья приказала быть при дворе царя Петра четверем боярам: князю Михайле Алегуковичу Черкасскому, князю Лыкову, князю Троекурову и князю Борису Алексеевичу Голицыну. А велик ли прок от них? Лениво слезут с коней у крыльца, подойдут к царицыной ручке, сядут и — молчат, вздыхают. Говорить мало о чем найдется с опальной царицей. Вбежит в горницу Петр,— бояре, поклонясь нецарствующему царю, справятся о его государевом здоровье, и опять вздыхают, качают головами: уж больно прыток становится царь-то,— гляди, царапина на щеке, руки в цыпках. Неприлично.

— Никита Моисеевич, сказывали мне,— в Мытищах баба есть, Воробьиха, на квасной гуще гадает — так-то верно,— все исполняется...— проговорила царица.— Послать бы за ней!.. Да что-то боюсь... Не нагадала бы худого...

— Матушка государыня, чего же худого нагадать вам может подлая баба Воробьиха? — нараспев, приятным гласом ответил Зотов.— В таком разе Воробьиху в ключья растерзать мало.

Наталья Кирилловна подняла пальчик, поманила. Зотов подступил неслышно в мягких сапожках.

— Моисеич... Давеча в поварне, — стрелецкая вдова решето ягод приносила, — сказывала: Софья-де во дворце кричала намедни, и все слышали: «Жалко, говорит, стрельцы тогда волчонка не задушили с волчицей...»

У Натальи Кирилловны затряслись губы, задрожал охваченный черным платом двойной подбородок, большие глаза налились слезами.

Что ей ответить? Чем утешить? У Софьи — стрелецкие полки, за Софью — все дворянское ополчение, а у Петра — три десятка потешных дураков-переростков да деревянная пушка, заряженная репой... Никита Зотов развел ладони, закинул голову, покуда не уперся затылком в жесткий воротник...

— Пошли за Воробьиной, — прошептала царица, — пусть уж скажет правду, а то так-то страшнее...

Долог, скучен летний день. Белые облака плывут и не плывут над Яузой. Знойно. Мухи. Сквозь марево видны бесчисленные купола Москвы, верхушки крепостных башен. Поближе — игла немецкой кирки, ветряные мельницы на Кукуе. Стонут куры, навевая дремоту. В поварне стучат ножами.

Бывало, при Алексее Михайловиче, — смех и шум в Преображенском, толпится народ, ржут кони. Всегда потеха какая-нибудь — охота или медвежья травля, конские гонки. А теперь — глядишь — и дорога-то сюда от каменных ворот заросла гравой. Прошла жизнь. Сиди — перебирай четки.

В стекло чем-то бросили, Зотов открыл окно. Петр позвал, стоя под липой, — весь в пыли, в земле, потный, как мужичонок:

— Никита, напиши указ... Мужики мои никуда не годятся, понеже старые, глупые... Скорее!

— О чем указ прикажешь писать, твое царское величество? — спросил Никита.

— Нужно мне сто мужиков добрых, молодых... Скорее...

— А написать, — для чего мужики сии надобны?

— Для воинской потехи... Мушкетов прислали бы не ломаных и огневого зелья к ним... Да две чугунных пу-

шки, чтобы стрелять... Скорей, скорей... Я подпишу, пошлем нарочного...

Царица, отогнув ветвь липы, склонилась в окошко:
— Петенька, свет мой, будет тебе все воевать... Отдохнул бы, посиди около меня...

— Маманя, некогда, маманя, потом...

Он убежал. Царица долгим вздохом проводила сына. Зотов, сотворив крестное знамение, вынул из кармана гусиное перо и ножичек и со тщанием перо очинил, попробовал на ноготь. Еще раз перекрестясь, с молитвой, отогнул рукав и сел писать полууставом: «Божьею милостью, мы, пресветлейший и державнейший великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец ..»

Царица от скуки взяла почитать Петрушину учебную тетрадь Арифметика. Тетрадь — в чернильных пятнах, написано — вкривь и вкось, неразборчиво: «Пример адиции... Долгу много, а денех у мена меньше того долгу, и надобает вычесть — много ли езчо платить. И то ставися так: долг выше, а под ним денги, и вынимают всякое исподнее слово ис верхнева. Например: один ис двух осталось один. А писать сверху два, ниже его единица, а под единицей ставь смекальную линию, под смекальной линией — число, кое получится, или смекальное число...»

Царица зевнула, — не то есть хочется, не то еще чего-то...

— Никита Моисеевич, забыла я — полдничали сегодня мы али нет?

— Государыня матушка, Наталья Кирилловна. — Зотов, отложив перо, встал и поклонился. — Как отобедали — изволили вы почивать и, встав, полдничали, — подавали вам ягоды с усливками, грушевый взвар и мед монастырский...

— И то... Уж вечерню скоро стоять...

Царица лениво поднялась и пошла в опочивальню. Там при свете лампад (окно было занавешено) у стены на покрытых сундуках сидели злющие старухи-приживалки и поминали друг другу шепотом обиды. Разом встав, как тряпочные — без костей, поклонились царице. Она села под образами на венецейский с высокою спинкою стул. Из-за кровати выползла карлица с гноящими-

ся глазами, по-ребячьи всхлипывая, прикорнула у государынинных ножек, — приживалки ее чем-то обидели.

— Сны, что ли, рассказывайте, дуры бабы, — сказала Наталья Кирилловна. — Единорога никто не видел?

Оканчивая день, медленно ударил колокол на вышке дворцовой церкви. В сенях, на лестницах появились, протирая опухшие глаза, боярские дети из мелкопоместных, худородных, — стольники, приписанные Софьей к Петрову дворцу. Был здесь и Василий Волков, — отец его расшиб лоб о пороги, добился для сына чести. Житье было сытное, легкое, жалованье — шестьдесят рублей в год. Но — скучно. Стольники спали почитай что круглые сутки.

Колокол звонил к вечерне. Царя нигде не было. Стольники побрели его искать на двор, в огороды, на луг к речке. На подмогу им царица послала десятка два мамок поголосистее. Обшарили, обаукали всю местность, — нет царя нигде. Батюшки, уж не утонул ли? У стольников дремоту как рукой сняло. Повскакали на неоседланных коней, рассыпались по вечернему полю, крича, зовя. Во дворце поднялся переполох. Старушонки торопливо зашептали по всем углам: «Непременно это ее рук дело — Соньки... Давеча какой-то человек ходил круг дворца... И нож у него видели за голенищем... Зарезали, зарезали нашего батюшку-кормильца...» Наталью Кирилловну довели этим шепотом зловещим до того, что, обезумев, выбежала она на крыльцо. Из темных полей тянуло дымком, тыркали дергачи в сырых ложбинах. Вдали над черным Сокольничьим бором появилась тускловатая мрачная звезда. Пронзилось тоской сердце Натальи Кирилловны; заломив руки она закричала:

— Петенька, сын мой!

Василий Волков, гоня на коне вдоль реки, наехал на рыбачий костер, — рыбаки повскакали с испугом, чугунок с ершами опрокинулся в огонь. Волков спросил, задыхаясь:

— Мужики, царя не видали?

— Давеча не он ли проплыл в лодке?.. Кажись, гребли прямо на Кукуй. У немцев его ищите...

Ворота в слободе были еще не заперты. Волков помчался по улице туда, где толпились немцы. С верха

он увидел царя и рядом с ним длинноволосого, среднего роста человека с растопыренными, как у индюка, лапами короткого кафтана. В одной руке — на отлете — он держал шляпу, в другой — трость и, смеясь вольно, — собачий сын, — говорил с царем. Петр слушал, грыз ноготь. И все немцы стояли бесстыдно вольно. Волков соскочил с коня, протолкался и стал перед царем на колени.

— Милостивый государь, царица матушка убивается: уж бог знает, что про вас думали. Извольте идти домой — вечерню стоять...

Петр нетерпеливо дернул головой вбок — к плечу.

— Не хочу... Убирайся отсюда... — И, так как Волков продолжал истово глядеть на него с колен, царь загорелся, ударил его ногой. — Прочь пошел, холоп!

Волков поклонился низко и хмуро, не глядя на засмеявшихся, степенной рысью поехал докладывать царице. Благодушный немец с двойным розовым подбородком — в жилете, в вязаном колпаке и вышитых туфлях — виноторговец Иван Монс, вышедший из аустерии, чтобы взглянуть на молодого царя, вынул изо рта фарфоровую трубку.

— Царскому величеству у нас приятнее, нежели дома, у нас веселее...

Стоявшие кругом иноземцы, вынув трубки закачали головами, подтвердили с добродушными улыбками:

— О да, у нас веселее...

И ближе придвинулись — слушать, что говорил длинному, с длинной, детской шеей царю нарядный человек в пышно завитом парике — Франц Лефорт. Петр встретил его на Яузе: плыли в тяжелом струге, челядинцы нескладно гребли, стучаясь уключинами. Петр сидел на носу, поджав ноги. Озаренные закатом, медленно приближались черепичные кровли, острые шпили, верхушки подстриженных деревьев, мельницы с флюгерками, голубятни. С Кукуя доносилась странная музыка. Будто наяву виделся город из тридевятого царства, тридевятого государства, про который Петру еще в колыбели бормотали няньки.

На берегу, на куче мусора, появился человек в растопыренном на боках бархатном кафтане, при шпаге и в черной шляпе с завороченными с трех сторон краями, —

капитан Франц Лефорт. Петр видал его в Кремле, когда принимали иноземных послов. Отнеся вбок левую руку с тростью, он снял шляпу, отступил на шаг и поклонился,— завитые космы парика закрыли ему лицо. Столь же бойко он выпрямился и, улыбаясь приподнятыми уголками рта, проговорил ломано по-русски:

— К услугам вашего царского величества...

Петр смотрел на него, вытянув шею, как на чудо,— до того этот человек был ловкий, веселый, ни на кого не похожий. Лефорт говорил, потряхивая кудрями:

— Я могу показать водяную мельницу, которая трет нюхательный табак, толчет просо, трясет ткацкий стан и поднимает воду в преогромную бочку. Могу также показать мельничное колесо, в коем бегают собака и вертит его. В доме виноторговца Монса есть музыкальный ящик с двенадцатью кавалерами и дамами на крышке и также двумя птицами, вполне согласными натуре, но величиной с ноготь. Птицы поют по-соловьиному и трясут хвостами и крыльями, хотя все сие не что иное, как прехитрые законы механики. Покажу зрительную трубку, через кою смотрят на месяц и видят на нем моря и горы. У аптекаря можно поглядеть на младенца женского пола, живущего в спирту,— лицо поперек полторы четверти, тело — в шерсти, на руках, ногах — по два пальца.

У Петра все шире округлялись глаза от любопытства. Но он молчал, сжав маленький рот. Почему-то казалось, что, если он вылезет на берег,— длиннорукий, длинный,— Лефорт засмеется над ним. От застенчивости он сердито сопел носом и не решался вылезти, хотя лодка уже ткнулась о берег. Тогда Лефорт сбежал к воде,— веселый, красивый, добродушный,— схватил исцарапанную, с изгрызенными ногтями руку Петра и прижал к сердцу.

— О, наши добрые кукуйцы будут сердечно рады увидеть ваше величество... Они покажут вам весьма забавные кундштюки...

Ловок, хитер был Лефорт. Петр и не опомнился, как уже, размахивая руками, шагал рядом с ним к воротам слободы. Здесь окружили их сытые, краснощекие, добрые кукуйцы, и каждый захотел показать свой дом, свою мельницу, где в колесе бегала собака, свой огород

с песчаными дорожками, подстриженными кустиками и ни одной лишней травинкой. Показали все умственные штуки, о которых говорил Лефорт.

Петр удивлялся и все спрашивал: «А это зачем? А это для чего? А это как устроено?..» Кукуйцы качали головами и говорили одобрительно: «О, молодой Петр Алексеевич хочет все знать, это похвально...» Наконец подошли к четырехугольному пруду. Было уже темно. На воду падал свет из отворенной двери аустерии. Петр увидал маленькую лодочку с маленьким, повисшим без ветра парусом. В ней сидела молоденькая девушка в белом и пышном, как роза, платье. Волосы ее были подняты и украшены цветами, в голых руках она держала лютню. Петр ужасно удивился, — даже стало страшно отчего-то. Повернув к нему чудное в сумерках лицо, девушка заиграла на струнах и запела тоненьким голоском по-немецки такое жалостное и приятное, что у всех защекотало в носу. Между зелеными шарами и конусами подстриженных деревьев сладко пахли белые цветы табаку. От непонятого впечатления у Петра дико забилось сердце. Лефорт сказал ему:

— Она поет в вашу честь. Это очень хорошая девушка, дочь зажиточного виноторговца Иоганна Монса.

Сам Иоганн Монс, с трубкой, весело поднял руку и покивал ладонью Петру. Соблазнительный голос Лефорта прошептал:

— Сейчас в аустерии соберутся девушки, будут танцы и фейерверк, или огненная забава...

По темной улице бешено налетели конские копыта. Толпа царских стольников пробилась к царю со строгим приказом от царицы — идти домой. На этот раз пришлось покориться.

Иноземцы, бывавшие в Кремле, говорили с удивлением, что, не в пример Парижу, Вене, Лондону, Варшаве или Стокгольму, царский двор подобен более всего купеческой конторе. Ни галантного веселья, ни балов, ни игры, ни тонкого развлечения музыкой. Золотошубные бояре, надменные князья, знаменитые воеводы только и толковали в низеньких и жарких кремлевских покоях,

что о торговых сделках на пеньку, поташ, ворвань, зерно, кожи.. Спорили и лаялись о ценах. Вдыхали — что, мол, вот земля обильна и всего много, а торговля плоха, обширны боярские вотчины, а продавать из них нечего. На Черном море — татары, к Балтийскому не пробьешься. Китай далеко, на севере все держат англичане. Воевать бы моря, да не под силу.

К тому же мало поворотливы были русские люди. Жили по-медвежьи за крепкими воротами, за неперелазным тыном в усадьбах на Москве. В день отстаивали три службы. Четыре раза плотно ели, да спали еще днем для приличия и здоровья. Свободного времени оставалось немного: боярину — ехать во дворец, дожидаться, когда царю угодно потребовать от него службы, купцу — сидеть у лавки, зазывать прохожих, приказному дьяку — сопеть над грамотами.

Долго бы чесали бока, кряхтели и жаловались русские люди, но случилось неожиданное — подвалило счастье. Польский король Ян Собесский прислал в Москву великих послов говорить о союзе против турок. Ласково заговорили поляки, что нельзя же допустить, чтоб поганые турки мучили христиан, и православным русским нехорошо быть в мире с турецким султаном и ханом крымским. В Москве сразу поняли, что полякам туго и самое время с ними торговаться. Так и было: Польша в союзе с австрийским императором едва отбивалась от турок, с севера ей грозили шведы. У всех еще в памяти была опустошительная Тридцатилетняя война, когда пошатнулась Австрийская империя, обезлюдела Германия и Польша стала чуть ли не шведской вотчиной. Хозяевами морей оказались французы, голландцы, турки, а по всему балтийскому побережью — шведы. Ясно было, чего сейчас добивались поляки: чтоб охранять русскими войсками украинские степи от турецкого султана.

Царственные большие печати и государственных посольских дел оберегатель и наместник новгородский, князь Василий Васильевич Голицын, потребовал от поляков вернуть Киев. «Верните нам исконную царскую вотчину Киев с городками, тогда на будущий год пошлем войско на Крым воевать хана». Три с половиной месяца спорили поляки: «Нам лучше все потерять, чем отдать Киев». Русские не торопились, стояли на своем,

прочли полякам все летописи с начала крещения Руси. И пересидели, переспорили.

Ян Собесский, разбитый турками в Бессарабии, плача, подписал вечный мир с Москвой и возвращение Киева с городками. Удача была велика, но и податься некуда,— приходилось собирать войско, идти воевать хана.

5

Напротив Охотного ряда, на голицынском дворе, было чисто и чинно. Жарко блестели, от крыши до земли, обитые медью стены дома. У входа на ковриках стояли два рослые мушкетера — швейцарцы, в железных шлемах и панцирях из воловьей кожи. Другие два охраняли сквозные золоченые ворота. С той их стороны толпа простого народа, шатающегося по Охотному ряду, глазела на сытые лица швейцарцев, на выложенный цветными плитами широкий двор, на пышную, всю в стеклах, карету, запряженную рыжей четверней, на медно сияющий дом обергателя, любовника царевны-правительницы.

Сам Василий Васильевич в эту несносную духоту сидел на сквозняке близ раскрытого окна и по-латински вел беседу с приезжим из Варшавы иноземцем де Невиллем. Гость был в парике и французском платье, какое только что стали носить при дворе Людовика Четырнадцатого. Василий Васильевич был без парика, но также во французском — в чулках и красных башмачках, в коротких бархатных штанах с лентами,— на животе и с боков из-под бархатной куртки выбивалось тонкое белье в кружевах. Бороду он брил, но усы оставил. На французском столике перед ним лежали свитки и тетради, латинские книги в пергаменте, карты и архитектурные чертежи. На стенах, обитых золоченой кожей, висели парсуны, или — по-новому — портреты, князей Голицыных и в пышной венецкой раме — изображение двоеглавого орла, державшего в лапах портрет Софьи. Французские — шпалерные и итальянские — парчовые кресла, пестрые ковры, несколько настенных часов, персидское оружие, медный глобус, термометр аглицкой работы, литого серебра подсвечники и паникадила, переплеты книг и на сводчатом потолке — расписанная золотом, серебром и ла-

зурью небесная сфера — отражались многократно в зеркалах, в простенках и над дверями.

Гость с одобрительным любопытством поглядывал на сие наполовину азиатское, наполовину европейское убранство. Василий Васильевич, играя гусиным пером, положив ногу на ногу и великодушно улыбаясь, говорил (лишь иногда запинаясь в латинских словах и выговаривая их несколько на московский лад):

— Поясню вам, господин де Невилль. Нашего государства основа суть два сословия: кормящее и служилое, сиречь — крестьянство и дворянство. Оба сии сословия в великой скудости обретаются, и оттого государству никакой пользы от них нет, ниже одно разорение. Великим было бы счастьем оторвать помещиков от крестьян, ибо помещик ныне, одной лишь корысти ради, без пощады пожирает крепостного мужика, и крестьянин оттого худ, и помещик худ, и государство худо...

— Высокомысленные и мудрые слова, господин канцлер,— проговорил де Невилль.— Но как вы мечтаете выполнить сию трудную задачу?

Василий Васильевич, загораясь улыбкой, взял со стола тетрадь в сафьяне, писанную его рукой: «О гражданском житии или поправлении всех дел, яже надлежит обще народу...»

— Великое и многотрудное дело, ежели бы народ весь обогатить,— проговорил он и стал читать из тетради: — «Многие миллионы десятин лежат в пустошах. Те земли надлежало бы вспахать и засеять. Скот умножить. Русскую худую овцу вывести и вместо нее обязать завозить аглицкую тонкорунную овцу. Ко всяким промыслам и рудному делу людей приохотить, давая от того им справедливую пользу. Множество непосильных оброков, барщин, податей и повинностей уничтожить и обложить всех единым поголовным, умеренным налогом. Сие возможно лишь в том размышлении, если всю землю у помещиков взять и посадить на ней крестьян вольных. Все прежде бывшие крепостные кабалы разрушить, чтобы впредь весь народ ни у кого ни в какой кабале не состоял, разве — небольшое число дворовых холопей...»

— Господин канцлер,— воскликнул де Невилль,— история не знает примеров, чтоб правитель замышлял

столь великие и решительные планы. (Василий Васильевич сейчас же опустил глаза, и матовые щеки его порозовели.) Но разве дворянство согласится безропотно отдать крестьянам землю и раскабалить рабов?

— Взамен земли помещики получают жалованье. Войска будут набираться из одних дворян. Даточных рекрутов из холопов и тяглых людей мы устраняем. Крестьянин пусть занимается своим делом. Дворяне же за службу получают не земельную разверстку и души, а увеличенное жалованье, кое царская казна возьмет из общей земельной подати. Более чем вдвое должен подняться доход государства...

— Мнится — слышу философа древности, — прошептал де Невилль.

— Дворянских детей, недорослей, дабы изучали воинское дело, надобно посылать в Польшу, во Францию и Швецию. Надобно завести академии и науки. Мы украсим себя искусствами. Населим трудолюбивым крестьянством пустыни наши. Дикий народ превратим в грамотеев, грязные шалаши — в каменные палаты. Трусы сделаются храбрецами. Мы обогатим нищих. (Василий Васильевич покосился на окно, где по улицам брел пыльный столб, поднимая пух и солому.) Камнями замостим улицы. Москву выстроим из камня и кирпича... Мудрость воссияет над бедной страной.

Не расставаясь с гусиным перышком, он покинул кресло, и ходил по коврам, и много еще необыкновенных мыслей высказал гостю:

— Английский народ сам сокрушил несправедливые порядки, но в злобстве дошел до великих преступлений — коснулся главы помазанника... Боясь сих ужасов, мы жаждем блага равно всем сословиям. Ежели дворянство будет упираться нашим начинаниям, мы силой переломим их древнее упрямство...

Беседа была прервана. Ливрейный слуга, испуганно округлив глаза, подошел на цыпочках и шепнул что-то князю. Лицо Василия Васильевича стало напряженно серьезным. Де Невилль, заметив это, взял шляпу и начал откланиваться, пятясь к двери. За ним, так же, кланяясь и округло, от сердца вниз, помахивая рукою в перстнях и кружевах, шел Василий Васильевич.

— Я весьма огорчен и в сильнейшем отчаянии, господин де Невилль, что вы изволите так скоро покидать меня.

Оставшись один, он оглянул себя в зеркало и, торопливо стуча каблучками, пошел в опочивальню. Там на двуспальной кровати под алого шелка пологом, украшенным наверху страусовыми перьями, сидела, прислонясь виском к витому столбику, правительница Софья. Как всегда, она подъехала тайно в закрытой карете с черного хода.

6

— Сонюшка, здравствуй, свет мой...

Она, не отвечая, подняла хмурое лицо, пристально зелеными мужичьими глазами глядела на Василия Васильевича. Он в недоумении остановился, не дойдя до кровати.

— Беда какая-нибудь? — государыня...

Этой зимой Софья тайно вытравила плод. Пополневшее лицо ее, с сильными мускулами с боков рта, не играло уже прежним румянцем, — заботы, думы, тревоги легли на нем брезгливым выражением. Одевалась она пышно, все еще по-девичьи, но повадка ее была женская, дородная, уверенная. Ее мучила нужда скрывать любовь к Василию Васильевичу. Хотя об этом знали все до черной девки-судомойки и за последнее время вместо грешного и стыдного названия — любовник — нашлось иноземное приличное слово галант, — все же отравно, нехорошо было, — без закона, не венчанной, не крученной, — отдавать возлюбленному свое уже немолодое тело. Вот по этой бы весне со всей женской силой и сладкой мукой родила бы она... Люди заставили травить плод... Да и любовь ее к Василию Васильевичу была непокойная, не в меру лет: хорошо так любить семнадцатилетней девчонке. — с вечной тревогой, прячась, думая неотстанно, горя по ночам в постели. А иной раз и ненависть клубком подпирала горло, — ведь от него была вся мука, от него был затравленный плод... А ему — хоть бы что: утерся, да и в сторону...

Сидя в кровати, — широкая, с не достающими до полу ногами, горячо влажная под тяжелым платьем, — Софья неприветливо оглянула Василия Васильевича.

— Смешно вырядился,— проговорила она,— что же это на тебе — французское? Кабы не штаны, так совсем бабье платье... Смеяться будут... (Она отвернулась, подавила вздох.) Да, беда, беда, батюшка мой... Радоваться нам мало чему...

За последнее время Софья все чаще приезжала к нему мрачная, с недоговоренными мыслями. Василий Васильевич знал, что близкие к ней две бабы-шутихи, весь день шныряя по закоулкам дворца, выслушивают боярские речи и шепоты и, как Софье отходить ко сну, докладывают ей обо всем.

— Пустое, государыня,— сказал Василий Васильевич,— мало ли о чем люди болтают, не горюй, брось...

— Бросить? — Она ногтями застучала по столбику кровати, зубы у нее понемногу зло открылись.— А знаешь — о чем в Москве говорят! Править, мол, царством мы слабы... Великих делов от нас не видно...

Василий Васильевич потрогал пальцем усы, пожал плечом. Софья покосилась на него: ох, красив, ох, мука моя... Да — слаб, жилы — женские... В кружева вырядился...

— Так-то, батюшка мой... Книги ты читать горазд и писать горазд, мысли светлые,— знаю сама.. А вчера после вечерни дядюшка Иван Михайлович про тебя говорил: «Читал, мол, мне Василий Васильевич из тетради про смердов, про мужиков,— подивился я: уж здоров ли головкой князюшка-то?» И бояре смеялись...

Как девушка, вспыхнул Василий Васильевич, из-под длинных ресниц метнул лазоревыми глазами:

— Не для их ума писано!

— Да уж какие ни на есть,— умнее слуг нам не дано... Сама терплю: мне бы вот охота плясать, как польская королева пляшет, или на соколиную охоту выезжать на коне, сидя бочком в длинной юбке. Молчу же... Ничего не могу,— скажут: еретичка. Патриарх и так уж мне руку сует как лопату.

— Живем среди монстров,— прошептал Василий Васильевич.

— Вот что тебе скажу, батюшка... Сними-ка ты кружева, чулочки, да надень епанчу походную, возьми в руки сабельку... Покажи великие дела...

— Что?.. Опять разве были разговоры про хана?

— У всех одно сейчас на уме — воевать Крым... Этого не минуть, голубчик мой. Вернешься с победой, тогда делай что хочешь. Тогда ты сильнее сильных.

— Пойми, Софья Алексеевна, — нельзя нам воевать. . На иное нужны деньги...

— Иное будет после Крыма, — твердо проговорила Софья. — Я уж и грамоту заготовила: быть тебе большим воеводой. День и ночь буду тебя поминать в молитвах, все колени простою, все монастыри обойду пешая, сударь мой... Вернешься победителем, — кто тогда слово скажет? Перестанем скрываться от стыда... Верю, верю — бог нам поможет против хана. — Софья слезла с постели и глядела снизу вверх в его отвернутые глаза. — Вася, я тебе боялась сказать... Знаешь, что еще шепчут? «В Преображенском, мол, сильный царь подрастает... А царица, мол, только зря трет спиной горностай...» Ты мои думы пожалей... Я нехорошее думаю. — Она схватила в горячие ладони его задрожавшую руку. — Ему уж пятнадцатый годок пошел. Вытянулся с коломенскую версту. Прислал указ — вербовать всех конюхов и сокольничих в потешные. А сабли да мушкеты у них ведь из железа... Вася, спаси меня от греха... В уши мне бормочут, бормочут про Дмитрия, про Углич... Чай, грех ведь это? (Василий Васильевич выдернул руку из ее рук. Софья медленно, жалобно улыбнулась.) И то, я говорю, грех и думать о таких делах... То в старину было... Вся Европа узнает про твои подвиги. Тогда его бояться уж нечего, пусть балуется...

— Нельзя нам воевать! — с горечью воскликнул Василий Васильевич. — Войска доброго нет, денег нет... Великие прожекты! — эх, все попусту! Кому их оценить, кому понять? Господи, хоть бы три, хоть бы два только года без войны...

Он безнадежно махнул кружевной манжетой... Говорить, убеждать, сопротивляться, — все равно — было без пользы.

7

Наталья Кирилловна ругала Никиту Зотова: «Да беги же ты за ним, да найди ты его, — со двора убежал чуть свет, лба не перекрестил, и куска во рту не было...»

Найти Петра не так-то было просто,— разве в роще где-нибудь начнется стрельба, барабанный бой,— значит там и царь: балуется с потешными. Никиту сколько раз брали в плен, привязывали к дереву, чтобы не надоедал просьбами — идти стоять обедню или слушать приезжего из Москвы боярина. Чтобы Никита не скучал у дерева, Петр приказывал ставить перед ним штоф водки. Так понемногу Зотов стал привыкать к чарочке и уж, бывало, сам просился в плен под березу. Возвращаясь к Наталье Кирилловне сокрушенный, он разводил руками:

— Силов нет, матушка государыня, не идет сокол-то наш...

Играть Петр был горазд — мог сутки без сна, без еды играть во что ни попало, было б шумно, весело, потешно,— стреляли бы пушки, били барабаны. Потешных солдат из царских конюхов, сокольничих и даже из юношей изящных фамилий было у него теперь человек триста. С ними он ходил походами по деревням и монастырям вокруг Москвы. Иных монахов пугали до полусмерти: в полуденный зной, когда на березе не шелохнется листок, лишь грузно гудят пчелы под липами и одолевает дремота, из лесочка вдруг с бесовскими криками выкатываются какие-то в зеленых кафтанах, видом — не русские, и бум-тарарах — бьют из пушек деревянными ядрами в мирные монастырские стены. И еще страшнее монахам, когда узнавали в длинном, вымазанном в грязи и пороховой копоти, беспокойном выюноше — самого царя.

Служба в потешном войске была тяжелая — ни доспать, ни доесть. Дождь ли, зной ли несносный,— взбредет царю — иди, шут его знает куда и зачем, пугать добрых людей. Иной раз потешных будили среди ночи: «Приказано обойти неприятеля. Переправляться вплавь через речку...» Некоторые и тонули в речках по ночному времени.

За леность или за нети,— если кто, соскучась без толку шагать по дорогам, сказывался в нетях, хотел бежать домой,— таких били батогами. В последнее время приставили к войску воеводу, или — по-новому — генерала,— Автонома Головина. Человек он был гораздо глупый, но хорошо знал солдатскую экзерцицию и навел

строгие порядки. При нем Петр, вместо беспорядочного баловства, стал не шутя проходить военную науку в первом батальоне, названном Преображенским.

Франц Лефорт не состоял у Петра на должности, — так как был занят по службе в Кремле, — но часто приезжал верхом к войску и давал советы, как что устроить. Через него взяли на жалованье иноземца капитана Федора Зоммера для огнестрельного и гранатного боя и тоже произвели в генералы. Из Пушкарского приказа доставили шестнадцать пушек, и тогда стали учить потешных стрелять чугунными бомбами, — учили строго: Федор Зоммер даром жалованье получать не хотел. Было уже не до потехи. Много побили в полях разного скота и перекалечили народу.

8

Иноземцы на Кукуе часто разговаривали о молодом царе Петре. Собираясь по вечерам на посыпанной песочком площадке, — среди подстриженных деревьев, — они похлопывали ладонями по столикам:

— Эй, Монс, кружечку пива!

Монс, в вязаном колпаке, в зеленом жилете, выплывал из освещенной двери аустерии, неся по пяти глиняных кружек в каждой руке. Над кружкой — шапка пены. Вечер тих и приятен. Высыпают звезды в русском небе, не столь, правда, яркие, пышные, как в Тюрингии, или Бадене, или Вюртемберге, — но жить можно неплохо и под русскими звездами.

— Монс! Расскажи-ка нам, как у тебя в гостях был царь Петр.

Монс присаживался за стол к доброй компании, отхлебывал из чужой кружки и, подмигнув, рассказывал:

— Царь Петр очень любопытный человек. Он узнал о замечательном музыкальном ящике, который стоит в моей столовой. Отец моей жены купил этот ящик в Нюрнберге...

— О да, мы все знаем твой прекрасный ящик, — подтверждали слушатели, взглянув друг на друга и помотав висячими трубками.

— Я немного испугался, когда однажды в мою столовую вошли Лефорт и царь Петр. Я не знал, как мне

нужно поступать... В таком случае русские становятся на колени. Я не хотел. Но царь сейчас же спросил меня: «Где твой ящик?» Я ответил: «Вот он, ваше помазанное величество». Тогда царь сказал: «Иоганн, не зови меня ваше помазанное величество, мне это надоело дома, но зови меня, как будто я твой друг». И Лефорт сказал: «О да, Монс, мы все будем звать его — герр Петер». И мы втроем долго смеялись этой шутке. После этого я позвал мою дочь Анхен и велел ей завести ящик. Обыкновенно мы заводим его только раз в году, в сочельник, потому что это очень ценный ящик. Анхен посмотрела на меня — и я сказал: «Ничего, заводи». И она завела его, — кавалеры и дамы танцевали, и птички пели. Петер удивился и сказал: «Я хочу посмотреть, как он устроен». Я подумал: «Пропал музыкальный ящик». Но Анхен — очень умная девочка. Она сделала красивый поклон и сказала Петеру, и Лефорт перевел ему по-русски. Анхен сказала: «Ваше величество, я тоже умею петь и танцевать, но, увы, если вы пожелаете посмотреть, что внутри у меня, отчего я пою и танцую, — мое бедное сердце наверное после этого будет сломано...» Переведя эти слова, Лефорт засмеялся, и я громко засмеялся, и Анхен смеялась, как серебряный колокольчик. Но Петер не смеялся, — он покраснел, как бычья кровь, и глядел на Анхен, будто она была маленькой птичкой. И я подумал: «О, у этого юноши сидит внутри тысяча чертей». Анхен тоже покраснела и убежала со слезами на своих синих глазах...

Монс засопел и отхлебнул из чужой кружки. Он чудно и трогательно умел рассказывать истории. Приятный ночной ветерок шевелил кисточки на вязаных колпаках у собеседников. В освещенной двери показалась Анхен, подняла невинные глаза к звездам, счастливо вздохнула и исчезла. Раскуривая трубки, посетители говорили, что бог послал Иоганну Монсу хорошую дочь. О, такая дочь принесет в дом богатство. Бородатый и красный, могучего роста кузнец, Гаррит Кист, голландец, родом из Заандама, сказал:

— Я вижу, — если с умом взяться за дело, — из молодого царя можно извлечь много пользы.

Старый Людвиг Пфедер, часовщик, ответил ему:

— О нет, на это плохая надежда. У царя Петра нет

силы... Правительница Софья никогда не даст ему царствовать. Она — жестокая и решительная женщина... Теперь она собирает двести тысяч войска воевать крымского хана. Когда войско вернется из Крыма, я не поставлю за царя и десяти пфеннигов...

— Напрасно вы так рассуждаете, Людвиг Пффер,— ответил ему Монс,— не раз мне рассказывал генерал Теодор фон Зоммер, который недавно был просто— Зоммер... (Монс раскрыл рот и захохотал, и все засмеялись его шутке.) Не раз он мне говорил: «Погодите, дайте нам год или два сроку, у царя Петра будет два батальона такого войска, что французский король или сам принц Морис Саксонский не постыдятся ими командовать...» Вот что сказал Зоммер...

— О, это хорошо,— проговорили собеседники и значительно переглянулись.

Такие беседы бывали по вечерам на подметенной площадке перед дверью аустерии Иоганна Монса.

9

В сводчатых палатах Дворцового приказа — жара, духота,— топор вешай. За длинными столами писцы, свернув головы, свесив волосы на глаза, скрипят перьями. В чернилах — мухи. На губы, на мокрые носы липнут мухи. Дьяк наелся пирогов, сидит на лавке, в дремоте. Писец, Иван Васков, перебеливает с листа в книгу:

«...по указу великих государей сделано немецкое платье в хоромы к нему, великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белья России самодержцу, а к тому делу взято товаров у генерала у Франца Лефорта: две цевки золота,— плачено один рубль, 13 алтын, 2 деньги, да девять дюжин пуговиц по шести алтын дюжина, да к исподнему кафтану — 6 дюжин пуговиц по 2 алтына, 4 деньги дюжина, да шелку и полотна на 10 алтын, да накладные волосы — три рубля...»

Дунув на муху, Васков поднял осовелые веки.

— Слышь, Петруха, а «волосы накладные» как писать — с прописной буквы али с малой?

Напротив сидящий подьячий, подумав, ответил:

— Пиши с малой.

— Волос у него, что ли, нет своих, у младшего государя-то?

— А ты — смотри — за такие слова...

Нагнув голову влево, чтобы ловчее писать, Васков тихо закинул от смеха, — уж очень чудно казалось ему, что государю в немецкой слободе от немцев покупают волосы, платят три рубля за такую дрянь.

— Петруха, куда же он эти волосы навесит?

— На это его государева воля, — куда захочет, туда и навесит. А будешь еще спрашивать, дьяку пожалуюсь...

Дьяка тоже одолели мухи. Вынув шелковый платок, помахал он вокруг себя, вытер лицо и козлиную бороду.

— Э-эй, спите! — лениво прикрикнул он. — Разве вы писцы, разве вы подьячие? Все бы вам даром жрать казенные деньги. Страху нет на вас, бога забыли, шпыни ненадобные... Вот выдеру весь приказ батогами, — будете знать, как работать с бережением... И чернил на вас не напасешься, и бумаги прорва... Гром вас порази, племя иродово...

Вяло махнув платком, дьяк опять задремал. Скучное настало время — ни челобитчиков, ни даров. Москва опустела, — стрельцы, дети боярские, помещики, все ушли в поход, в Крым. Только — мухи да пыль, да мелкие казенные дела.

— Петруха, квасу бы сейчас выпить! — проговорил Васков и, оглянувшись на дьяка, потянулся, вывернулся, так что гнилой кафтанец треснул у него под мышками. — Вечером пойду к одной вдове, вот напьюсь квасу. — Мотнув башкой, он опять принялся писать:

«...по указу в. г. ц. и в. к. Петра Алексеевича всея В. и М. и Б. Р. самодержца велено прислать в Село Коломенское к нему в. г. ц. и в. к. всея В. и М. и Б. Р. самодержцу стряпчих конюхов — Якима Воронина, Сергея Бухвостова, Данилу Картина, Ивана Нагибина, Ивана Иевлева, Сергея Черткова да Василия Бухвостова. Упомянутых стряпчих конюхов велено взять наверх в потешные пушкари и учинить им оклады — денег по пяти рублей человеку, хлеба по пяти четвертей ржи, овса тож...»

— Петруха, вот людям счастье...

— Кто еще разговаривает, э-эй, кобели стоялые, — в полусне пригрозил дьяк.

Немецкое платье и парик принял под расписку стольник Василий Волков и с бережением отнес в государеву спальню. Еще только светало, а Петр уже вскочил с лавки, где спал на кошме под тулупчиком. За парик он схватился за первое, примерил, — тесно! — хотел ножницами резать свои темные кудри, — Волков едва умолил этого не делать, — все-таки добился — напялил парик и ухмыльнулся в зеркало. Руки он в этот раз вымыл мылом. вычистил грязь из-под ногтей, торопливо оделся в новое платье. Подвязал, как его учил Лефорт, шейный белый платок и на бедра, поверх растопыренного кафтана, шелковый белый же шарф. Волков, служа ему, дивился: не в обычае Петра было возиться с одеждой. Примеряя узкие башмаки, он заскрежетал зубами. Вызвали дворового, Степку Медведя, рослого парня, чтобы разбить башмаки, — Степка, вколотив в них ножищи, бегал по лестницам, как жеребец. В девять часов (по новому счету времени) пришел Никита Зотов — звать к ранней обедне. Петр ответил нетерпеливо:

— Скажи матушке, — у меня-де государственное дело неотложное... Один помолюсь. Да — вот что — сам-то возвращайся, да рысью, слышь...

Он вдруг закинул голову и засмеялся, как всегда, будто вырывая из себя смех. Никита понял, что царь опять придумал какую-нибудь шутку, которым изрядно учили его в немецкой слободе. Но — кротко покорился, убежал в мягких сапожках и скоро вернулся, сам зная, что — себе на горе. Так и вышло. Петр, вращая глазами, приказал ему:

— Поедешь великим послом от еллинского бога Бахуса — бить челом имениннику.

— Слушаю, государь Петр Алексеевич, — истово ответил Зотов. Тут же, как было указано, надел он на себя вывернутую заячью шубу, на голову — мочалу, поверх венка из банного веника, в руки взял чашу. Чтобы не было лишних разговоров с матушкой, Петр вышел из дворца черным ходом и побежал на конюшенный двор. Там вся дворня со смехом ловила четырех здоровенных кабанов. Петр кинулся помогать, кричал, дрался, суетился. Кабанов поймали, на лежачих надели шлеи,

впрягли в золотую низенькую карету на резных колесах (жениховский подарок покойного Алексея Михайловича; ее Наталья Кирилловна приказывала беречь пуще глаза). Конюшенный дьяк с трясущимися губами глядел на такое разорение и бесчинство. Под свист и хохот дворни в карету впихнули Никиту Зотова. Петр сел на козлы, Волков, при шпаге и в треугольной шляпе, пошел впереди, кидая кабанам морковь и репу. Конюха с боков стегали кнутами. Поехали на Кукуй.

У ворот слободы их встретила толпа иноземцев. «Хорошо, хорошо, очень весело,— закричали они, хлопая в ладоши,— можно лопнуть от смеха». Петр, красный, с сжатым ртом, со злым лицом, вытянувшись, сидел на козлах. Сбегалась вся слобода. Хохотали, держась за бока, указывали пальцами на царя и на мочальную голову в карете — полумертвого от страха Зотова. Свиньи дергали в разные стороны, спутали сбрую. Внезапно Петр вырвал у конюха кнут и бешено застегал по свиньям. Завизжав, они понесли карету... Кого-то сбили с ног, кто-то попал под колеса, женщины хватали детей. Петр, стоя, все стегал,— багровый, с раздутыми ноздрями короткого носа. Круглые глаза его были красны, будто он сдерживал слезы

У Лефортова двора конюха кое-как сбили свиную упряжку, своротили в раскрытые ворота. По двору бежал именинник — Лефорт, махая тростью и шляпой. За ним — пестро разодетые гости. Петр неуклюже соскочил с козел и за воротник вытащил из кареты Зотова. Все еще бешено глядя в глаза Лефорту, будто боясь увидеть в толпе кого-то,— проговорил задыхающимся голосом:

— Мейн либер генерал, привез великого посла с великим виватом от еллинского бога Бахуса...— Крупный пот выступил на лице его, облизнул губы и, все еще глядя в глаза, с трудом: — Мит херцлихен грус... Сиречь, бьет челом... Свиней и карету в подарок шлет...— Все еще судорожно держа Зотова, шепотом: — Вались на колени, кланяйся...

Прекрасный, в розовом бархате, в кружевах, напудренный и надушенный Лефорт все сразу понял... Подняв высоко руки, захолопал в ладоши, залился веселым смехом и, поворачиваясь то к Петру, то к гостям, сказал:

— Вот прекрасная шутка,— веселее шутки не приходилось видеть.. Мы думали поучить его забавным шуткам, но он поучит нас шутить... Эй, музыканты, марш в честь бахусова посла...

За кустами сирени ударили барабаны и литавры, заиграли трубы. У Петра опустились плечи, сошла багровая краска с лица. Закинувшись, он шумно засмеялся. Лефорт взял его под руку. Тогда Петр обежал глазами гостей и увидел Анхен,— она улыбалась ему блестящими зубками. По плечи голая, точно высунулась навстречу ему из пышного, как роза, платья.

Опять дикое смущение схватило его за горло. Он шел впереди гостей, рядом с Лефортом, к дому, по-журавлиному поднимая ноги. На площадке у крыльца стояли песельники в пунцовых русских рубашках. Они хватили с присвистом плясовую. Один, синеглазый, наглый, выскочил и с приговором: «Ай, дуду-дуду-дуду»,— пошел вприсядку, отбивая подковками дробь, щелкая ладонями по песку, с перевертом, с подлетом, завертелся юлой: «И —эх —ты!»

— Ай да Алексашка!

11

Скрипка, альты, гобой и литавры играли на хорах старые немецкие песни, русские плясовые, церемонные ми нуэты, веселые англезы. Табачный дым клубился в лучах, бивших сквозь круглые окошки двухсветной залы. Захмелевшие гости отпускали такие словечки, что девицы вспыхивали, как зори, румяные красавицы с пышными, как бочки, фижмами и тяжелыми шлёпами хохотали, как сумасшедшие. В первый раз Петр сидел за столом с женщинами. Лефорт поднес ему анисовой. В первый раз Петр попробовал хмельного. Анисовая полилась пламенем в жилы. Он глядел на смеющуюся Анхен. От музыки в нем все плясало, шея раздувалась. Стиснув челюсти, он ломал в себе еще темные ему, жестокие желания. Не слышал, что за шумом кричали гости, протягивая к нему стаканы... У Анхен лукаво сверкали зубы, она не сводила с него прельстительных глаз...

Пир все тянулся, будто день никогда не кончится. Часовщик Пфефер сунул длинный, как морковь, нос в табакерку и принялся чихать, сорвав с себя парик,

взмахивал им над лысым черепом. Умора, как это было смешно! Петр раскачивался, опрокидывая длинными руками посуду вокруг себя. Руки до того казались длинными, — стоит потянуться через стол, и можно запустить пальцы в волосы Анхен, сжать ее голову, губами испытать ее смеющийся рот... И опять у него раздувалась шея, тьма застилала глаза.

Когда солнце склонилось за мельницы и в раскрытые окна повеяло прохладой, Лефорт подал руку восьмипудовой мельничихе, фрау Шимельпфениг, и пошел с нею в менуэте. Округло поводя рукой, он встряхивал обсыпанными золотой пудрой локонами, приседал и кланялся, томно закатывал глаза. Фрау Шимельпфениг, удовлетворенная и счастливая, плыла в огромных юбках, как сорокапушечный корабль, разукрашенный флагами. За этой парой двинулись все гости из залы в огород, где в клумбах были выведены цветами вензеля именинника, кусты и деревца перевязаны бантами с цветами из золотой и серебряной бумаги и дорожки разделены шахматными квадратами...

После менуэта завели веселый контрданс. Петр стоял в стороне, грыз ноготь. Несколько раз дамы, низко присев перед ним, приглашали танцевать. Он мотал головой, бурча: «Не умею, нет, не могу...» Тогда фрау Шимельпфениг, сопровождаемая Лефортом, подала ему букет, — это означало, что его выбирали в короли танцев. Отказаться было нельзя. Он покосился на веселые, но твердые глаза Лефорта и судорожно схватил даму за руку. Лефорт на цыпочках вывернутых ног помчался к Анхен и стал с ней напротив Петра для фигуры контрданса. Анхен, держа в опущенных руках платочек, глядела, точно просила о чем-то. Оглушительно звякнула медь литавров, бухнул барабан, запели скрипки, трубы, веселая музыка понеслась в вечеряющее небо, пугая летучих мышей.

И опять, как давеча со свиньями, у него все сорвалось, стало жарко, безумно. Лефорт кричал:

— Фигура первая! Дамы наступают и отступают, кавалеры крутят дам!

Схватив фрау Шимельпфениг за бока, Петр завертел ее так, что роба, шлёп и фижмы закрутились вихрем. «Ох, мейн готт!» — только ахнула мельничиха. Оставив

ее, он заплясал, точно сама музыка дергала его за руки и ноги. Со сжатым ртом и раздутыми ноздрями, он выделял такие скачки и прыжки, что гости хватались за животы, глядя на него.

— Третья фигура,— кричал Лефорт,— дамы меняют кавалеров!

Прохладная ручка Анхен легла на его плечо. Петр сразу поджался, буйство затихло. Он мелко дрожал. И ноги уже сами несли его, крутясь вместе с легкой, как перышко, Анхен. Между деревьями перебегали огоньки площадок, зажигаемых пороховой нитью. Серdito шипя, взвилась ракета. Два огненных шнурочка отразились в глазах Анхен.

— Ах,— шепнула она тоненьким голосом.— Ах, это чудно красиво!.. Ах, Петер, вы прекрасно танцуете...

Со всех концов сада поднимались ракеты. Завертелись огненные колеса, засветились транспаранты. Как пушки, лопались бураки, трещали швермеры, сыпались искряные фонтаны. Сумерки затягивало пороховым дымом. Не сон ли то привиделся в тоскливой скуке Преображенского дворца. Мимо скачками с высокой, как солдат, дамой пронесся дебошан Лефорт. «Купидон стрелами пронзает сердца!» — крикнул он Петру. От разгоряченной от танцев Анхен пахло свежей прелестью. «Ах, Петер, я устала»,— еще тоньше простонала она, повисая на его руке. Над головами разорвался швермер, огненные змеи осветили осунувшееся от усталости чудное лицо девушки. Не зная, как это делается, Петр обхватил ее за голые плечи, зажмурился и почувствовал влажное прикосновение ее губ. Но они только скользнули. Анхен вырвалась из рук. С бешеной трескотней разорвались сотни змеек. Анхен исчезла. Из облака дыма вылезла заячья шуба и мочальная голова бахусова посла. Вконец пьяный, Никита Зотов, все еще с чашей в руке, брел, бормоча всякую чушь... Остановился, зашатался.

— Сынок, выпей,— и подал Петру чашу.— Пей, все равно пропали мы с тобой... Душу погубили, оскоромились. Пей до дна, твое царское величество, всея Великия и Малыя...

Он хотел погрозить кому-то и повалился в куст. Петр бросил выпитую чашу. Радость крутилась в нем фейерверочным колесом.

— Анхен! — крикнул он. Побежал...

Освещенные окна дома, огоньки плашек, транспаранты поплыли кругом. Он схватился за голову, широко раздвинул ноги.

— Идем, я покажу, где она, — проговорил сзади в уху вкрадчивый голос. Это был песельник в пунцовой рубашке, Алексашка Меньшиков с пронзительными глазами. — Девка домой пошла...

Молча Петр побежал за ним куда-то в темноту. Перелезли через забор, нарвались на собак, через изгороди, выскочили на площадь к мельнице перед аустерией. Наверху светилось длинное окошко. Алексашка — шепотом:

— Она там. — И бросил в стекло песком. Окно раскрылось, высунулась Анхен, — на плечах платок, вся голова в рожках из бумаги.

— Кто там? — спросила, тоненько вгляделась, увидела Петра, затрясла головой: — Нельзя... Идите спать, герр Петер...

Еще милее была она в этих рожках. Захлопнула окно и опустила кружевную занавеску. Свет погас.

— Сторожится девка, — прошептал Алексашка. Вгляделся и, крепко обняв Петра за плечи, повел к лавке. — Ты сядь-ка лучше... Я лошадей приведу. Верховом-то доедешь?

Когда он вернулся, ведя в поводу двух оседланных лошадей, Петр все так же сутуло сидел, положив стиснутые кулаки на колени. Алексашка заглянул ему в лицо:

— Ты выпил, что ли? — Петр не ответил. Алексашка помог ему сесть в седло, легко вскочил сам и, придерживая его, шагом выехал из слободы. Над лугами стелился туман. Пышно раскинулись осенние звезды. В Преображенском уже кричали петухи. Ледяная рука Петра, вцепившись в Алексашкино плечо, застыла, как неживая. Около дворца он вдруг выгнул спину, стал закидываться, ухватил Алексашку за шею, прижался к нему. Лошади остановились. У него свистело в груди, и кости трещали.

— Держи меня, держи крепче, — хриповато проговорил он. Через небольшое время руки его ослабли. Вздыхнул со стоном: — Поедем... Не уходи только... Ляжем вместе...

У крыльца подскочил Волков.

— Государь! Да, господи... А мы-то...

Подбежали стольники, конюхи. Петр сверху пхнул ногой в эту кучу, слез сам и, не отпуская Алексашку, пошел в хоромы. В темном переходе закрестилась, зашуршала старушонка,— он толкнул ее. Другая, как крыса, шмыгнула под лестницу.

— Постылые, шептуньи, чтоб вас разорвало,— бормотал он.

В опочивальне Алексашка разул его, снял кафтан. Петр лег на кошму, велел Алексашке лечь рядом. Прислонил голову ему к плечу. Помолчав, сказал:

— Быть тебе постельничим... Утром скажешь дьяку,— указ напишет... Весело было, ах, весело... Мейн либер готт.

Спустя немного времени он всхлипнул по-ребячьи и заснул.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Всю зиму собиралось дворянское ополчение. Трудно было доставить помещиков из деревенской глуши. Большой воевода Василий Васильевич Голицын рассылал грозные указы, грозил опалой и разорением. Помещики не торопились слезать с теплых печей: «Эка взбрело — воевать Крым. Слава богу, у нас с ханом вечный мир, дань платим не обидную, чего же зря дворян беспокоить. То дело Голицыных,— на чужом горбе хотят чести добыть...» Ссылались на немочи, на скудость, сказывались в нетях. Иные озорничали,— от скуки и безделья в зимнюю пору всякое взбредет в голову. Стольники Борис Долгорукий и Юрий Щербатый, невмочь уклониться от похода, одели ратников в черное платье и сами на вороных конях, все в черном, как из могил восставшие, прибыли к войску,—напугали всех до полусмерти. «Быть беде,— заговорили в полках,— живыми не вернуться из похода...»

Василий Васильевич, озлившись, написал в Москву Федору Леонтьевичу Шакловитому, поставленному им

возле Софьи: «Умилосердись, добейся против обидчиков моих указа, чтоб их за это воровство разорить, в старцы сослать навечно, деревни их неимущим раздать,— учинить бы им строгости такой образец, чтоб все задрожали...»

Указ заготовили, но по доброте Василий Васильевич простил озорников, со слезами просивших милости. Не успели замять это дело,— пошел слух по войску, что ночью-де к избе князя Голицына, в сени подкинули гроб. Дрожали люди, шепча про такое страшное дело. Василий Васильевич, говорят, в тот день напился пьян и кидался в темные сени и саблей рубил пустую темноту. Недобрые были знамения. Подходившие обозы видали белых волков, страшно подвывавших на степных курганах. Лошади падали от неизвестной причины. В мартовскую ветреную ночь в обозе полковой козел,— многие слышали,— закричал человеческим голосом: «Быть беде». Козла хотели забить кольями, он порскнул в степь.

Сбежали снега, с юга подул сладкий ветер, зазеленели лозники по берегам рек и озер. Василий Васильевич ходил мрачнее тучи. Из Москвы шли нерадостные вести, будто в Кремле стал громко разговаривать Михаил Алегкович Черкасский, ближний боярин царя Петра, и бояре будто клонят к нему ухо,— над крымским походом смеются: «Крымский-де хан и ждать перестал Василия Васильевича в Крыму, в Цареграде, да и во всей Европе на этот поход рукой махнули. Дорого-де Голицыны обходятся царской казне...» Даже патриарх Иоаким, бывший предстатель за Василия Васильевича, ни с того ни с сего выкинул из церкви на Барашах ризы и кафтаны, подаренные Голицыным, и служить в них запретил. Василий Васильевич писал Шакловитому тревожные письма о том, чтобы недреманным оком смотрел за Черкасским, да смотрел, чтобы патриарх меньше бывал наверху у Софьи... «А что до бояр,— то извечно их древняя корысть заела, на великое дело им жаль гроша от себя оторвать...»

Скучные вести доходили из-за границы. Французский король, у которого великие послы, Яков Долгорукий и Яков Мышецкий, просили займы три миллиона ливров, денег не дал и не захотел даже послов видеть. Писали про голландского посла Ушакова, что «он и лю-

ди его вконец заворовались, во многих местах они пировали и пили и многие простые слова говорили, отчего царским величествам произошло бесчестие...»

В конце мая Голицын выступил наконец со стотысячным войском на юг и на реке Самаре соединился с украинским гетманом Самойловичем. Медленно двигалось войско, таща за собой бесчисленные обозы. Кончились городки и сторожи, вошли в степи Дикого поля. Зной стоял над пустынной равниной, где люди брели по плечи в траве. Кружились стервятники в горячем небе. По далекому краю волнами ходили миражи. Закаты были коротки — желты, зелены. Скрипом телег, ржаньем лошадей наполнилась степь. Вековечной тоской пахнул дым костров из сухого навоза. Быстро падала ночь. Пылали страшные звезды. Степь была пуста — ни дорог, ни троп. Передовые полки уходили далеко вперед, не встречая живой души. Видимо — татары заманивали русские полчища в пески и безводье. Все чаще попадались высохшие русла оврагов. Здесь только матерые казаки знали, где доставать воду

Была уже середина июля, а Крым еще только мерещился в мареве. Полки растянулись от края до края степи. От белого света, от сухого треска кузнечиков кружились головы. Ленивые птицы слетались на раздутые ребра павших коней. Много телег было брошено. Много извозных мужиков осталось у телег, умирая от жажды. Иные брели на север к Днепру. Полки роптали.

Воеводы, полковники, тысяцкие собирались в обед близ полотняного шатра Голицына, с тревогой глядели на повисшее знамя. Но никто не решался пойти и сказать: «Уходить надо назад, покуда не поздно. Чем дальше — тем страшнее, за Перекопом — мертвые пески».

Василий Васильевич в эти часы отдыхал в шатре, сняв платье, разувшись, лежа на коврах, читал по-латыни Плутарха. Великие тени, поднимаясь с книжных страниц, укрепляли бодростью его угнетенную душу. Александр, Помпей, Сципион, Лукулл, Юлий Цезарь под утомительный треск кузнечиков потрясали римскими орлами. — К славе, к славе! Еще черпал он силы, перечитывая письма Софьи: «Свет мой, братец Васенька! Здравствуй, батюшка мой, на многие лета! Подай тебе, господи, враги побеждати. А мне, свет мой, не верится,

что ты к нам возвратишься... Тогда поверю, когда увижу в объятиях своих тебя, света моего. . Что ж, свет мой, пишешь, чтоб я помолилась: будто я верно грешна перед богом и недостойна. Однако ж, хотя и грешная, дерзаю надеяться на его благоутробие. Ей! всегда прошу, чтоб света моего в радости видеть. По сем здравствуй, свет мой, навеки неисчетные...»

Когда спадал зной, Василий Васильевич, надев шлем и епанчу, выходил из шатра. Завидев его, полковники, тысяцкие, есаулы садились на коней. Играли трубы, протяжно пели рожки. Войско двигалось теперь по ночам до полуденного зноя.

Так было и сегодня. С высоты кургана Василий Васильевич окинул бесчисленные дымки костров, темные пятна войск, теряющиеся во мгле линии обозов. Мгла была особенная сегодня, пыльный вал стоял кругом окоема. В безветрии тяжело дышалось. Закат багровым мраком разливался на полнеба. Летели стаи птиц, будто спасаясь... Солнце, садясь, распухало, мглистое, страшное... Едва замерцали звезды,—затянуло их пеленой. Разгораясь, мерцало дымное зарево. Поднимался душный ветер. Яснее были видны пляшущие языки пламени,—они опоясали кольцом все войско...

У кургана остановилась кучка всадников. Один тяжелыми прыжками подскочил к шатру. Слез, поправляя высокую шапку. Василий Васильевич узнал жирное лицо и седые усы гетмана Самойловича.

— Беда, князь,—сказал он негромко,—татары степь подожгли...

Под висячими усами гетмана не видна была усмешка, тень падала на глаза...

— Кругом горит,—сказал он, показав нагайкой.

Василий Васильевич долго всматривался в зарево.

— Что ж,—посадим пеших на коней, перейдем через огонь.

— А как идти по пеплу? Ни корма, ни воды. Погибнем, князь.

— Мне отступить?

— Делай как знаешь... Казаки не пойдут через горелую степь.

— Плетями гнать через огонь!.. (Василий Васильевич несдержан был в гневе. Забежал по кургану, вон-

зая в сухую землю железные каблучки.) Давно вижу, — казаки не с охотой идут с нами... Смешно глядеть — в седлах дремлют. Крымскому хану небось бодрей служили... И ты кривишь душой, гетман... Поберегись... На Москве и не таких за чуб на плаху волокли... А ты — попович — давно ли свечами, рыбой торговал?

Тучный Самойлович дышал, как бык, слушая эти обиды. Но был умен и хитер, — промолчал. Сопя. взлез на коня, съехал с кургана, пропал за телегами. Василий Васильевич крикнул трубача. Хрипло запели трубы по дымной степи. Конница, пешие войска, обозы двинулись через огонь.

На заре стало видно, что идти дальше нельзя, — степь лежала черная, мертвая. Только, завиваясь, бродили по ней столбы. Усиливался ветер с юга, погнал тучами золу. Видно было, как вдали первыми повернули назад казачьи разъезды. В полдень в обозе собрались воеводы, полковники и атаманы. Хмурый подъехал гетман, сунул за голенище булаву, закурил люльку. Василий Васильевич, положив руку в перстнях на латы, сказал, смиряя гордость, со слезами:

— Кто пойдет против руки господней? Сказано: человек, смири гордыню, ибо смертен есть. Господь послал нам великое несчастье... На сотни верст — ни корма, ни воды. Не боюсь смерти, но боюсь сраму. Воеводы, подумайте, приговорите — что делать?

Воеводы, полковники, атаманы, подумав, ответили:

— Отступить к Днепру, не мешкая.

Так без славы окончился крымский поход. Войска с большой поспешностью двинулись назад, теряя людей, бросая обозы, и остановились только близ Полтавы.

2

Полковники Солонина, Лизогуб, Забела, Гамалей, есаул Иван Мазепа и генеральный писарь Кочубей, тайно придя в шатер Василия Васильевича, сказали ему:

— Степь жгли казаки, жечь степь посылал гетман. И вот тебе на гетмана донос, прочти и пошли в Москву, не медли, потому что нам не под силу терпеть его всевольство: разбогател, шляхетство разорил, старшине казачьей при нем нельзя в шапках стоять. Всех лает. Рус-

ским врет, с поляками сносятся и им врет, а хочет он взять Украину в свое вечное владение и вольности наши отнять. Пусть из Москвы пришлют указ — выбрать нам другого гетмана, а Самойловича ссадить...

— А для чего гетману не хотеть, чтоб я побил татар? — спросил Василий Васильевич.

— А для того ему не хотеть, — ответил есаул Иван Мазепа, — что покуда татары сильны, — вы слабы, а побьете татар, скоро и Украина станет московской вотчиной... Да то все враки... Мы вам, русским, младшие братья, одной с вами веры, и все рады жить под московским царем...

— Добро сказано, — уставясь в землю, — подтвердили сизоголовые, чубастые полковники. — Лишь бы Москва наши шляхетские вольности подтвердила.

Вспомнились Василию Васильевичу черные тучи праха, бесчисленные могилы, оставленные в степях, конские ребра на всех дорогах. С загоревшимися щеками вспомнил сны свои о походах Александра Великого. Вспомнил узкие переходы кремлевского дворца, где бояре, враги, будут кланяться ему, прикрывая пальцами усы, дабы скрыть усмешку...

— Так гетман зажег степи?

— Так, — подтвердили полковники.

— Хорошо. Быть по-вашему.

В тот же день в Москву поскакал о дву конь Василий Тыртов, зашив в шапку донос на гетмана. Когда подошли под Полтаву и разбили стан, прибыла от великих государей ответная грамота. «Буде Самойлович старшине и всему малороссийскому войску негоден, — великих государей знамя и булаву и всякие войсковые клейноды у него отобрав, послать его в великороссийские города за крепкою стражей. А на его место гетманом учинить кого они, старшина со всем войском малороссийским, излюбят...»

В ту же ночь стрельцы сдвинули вокруг гетманской ставки обоз и наутро взяли гетмана в походной церкви, бросили на плохую телегу и отвезли к Голицыну. Там ему учинили допрос. Голова гетмана была обвязана мокрой тряпкой, глаза воспалены. В страхе он повторял:

— Так то же они брешут, Василий Васильевич. Ей-богу, брешут... То хитрости Мазепы, врага моего... —

Увидев входящих Мазепу, Гамалея и Солонину, он побагровел, затрясся: — Так ты их слушаешь?.. Собаки, того и ждут они — Украину продать полякам.

Гамалей и Солонина, выхватив сабли, кинулись к нему. Но стрелецкие сотники отбили гетмана. Ночью в цепях его увезли на север. Надо было поторопиться выбрать нового гетмана: казачьи полки разбили в обозе бочки с горилкой, перекололи гетманских слуг, посадили на копье ненавистного всем гадяцкого полковника. По всему стану раздавались крики и песни, ружейная стрельба. Начали волноваться и московские полки.

Без зова в шатер Василия Васильевича пришел Мазепа. Был он в серой свитке, в простой бараньей шапке, только на золотой цепи висела дорогая сабля. Иван Степанович был богат, знатного шляхетского рода, помногу живал в Польше и Австрии. Здесь, в походе, он отпустил бородку, — как кацап, — стригся по московскому обычаю. Достоинно поклонясь, — равный равному, — сел. Длинными сухими пальцами щипля подбородок, уставил выпуклые, умные глаза на Василия Васильевича.

— Может, пан князь хочет говорить по-латыни?.. (Василий Васильевич холодно кивнул. Мазепа, не понижая голоса, заговорил по-латыни.) Тебе трудно разбираться в малороссийских делах. Малороссы хитры, скрытны. Завтра надо кричать нового гетмана, и есть слух, что хотят крикнуть Борковского. В таком разе лучше было бы не скидывать Самойловича: опаснее для Москвы нет врага, чем Борковский... Говорю как друг.

— Ты сам знаешь, — мы в ваши, малороссийские, дела вмешиваться не хотим, — ответил Василий Васильевич, — нам всякий гетман хорош, был бы другом...

— Сладко слушать умные речи. Нам скрывать нечего, — за Москвой мы как у Христа за пазухой... (Василий Васильевич, быстро усмехнувшись, опустил глаза.) Земель наших, шляхетских, не отнимаете, к обычаям нашим благосклонны... Греха нечего таить, — есть между нами такие, что тянут к Польше... Но то, корысти своей ради, чистые разорители Украины... Разве не знаем: поддайся мы Польше, — паны нас с земель сгонят, костелы понастроят, всех сделают холопами. Нет князь, мы великим государям верные слуги... (Василий Васильевич молчал, не поднимая глаз.) Что ж, бог меня милостями

не обидел... В прошлом году закопал близ Полтавы, в тайном месте, бочонок — десять тысяч рублей золотом, на черный день. Мы, малороссы, люди простые, за великое дело не жаль нам и животы отдать... Что страшно? Возьмет булаву изменник или дурак, — вот что страшно...

— Что ж, Иван Степанович, с богом в добрый час, — кричите завтра гетмана. — Василий Васильевич, встав, поклонился гостю. Помедлил и, взяв за плечи, тоекратно облобызал его.

На другой день у походной полотняной церкви, на покрытом ризой столе лежали булава, знамя и гетманские клейноды. Две тысячи казаков стояли вокруг. Из церкви вышел в персидских латах, в епанче, в шлеме с малиновыми перьями князь Голицын, за ним — вся казачья старшина. Василий Васильевич стал на скамью, держа в руке шелковый платочек, другую руку положив на саблю, — сказал придвинувшимся казакам:

— Всевеликое войско малороссийское, их царские величества дозволяют вам, по старому войсковому обычаю, избрать гетмана. Скажите, кто вам люб, так и будет. Люб ли Мазепа али кто другой — воля ваша...

Полковник Солонина крикнул: «Хотим Мазепу». Подхватили голоса, и зашумело все поле: «Мазепу в гетманы...»

В тот же день в шатер к князю Голицыну четыре казака принесли черный от земли бочонок с золотом.

3

Построенная года два тому назад на Яузе, пониже Преображенского дворца, крепость этой осенью была переделана по планам генералов Франца Лефорта и Симона Зоммера: стены расширены и укреплены сваями, снаружи выкопаны глубокие рвы, на углах подняты крепкие башни с бойницами. Плетенные из ивняка фашины и мешки с песком прикрывали ряды бронзовых пушек, мортир и единорогов. Посредине крепости поставили столовую избу человек на пятьсот. На главной башне, над воротами, играли куранты на колоколах.

Шутки шутками, крепость — потешная, но при случае в ней можно было и отсидеться. На широком, скошенном лугу с утренней зари до ночи производились экзерциции

двух батальонов, Преображенского и Семеновского, — Симон Зоммер не щадил ни глотки, ни кулаков. Солдаты, как заводные, маршировали, держа мушкет перед собой «Смирна, хальт!» — солдаты останавливались, отбивая правой ногой, — замирали... «Правой плечь — вперед! Форвертс! Неверно! Лумпен! Сволошь! Слюшаай!..» — Генерал багровел, как индюк, сидя на лошади. Даже Петр, теперь унтер-офицер, вытягивался, со страхом выкатывал глаза, проходя мимо него.

Из слободы взяли еще двух иноземцев, Франца Тиммермана, знавшего математику и обращение с астролябией, и старика Картена Брандта, хорошо понимавшего морское дело. Тиммерман стал учить Петра математике и фортификации, Картен Брандт взялся строить суда по примеру найденного в кладовой в селе Измайлове удивительного ботика, ходившего под боковым парусом против ветра.

Все чаще из Москвы наезжали бояре — взглянуть своими глазами, какие такие игры играют на Яузе? Куда идет столько денег и столько оружия из Оружейной палаты?.. Через мост они не переезжали, останавливались на том берегу речки: впереди — боярин, в дорогой шубе, толстый, как перина, сидел на коне, борода — веником, щеки налитые, за ним — дворяне, напялив на себя по три, по четыре кафтана подороже. Не шевелясь, стаивали по часу и более. На этой стороне речки тянутся воза с песком, с фашинами; солдаты тащат бревна; на высокой треноге, на блоках поднимается тяжелая колотушка, и — эх! — бьет в сваи, летит земля с лопат, расхаживают иноземцы с планами, с циркулями, стучат топоры, визжат пилы, бегают десятники с саженьями. И вот, — о господи, пресвятые угодники! — не на стульчике где-нибудь золоченом с пригорочка взирает на забаву, нет! — царь, в вязаном колпаке, в одних немецких портках и грязной рубашке, рысью по доскам везет тачку...

Снимает боярин шапку о сорока соболей, снимают шапки дворяне, низко кланяются с той стороны. И — глядят, разводя руками... Отцы и деды нерушимой стеной стояли вокруг царя, оберегали, чтоб пылинка али муха не села на его миропомазанное величие. Без малого как бога живого выводили к народу в редкие дни,



А. Н. ТОЛСТОЙ



«ПЕТР ПЕРВЫЙ» (Книга первая)

блюли византийское древнее великолепие... А это что? А этот что же вытворяет? С холопами, как холоп, как шпынь ненадобный, бегаёт по доскам, бесстыдник, — трубка во рту с мерзким зелием, еже есть табак... Основу шатает... Уж это не потеха, не баловство... Ишь, как за рекой холопы зубы-то скалят...

Иной боярин, наберясь смелости, затрясет бородой и крикнет дрожащим голосом:

— Казни, государь, за правду, стар я молчать, — стыдно глядеть, срамно, небывало...

Как жердь длинный, вылезет Петр на плетеный вал, прищурится:

— А, это ты... Слышь... Что Голицын пишет, — завоевал он Крым-то али все еще нет?

И пойдут гыкать, гоготать за валами проклятые иноземцы, а за ними и свои, кому не глотку драть, — на колени становиться, завидя столь ближнего царям человека. Бывало и так, что уж, — все одно голова с плеч, — заупрямится боярин и, не отставая, увещевает и стыдит: «Отца-де твоего на коленях держал, дневал и ночевал у гроба государя, род-де наш от Рюрика, сами сидели на великих столах. Ты о нашей-то чести подумай, брось баловство, одумайся, иди в баню, иди в храм божий...»

— Алексашка, — скажет Петр, — давай фитиль. — И, наведя, ахнет из двенадцатифунтового единорога горохом по боярину. Захохочет, держась за живот, генерал Зоммер, смеется Лефорт, добродушно ухмыляется молчаливый Тиммерман; весь в смеющихся морщинах, как печеное яблоко, трясется низенький, коренастый Картен Брандт. И все иноземцы и русские повыскочат на валы глядеть, как свалилась горлатная шапка, помертвев, повалился боярин на руки ближних дворян, шарахнулись, брыкаются лошади. На весь день хватит смеха и рассказов.

Крепость наименовали — стольный город Прешпург.

4

Алексашка Меньшиков, как попал в ту ночь к Петру в опочивальню, так и остался. Ловок был, бес, провожен, угадывал мысли: только кудри отлетали, — повернется, кинется и — сделано. Непонятно, когда спал, —

проведет ладонью по роже и, как вымытый, — веселый, ясноглазый, смешливый. Ростом почти с Петра, но шире в плечах, тонок в поясе. Куда Петр, туда и он. Бить ли на барабане, стрелять из мушкета, рубить саблей хвостину, — ему нипочем. Начнет потешать — умора; как медведь полез в дупло за медом, да напоролся на пчел, или как поп пугает купчиху, чтоб позвала служить обедню, или как поругались два заики... Петр от смеха плакал, глядя — ну, прямо — влюбленно на Алексашку. Поначалу все думали, что быть ему царским шутком. Но он метил выше: все — шуточки, прибауточки, но иной раз соберутся генералы, инженеры, думают, как сделать то-то или то-то, уставятся в планы, Петр от нетерпения грызет заусенцы, — Алексашка уже тянется из-за чьего-нибудь плеча и — скороговоркой, чтобы не прогнали:

— Так это же надо вот как делать — проще простого.

— О-о-о-о-о-о! — скажут генералы.

У Петра вспыхнут глаза.

— Верно!

Раздобыть ли надо чего-нибудь, — Алексашка брал денег и верхом летел в Москву, через плетни, огороды, и доставал нужное, как из-под земли. Потом подавая Никите Зотову (ведаящему Потешным приказом) счетик, — степенно вздыхал, пошмыгивая, помаргивая: «Уж что-что, а уж тут на грош обману нет...»

— Алексашка, Алексашка, — качал головой Зотов, — да видано ли сие, чтоб за еловые жерди плачено по три алтына? Им красная цена — алтын... Ах, Алексашка...

— Не наспех, так и — алтын, а тут — дорого, что наспех. Быстро я с жердями обернулся, вот что дорого, — чтобы Петра Алексеевича нам не томить. .

— Ох, повесят тебя когда-нибудь за твое воровство.

— Господи, да что вы, за что напрасно обижаете, Никита Моисеич... — отвернув морду, нашмыгав слезы из синих глаз, Алексашка говорил такие жалостные слова.

Зотов, бывало, махнет на него пером:

— Ну, ладно, иди... На этот раз поверю, — смотри-и...

Алексашку произвели в денщики. Лефорт похваливал его Петру: «Мальчишка пойдет далеко, предан, как пес, умен, как бес». Алексашка постоянно бегал к Лефор-

ту в слободу и ни разу не возвращался без подарка. Подарки он любил жадно, — чем бы ни одаривали. Носил Лефортовы кафтаны и шляпы. Первый из русских заказал в слободе парик — огромный, рыжий, как огонь, — надевал его по праздникам. Брил губу и щеки, пудрился. Кое-кто из челяди начал уже величать его Александром Данилычем.

Однажды он привел к Петру степенного юношу, одетого в чистую рубашку, новые лапти, холщовые портяночки:

— Мин херц¹ (так Алексашка часто называл теперь Петра), прикажи показать ему барабанную ловкость... Алеша, бери барабан...

Не спеша, положил Алешка Бровкин шапку, принял со стола барабан, посмотрел на потолок скучным взором и ударил, раскатился горохом, — выбил сбор, зорю, походный марш, «бегом, коли, руби, ура», и чесанул плясовую, — ух ты! Стоял, как истукан, одни кисти рук да палочки летали — даже не видно.

Петр кинулся к нему, схватил за уши, удивясь, глядел в глаза, несколько раз поцеловал.

— В первую роту барабанщиком!..

Так и в батальоне оказалась у Алексашки своя рука. Когда дни стали коротки, гололедицей сковало землю, из низких туч посыпало крупой, — начались в слободе балы и пивные вечера с музыкой. Через Алексашку иноземцы передавали приглашения царю Петру: на красивой бумаге в рамке из столбов и виноградных лоз, — пузатый голый мужик сидит на бочке, сверху — голый младенец стреляет из лука, снизу — старец положил около себя косу. Посредине золотыми чернилами вирши:

«С сердечным поклоном зовем вас на кружку пива и танцы», а если прочесть одни заглавные буквы — выходило «герр Петер».

Только смеркалось, Алексашка подавал к крыльцу тележку об один конь (верхом Петр ездить не любил, слишком был длинен). Вдвоем они закатывались на Кукуй. Алексашка по дороге говорил:

— Давеча забегал в аустерию, мин херц, — заказать

¹ То есть. mein Herz — мое сердце.

полпива, как вы приказали,— видел Анну Ивановну... Обещалась сегодня быть непременно...

Петр, шмыгнув носом, молчал. Страшная сила тянула его на эти вечера. Кованые колеса гроыхали по обледенелым колеям, в тьме не разглядеть дороги, на плотине воют голые сучья. И вот — приветливые огоньки. Алексашка, всматриваясь, говорил: «Левей, левей, мин херц, заворачивай в проулок, здесь не проедем...» Теплый свет льется из низких голландских окон. За бутылочными стеклами видны огромные парики. Голые плечи у женщин. Музыка. Кружатся пары. Трехсвечные с зеркалом подсвечники на стенах отбрасывают смешные тени.

Петр входил не просто,— всегда как-нибудь особенно выкатив глаза: длинный, без румянца, сжав маленький рот, вдруг появлялся на пороге... Дрожащими ноздрями втягивал сладкие женские духи, приятные запахи трубочного табаку и пива.

— Петер! — громко вскрикивал хозяин. Гости вскакивали, шли с добродушно протянутыми руками, дамы приседали перед странным юношей — царем варваров, показывая в низком книксене пышные груди, высоко подтянутые жесткими корсетами. Все знали, что на первый контрданс Петр пригласит Анхен Монс. Каждый раз она вспыхивала от радостной неожиданности. Анхен хорошела с каждым днем. Девушка была в самой поре. Петр уже много знал по-немецки и по-голландски, и она со вниманием слушала его отрывочные, всегда торопливые рассказы и умненько вставляла слова.

Когда, звякнув огромными шпорами, приглашал ее какой-нибудь молодец-мушкетер,— на Петра находила туча, он сутулился на табуретке, искоса следя, как разлетаются юбки беззаботно танцующей Анхен, поворачивается русая головка, клонится к мушкетеру шея, перехваченная бархаткой с золотым сердечком.

У него громко болело сердце — так желанна, недоступно соблазнительна была она.

Алексашка танцевал с почтенными дамами, кои за возрастом праздно сидели у стен,— трудился до седьмого пота, красавец. Часам к десяти молодежь уходила, исчезала и Анхен. Знатные гости садились ужинать кровяными колбасами, свиными головами с фаршем, удивив-

тельными земляными яблоками, чудной сладости и сытости, под названием — картофель... Петр много ел, пил пиво, — стряхнув любовное оцепенение, грыз редьку, курил табак. Под утро Алексашка подсаживал его в таратайку. Снова свистел ледяной ветер в непроглядных полях.

— Была бы у меня мельница на слободе али кожевенное заведение, как у Тиммермана... Вот бы... — говорил Петр, хватаясь за железо тележки.

— Тоже — чему позавидовали... Держитесь крепче — канава.

— Дурак... Видел, как живут? Лучше нашего...

— И вы бы тогда женились...

— Молчи, в зубы дам...

— Погоди-ка... опять сбились...

— Завтра маменьке отвечай... В мыльню иди, исповедуйся, причащайся, — опоганился... Завтра в Москву ехать, — мне это хуже не знаю чего... Бармы надевай, полдня служба, полдня сиди на троне с братцем — ниже Соньки... У Ванечки-брата из носу воняет. Морды эти боярские, сонные, — так бы сапогом в них и пхнул... Молчи, терпи... Царь! Они меня зарежут, я знаю...

— Да зря вы, чай, так-то думаете, — спьяну.

— Сонька — подколотая змея... Милославские — саранча алчная... Их сабли, колья не забуду... С крыльца меня скинуть хотели, да народ страшно закричал... Помнишь?

— Помню!

— Васька Голицын одно войско в степи погубил, велено в другой раз идти на Крым... Сонька, Милославские дожидаться не могут, когда он с войсками вернется... У них сто тысяч... Укажут им на меня, ударят в набат...

— В Прешпурге отсидимся...

— Они меня уж раз ядом травили... С ножом подсылали. — Петр вскочил, озираясь. Тьма, ни огонька. Алексашка схватил его за пояс, усадил. — Проклятые, проклятые!

— Тпру... Вот она где — плотина. — Алексашка хлестнул вожжами. Свистели вётры. Добрый конь вынес на крутой берег. Показались огоньки Преображенского. — Стрельцов, мин херц, ныне по набату не поднимешь, эти времена прошли, спроси кого хочешь, спроси Алешку

Бровкина, он в слободах бывает... Они сестрицей вашей тоже не слишком довольны...

— Брошу вас всех к черту, убегу в Голландию, лучше я часовым мастером стану...

Алешка свистнул.

— И не видать Анны Ивановны, как ушей.

Петр нагнулся к коленям. Вдруг кашлянул и засмеялся.

Весело загоготал Алексашка, стегнул по лошади.

— Скоро вас мамаша женит... Женатый человек, — известно, — на своих ногах стоит... Недолго еще, потерпите... Эх, одна беда, что она — немка, лютеранка... А то бы чего проще, лучше... А?..

Петр придвинулся к нему, с дрожащими от мороза губами силился разглядеть в темноте Алексашкины глаза...

— А почему нельзя?

— Ну, — захотел! Анну Ивановну-то в царицы? Жди тогда набата...

5

Прельстительные юбочки Анхен кружились только по воскресеньям, — раз в неделю бывали хмель и веселье. В понедельник кукуйцы надевали вязаные колпаки, стеганые жилеты и трудились, как пчелы. С большим почтением относились они к труду, — будь то купец или простой ремесленник. «Он честно зарабатывает свой хлеб», — говорили они, уважительно поднимая палец.

Чуть свет в понедельник Алексашка будил Петра и докладывал, что пришли уже Картен Брандт, мастера и подмастерья. В одной из палат Преображенского устроена была корабельная мастерская: Картен Брандт строил модели судов по амстердамским чертежам. Немцы — мастера и ученики — подмастерья, взятые по указу из ближних стольников и потешных солдат, кто половчее, — строгали, точили, сколачивали, смолили небольшие модели галер и кораблей, оснащивали, шили паруса, резали украшения. Тут же русские учились арифметике и геометрии.

Стук, громкие, как на базаре, голоса, пение, резкий хохот Петра разносились по сонному дворцу. Старушон-

ки обмирали. Царица Наталья Кирилловна, скучая по тишине, переселилась в дальний конец, в пристройку, и там, в дымке ладана, под мерцание лампад, все думала, молилась о Петруше.

Через верных женщин она знала все, что делается в Кремле: «Сонька-то опять в пятницу рыбу трескала, греха не боится... Осетров ей навезли из Астрахани — саженных. И ведь хоть бы какого плохонького осетренка прислала тебе, матушка... Жадна она стала, слуг голодом морит...» Рассказывали, что, тоскуя по Василии Васильевиче, Софья взяла наверх ученого чернеца, Сильвестра Медведева, и он вроде как галант и астроном: ходит в шелковой рясе, с алмазным крестом, шевелит перстнями, бороду подстригает, — она у него — как у вóрона и хорошо пахнет. Во всякий час входит к Соньке, и они занимаются волшебством. Сильвестр влазит на окно, глядит в трубу на звезды, пишет знаки и, уставя палец к носу, читает по ним, и Сонька наваливается к нему грудью, все спрашивает: «Ну, как, да — ну, как?»... Вчера видели, — принес в мешке человечесий след вынутый, кости и корешки, зажег три свечи, — шептал прелестные слова и на свече жег чьи-то волосы... Соньку трясло, глаза выпучила, сидела синяя, как мертвец...

Наталья Кирилловна, хрустя пальцами, наклонялась к рассказчице, спрашивала шепотом:

— Волосы-то чьи же он жег? Не темные ли?

— Темные, матушка царица, темные, истинный бог...

— Кудрявые?

— Именно — кудрявые... И все мы думаем: уже не нашего ли батюшки, Петра Алексеевича, волосы жег...

Про Сильвестра Медведева рассказывали, что учит он хлебопоклонной ереси, коя идет от покойного Симеона Полоцкого и от иезуитов. Написал книгу «Манна», где глаголет и мудрствует, будто не при словах «сотвори убо» и прочая, а только при словах: «Примите, ядите» — хлеб пресуществляется в дары. В Москве только и говорят теперь и спорят, и бедные и богатые, в палатах и на базарах, что о хлебе: при коих словах он пресуществляется? Головы идут кругом, — не знают — как и молиться, чтоб вовремя угодить к пресуществлению. И многие кидаются от этой ереси в раскол...

По Москве ходит рыжий поп Филька и, когда соберутся около него, начинает неистовствовать: «Послан-де я от бога учить вас истинной вере, апостолы Петр и Павел мне сородичи... Чтоб вы крестились двумя перстами, а не тремя: в трех-де перстах сидит Кика-бес, сие есть кукиш, в нем вся преисподняя,— кукишом креститесь...» Многие тут же в него верят и смущаются. И никакой хитростью схватить его нельзя.

От поборов на крымский поход все обнищали. Говорят: на второй поход и последнюю шкуру сдерут. Слободы и посады пустеют. Народ тысячами бежит к раскольникам,—за Уральский камень, в Поморье, и в Поволжье, и на Дон. И те, раскольники, ждут антихриста,— есть такие, которые его уже видели. Чтоб хоть души спасти, раскольничьи проповедники ходят по селам и хуторам и уговаривают народ жечься живыми в овинах и банях. Кричат, что царь, и патриарх, и все духовенство посланы антихристом. Запираются в монастырях и бьются с царским войском, посланным брать их в кандалы. В Палеостровском монастыре раскольники побили две сотни стрельцов, а когда стало не под силу, заперлись в церкви и зажглись живыми. Под Хвалынском в горах тридцать раскольников загородились в овине боровами, зажглись и сгорели живыми же. И под Нижним в лесах горят люди в срубах. На Дону, на реке Медведице, беглый человек, Кузьма, называет себя папой, крестится на солнце и говорит: «Бог наш на небе, а на земле бога не стало, на земле стал антихрист— московский царь, патриарх и бояре — его слуги...» Казаки съезжаются к тому папе и верят... Весь Дон шатается.

От таких разговоров Наталье Кирилловне страшно бывало до смертной тоски. Петенька веселился, забавлялся, не ведая, какой надвигается мрак на его головушку. Народ забыл смирение и страх... Живыми в огонь кидаются, этот ли народ не страшен!

Содрогалась Наталья Кирилловна, вспоминая кровавый бунт Стеньки Разина... Будто вчера это было... Тогда так же ожидали антихриста, Стенькины атаманы крестились двумя перстами. В смятении глядела Наталья Кирилловна на огоньки цветных лампад, со стоном опускалась на колени, надолго прижималась лбом к вытертому коврику...

Думала: «Женить надо Петрушу,— длинный стал, дергается, вино пьет,— все с немками, с девками... Женится, успокоится... Да пойти бы с ним, с молодой царицей по монастырям, вымолить у бога счастья, охраны от Сонькина чародейства, крепости от ярости народной...»

Женить, женить надо было Петрушу. Бывало раньше,— приедут ближние бояре,— он хоть часок посидит с ними на отцовском троне в обветшалой Крестовой палате. А теперь на все: «Некогда...» В Крестовой палате поставили чан на две тысячи ведер — пускать кораблики, паруса надувают мехами, палят из пушечек настоящим порохом. Трон прожгли, окно разбили.

Царица плакалась младшему брату Льву Кирилловичу. Тот вздыхал уныло: «Что ж, сестрица, жени его, хуже не будет... Вот у Лопухиных, у окольного Лариона, девка Евдокия на выданье, в самом соку,— шестнадцати лет... Лопухины — горласты, род многочисленный, захудалый... Как псы будут около тебя...»

По первопутку Наталья Кирилловна поехала будто бы на богомолье в Новодевичий монастырь. Через верную женщину намекнули Лопухиным. Те многочисленным родом — человек сорок — прискакали в монастырь, набились полную церковь,— все худые, злые, низкорослые, глаза у всех так и прыгали на царицу. В крытом возочке с большим бережением привезли Евдокию, полумертвую от страха. Наталья Кирилловна допустила ее к руке. Осмотрела. Повела ее в ризницу и там, оставшись с девкой вдвоем, осмотрела ее всю, тайно. Девца ей понравилась. Ничего в этот раз не было сказано. Наталья Кирилловна отбыла,— у Лопухиных горели глаза...

Одна радость случилась среди горя и уныния: двоюродный брат Василия Васильевича, князь Борис Алексеевич Голицын, вернувшись из крымского войска, изпод Полтавы, в самый день рождения правительницы, стоял обедню в Успенском соборе — мертвецки пьяный на глазах у Софьи, а потом за столом ругал Василия Васильевича: «Осрамил-де нас перед Европой, не полки ему водить — сидеть в беседке, записывать в тетради счастливые мысли», ругал и срамил ближних бояр за то, что «брюхом думаете, глаза жиром заплыли, Россию ныне голыми руками ленивый только не возьмет...» И с той поры зачастил в Преображенское.

Глядя на постройку Прешбурга, на экзерциции преображенцев и семеновцев, Борис Алексеевич не качал головой с усмешкой, как другие бояре, но любопытствовал, похваливал. Осматривая корабельную мастерскую, сказал Петру:

— При Аквиуме римляне захватили корабли морских разбойников, да не знали, что с ними делать, — отрезали им медные носы, прибили на ростры, сиречь колонны. Но лишь научась сами рубить и оснащать корабли, завоевали моря и — весь мир.

Он долго говорил с Картенем Брандтом, пытая его знание, и присоветовал строить потешную верфь на Переяславском озере, что в ста двадцати верстах от Москвы. Прислал в мастерскую воз латинских книг, чертежей, листов, оттиснутых с меди, картин, изображающих голландские города, верфи, корабли и морские сражения. Для перевода книг подарил Петру ученого арапского карлу Абрама с товарищами Томосой и Секой, карлами же, ростом — один двенадцать вершков, другой — тринадцать с четвертью, одетых в странные кафтанцы и в чалмы с павлиньими перьями.

Борис Алексеевич был богат и силен, ума — особенной остроты, ученостью не уступал двоюродному брату, но нравом — невоздержан к питию и более всего любил забавы и веселую компанию. Наталья Кирилловна вначале боялась его, — не подослан ли Софьей? С чего бы такому знатному вельможе от сильных клониться к слабым? Но, что ни день, гремит на дворе Преображенского раскидистая карета — четверней, с двумя страшными эфиопами на запятках. Борис Алексеевич первым долгом — к ручке царицы-матушки. Румяный, с крупным носом, — под глазами дрожат припухлые мешочки, — от закрученных усов, от подстриженной, с пролысинкой, бородки несет мускусом. Глядя на зубы его, засмеешься: до того белы, веселы...

— Как изволила почивать, царица? Единорог опять не приснился ли? А я все к вам да к вам... Надоел, прости...

— Полно, батюшка, тебе всегда рады... Что в Москве-то слышно?

— Скучно, царица, да уж так в Кремле скучно... Весь дворец паутиной затянуло...

— Что ты говоришь? Да ну тебя...

— По всем палатам бояре на лавках дремлют. Скуча-ка... Дела плохи, никто не уважает... Правительница третий день личика не кажет, заперлась... Сунулся к ручке, к царю Ивану,—лежит его царское величество на лежаночке в лисьей шубке, в валеночках, так-то пригорюнился: «Что,— говорит мне,— Борис, скучно у нас? Ветер воет в трубах, так-то страшно. К чему бы?..»

Наталья Кирилловна догадалась наконец,—все шутит. Метнула взором на него, засмеялась...

— Только и приободришься, что у вас, царица... Доброго ты сына родила, умнее всех окажется, дай срок... Глаз у него не спящий...

Уйдет, и у Натальи Кирилловны долго еще блещут глаза. Волнуясь, ходит по спальне, думает. Так в беспробудный дождь вдруг проглянет сквозь тучи летящие синевы, поманит солнцем. Значит—непрочен трон под Сонькой, когда такие орлы прочь летят...

Петр полюбил Бориса Алексеевича; встречая, целовал в губы, советовался о многом, спрашивал денег, и князь ни в чем не отказывал. Часто сманивал Петра с генералами, мастерами, денщиками и карлами гулять и шалить на Кукуе,—выдумывал необыкновенные потехи. Не раз, разгоряченный вином, вскакивал,—бровь нависала, другая задиралась, сверкали зубы, багровел нос... И по-латыни читал из Вергилия:

«Прославим богов, щедро наполняющих вином кубки, и сердце—весельем, и душу—сладкой пищей...»

Петр очарованно глядел на него. За окнами шумел ветер, летя через тысячеверстные равнины, лесную да болотную глушь, лишь задерет солому на курной избе, да повалит пьяного мужика в сугроб, да звякнет мерзлым колоколом на покосившейся колокольне... А здесь—вздохмачены парики, красные лица, дым валит из длинных трубок, трещат свечи. Шумство. Веселье...

— Быть пьяному синклиту нерушимо! — Петр приказал Никите Зотову писать указ: «От сего дня всем пьяницам и сумасбродам сходиться в воскресенье, соборно славить греческих богов». Лефорт предложил сходиться у него. С этого так и повелось. Зотов, самый горчайший, был пожалован званием архипастыря и флягой с цепью — на шею. Алексашку, во всем безобразии,

сажали на бочку с пивом, и он пел такие песни, что у всех кишки лопались от смеху.

В Москву дошел слух об этих сборищах. Бояре испуганно зашептали: «На Кукуе немцы проклятые царя вконец споили, кощунствуют и бесовствуют». В Преображенское приехал князь Приимков-Ростовский, истовый старик, ударил Петру челом и с час говорил — витиевато, на древнеславянском — о том, как беречь византийское благолепие и благочестие, на коем одном стоит Россия. Петр молча слушал (в столовой палате играл с Алексашкой в шахматы, были сумерки). Потом толкнул доску с фигурами и заходил, грызя заусенец. Князь все говорил, поднимая рукава тяжелой шубы, — длиннобородый, сухой... Не человек — тень надоевшая, ломота зубная, скука! Петр нагнулся к Алексашкину уху, тот фыркнул, как кот, ушел, скалясь. Скоро подали лошадей, и Петр велел князю сесть в сани, — повез его к Лефорту.

За столом на высоком стуле сидел Никита Зотов, в бумажной короне, в руках держал трубку и гусиное яйцо. Петр без смеха поклонился ему и просил благословить, и архипастырь с важностью благословил его на питье трубкой и яйцом. Тогда все (человек двадцать) запели гнусавыми голосами ермосы. Князь Приимков-Ростовский, страшась перед царем показать невежество, тайно закрестился под полую шубы, тайно отплюнулся. А когда на бочку полез голый человек с чашей, и царь и великий князь всея Великия и Малыя и прочая, указав на него перстом, промолвил громогласно: «Сие есть бог наш, Бахус, коему поклонимся», — помертвел князь Приимков-Ростовский, зашатался. Старика без памяти отнесли в сани.

С этого дня Петр велел называть Зотова всепьянейшим папой, архиереем бога Бахуса, а сходбища у Лефорта — сумасброднейшим и всепьянейшим собором.

Дошел слух о том и до Софьи. В гневе послала она говорить с Петром ближнего боярина, Федора Юрьевича Ромодановского. Из Преображенского он вернулся задумчивый.

Докладывал правительнице:

— Шалостей и забав там много, но и дела много... В Преображенском не дремлют...

Ненавистью, смутным страхом зашлось сердце у Софьи. Не успели, кажется, и оглянуться, — подрост волчонок...

6

Неожиданно из Полтавы прибыл Василий Васильевич. Еще только брезжил рассвет, а уж в дворцовых сенях и переходах — не протолкаться. Гул, как в улье. Софья не спала ночь. Вышитое золотом, покрытое жемчужной сетью, платье, — более пуда весом, — бармы в лапах, изумрудах и алмазах, ожерелья, золотая цепь — давили плечи. Сидела у окна, сжав губы, чтобы не дрожали. Верка, ближняя женщина, дышала на замерзшее стекло:

— Матушка, голубушка, — едет!

Подхватила царевну под локоть, и Софья взглянула: по выпавшему за ночь снегу от Никольских ворот шла крупной рысью шестерка серых в яблоках, на головах — султаны, на бархатных шляях — наборные кисти до земли, впереди коней бегут в белых кафтанах скороходы, крича: «Пади, пади!», у дверей низкого, крытого парчой возка скачут офицеры в железных латах, коротких епанчах. Остановились у Красного крыльца. Дворяне, в тесноте ломали бока друг другу, кинулись высаживать князя...

У правительницы закатились глаза. Верка опять подхватила ее, — «вот соскучилась-то сердешная!». Софья прохрипела:

— Верка, подай Мономахову шапку.

Она увидела Василия Васильевича, только когда всходила на трон в Грановитой палате. В паникадилах горели свечи. Бояре сидели по скамьям. Он стоял, пышно одетый, но весь будто потраченный молью: борода и усы отросли, глаза ввалились, лицо желтоватое, редкие волосы слежались на голове...

Софья едва сдерживала слезы. Оторвала от подлокотника полную, туго схваченную у запястья горячую руку. Став на колени, князь поцеловал, прикоснулся к ней шершавыми губами. Она ждала не того и содрогнулась, будто чувствуя беду...

— Рады видеть тебя, князь Василий Васильевич. Хотим знать про твое здоровье... — Она чуть кашлянула,

чтобы голос не хрипел.— Милостив ли бог к делам нашим, кои мы вверили тебе?..

Она сидела золотая, тучная, нарумяненная на отцовском троне, украшенном рыбьим зубом. Четыре рынды, по уставу — блаженно-тихие отроки, в белом, в горностаевых шапках, с серебряными топориками, стояли позади. Бояре с двух сторон, как святители в раю, окружали крытый алым сукном трехступенчатый помост трона. Происходило все благолепно, по древнему чину византийских императоров. Василий Васильевич слушал, преклоня колена, опустив голову, раскинув руки...

Софья отговорила. Василий Васильевич встал и благодарил за милостивые слова. Два думных пристава степенно подставили ему раскладной стул. Дело дошло до главного,— зачем он и приехал. Пытливо и недоверчиво Василий Васильевич покосился на ряды знакомых лиц,— сухие, как на иконах, медно-красные, злые, распухшие от лени, с наморщенными лбами,— вытянулись, ожидая, что скажет князь Голицын, подбираясь к их кошелю... Василий Васильевич повел речь околицами... «Я-де раб и холоп ваш великих государей, царей и великих князей и прочая, бью челом вам, великим государям, в том, чтобы вы, великие государи, мне бы, холопу вашему Ваське с товарищи, вашу, великих государей милость как и раньше, так и впредь оказали и велели бы пресвятые пречистые владычицы богородицы, милосердные царицы и приснодевы Марии образ из Донского монастыря к войску вашему, государеву, непобедимому и победоносному, послать, дабы пречистая богородица сама полками вашими предводительствовала и от всяких напастей заступала и над врагами вашими преславные победы и дивное одоление являла...»

Долго он говорил. От духоты, от боярского потения туман стоял сиянием над оплывающими свечами. Окончил про образ Донской богородицы. Бояре, подумав для порядка, приговорили: послать. Вздыхали облегченно. Тогда Василий Васильевич уже твердо заговорил о главном: войскам третий месяц не плачено жалованья. Иноземные офицеры,— к примеру полковник Патрик Гордон,— обижаются, медные деньги кидают на-земь, просят заплатить серебром, от крайности хоть со-

болями... Люди пообносились, валенок нет, все войско в лаптях, и тех не хватает... А с февраля — выступать в поход... Как бы опять сраму не получилось.

— Сколько же денег просишь у нас? — спросила Софья.

— Тысяч пятьсот серебром и золотом.

Бояре ахнули. У иных попадали трости и костыли. Зашумели. Вскაკивая, ударяли себя рукавами по бокам: «Ахти нам!..» Василий Васильевич глядел на Софью, и она отвечала горящим взглядом. Он заговорил еще смелее:

— Были у меня в стану два человека из Варшавы, монахи, иезуиты. Есть у них грамота от французского короля, чтоб им верить. Предлагают они великое дело. Вам (привстав, поклонился Софье), пресветлым государям, от того дела быть должна немалая польза... Говорят они так: на морях-де ныне много разбойников, французским кораблям ходить кругом света опасно, много товаров напрасно гибнет. А через русскую землю путь на восток прямой и легкий — и в Персию, и в Индию, и в Китай. Вывозить, мол, вам товары все равно не на чем, купцы ваши московские безденежны. А французские купцы богаты. И чем вам без пользы оберегать границы, — пустите наших купцов в Сибирь и дальше, куда им захочется. Они и дороги порубят в болотах, и верстовые столбы поставят, и въезжие ямы. В Сибири будут покупать меха, платить за них золотом, а ежели найдут руды, то станут заводить и рудное дело.

Старый князь Приимков-Ростовский, не сдержав сердца, перебил Василия Васильевича:

— От своих кукуйских еретиков не знаем куда деваться. А ты чужих на шею накачиваешь... Конец православию!..

— Едва англичан сбыли при покойном государе, — крикнул думный дворянин Боборыкин, — а ныне под француза нам идти?.. Не бывать тому.

Другой, Зиновьев, проговорил с яростью:

— Нам на том крепко стоять, чтоб их, иноземцев, древнюю пыху вконец сломить... А не на том, чтоб им давать промыслы да торговлю... Чтоб их во смирение привести... Мы есть третий Рим...

— Истинно, истинно, — зашумели бояре.

Василий Васильевич оглядывался, от гнева глаза по-светлели, дрожали ноздри...

— Не менее вашего о государстве болею... (Он повысил голос.) Грудь... (Он ударил перстнями по кольчуге.) Грудь изорвал ногтями, когда узнал, как французские министры бесчестили наших великих послов Долгорукого и Мышецкого... Поехали просить денег с пустыми руками,— честь и потеряли на том... (Многие бояре густо засопели.) А поехали бы с выгодой французскому королю,— три миллиона ливров давно бы лежали в приказе Большого дворца. Иезуиты клялись на евангелии: лишь бы великие государи согласились на их прожект, и Дума приговорила,— а уж они головой ручаются за три миллиона ливров, кои получим еще до весны.

— Что ж, бояре, подумайте о сем,— сказала Софья,— дело великое.

Легко сказать — подумать о таком деле... Действительно, было время, после великой смуты,— когда иноземцы коршунами кинулись на Россию, захватили промыслы и торговлю, сбили цены на все. Помещикам едва не даром приходилось отдавать лен, пеньку, хлеб. Да они же, иноземцы, приучили русских людей носить испанский бархат, голландское полотно, французские шелка, ездить в каретах, сидеть на итальянских стульях. При покойном Алексее Михайловиче скинули иноземное иго! — сами-де повезем морем товары. Из Голландии выписали мастера Картена Брандта, с великими трудами построили корабль «Орел»,— да на этом и замерло дело, людей, способных к мореходству, не оказалось. Да и денег было мало. Да и хлопотно. «Орел» сгнил, стоя на Волге у Нижнего Новгорода. И опять лезут иноземцы, норовят по локоть засунуться в русский карман... Что тут придумать? Пятьсот тысяч рублей на войну с ханом выложи,— Голицын без денег не уедет... Ишь, ловко поманил тремя миллионами! Вспотеешь, думая...

Зиновьев, захватив горстью бороду, проговорил:

— Наложить бы еще какую подать на посады и слободы... Ну, хошь бы на соль...

Князь Волконский, острый умом старец, ответил:

— На лапти еще налогу нет...

— Истинно, истинно, — зашумели бояре, — мужики по двенадцати пар лаптей в год изнашивают, наложить по две деньги дани на пару лаптей, — вот и побьем хана...

Легко стало боярам. Решили дело. Иные вытирали пот, иные вертели пальцами, отдувались. Иные от облегчения пускали злого духа в шубу. Перехитрили Василия Васильевича. Он не сдавался, — нарушив чин, вскочил, застучал тростью.

— Безумцы! Нищие — бросаете в грязь сокровище! Голодные — отталкиваете руку, протянувшую хлеб... Да что же, господь помрачил умы ваши? Во всех христианских странах, — а есть такие, что и уезда нашего не стоят, — жиреет торговля, народы богатеют, все ищут выгоды своей... Лишь мы одни дремлем непробудно... Как в чуму — розно бежит народ, — отчаянно... Леса полны разбойников... И те уходят куда глаза глядят... Скоро пустыней назовут русскую землю! Приходи, швед, англичанин, турок — владей...

Слезы чрезмерной досады брызнули из синих глаз Василия Васильевича. Софья, вцепясь ногтями в подлокотники, перегнулась с трона, — у самой дрожали щеки.

— Французов допускать незачем, — густо проговорил боярин князь Федор Юрьевич Ромодановский. Софья впилась в него взором. Бояре затихли. Он, покачав чревом, чтобы сползти к краю лавки, встал: коротконогий, с широкой спиной, с маленькой приглаженной головой, ушедшей в плечи. Холодно было смотреть в раскосые темные глаза его. Бороду недавно обрил, усы были закручены, крючковатый нос висел над толстыми губами. — Французских купцов нам не надо — последнюю рубашку снимут... Так... Вот недавно был в Преображенском у государя... Потеха, баловство... Верно... Но и потеха бывает разумная... Немцы, голландцы, мастера корабельщики, офицеры, — дело знают... Два полка — Семеновский, Преображенский — не нашим чета стрельцам. Купцов иноземных нам не надо, а без иноземцев не обойтись... Заводить у себя железное дело, полотняное, кожевенное, стекольное... Мельницы ставить под лесопилки, как на Кукуе. Заводить флот — вот что надо. А что приговорим мы сегодня налог на лапти... А, да ну вас, — приговаривайте, мне все одно...

Он, будто рассердясь, мотнул толстым лицом, закрученными усами, попятился, сел на лавку... В этот день боярская Дума окончательно ничего не приговорила...

7

В морозный вечер много гостей собралось в аустерии. Дурень слуга все подбрасывал березовые дрова в очаг. «О, и жарко же у тебя, Монс!» — гости играли в зернь и карты, смеялись, пели. Иоганн Монс откупорил третью бочку пива. Он сбросил ватный жилет и остался в одной фуфайке. Шея его была сизая. «Эй, Иоганн, ты бы вышел постоять на морозе, у тебя много крови». Монс рассеянно улыбнулся, сам не понимая, что с ним. Шум голосов доносился будто издалека, на глаза навертывались слезы. Подхватил было десять кружек с пивом, — не смог их поднять, расплескал. Истома ползла по телу. Он толкнул дверь, вышел на мороз и прислонился к столбику под навесом. Высоко стоял ледяной месяц в трех радужных огромных кругах. Воздух — полон морозных переливающихся игол... Снег — на земле, на кустах и крышах. Чужая земля, чужое небо, смерть на всем. Он часто задышал... Что-то с невероятной быстротой близилось к нему... Ах, только бы еще раз взглянуть на родную Тюрингию, — где уютный городок в долине меж гор над озером!.. Слезы потекли по его щекам. Режущая боль схватила сердце... Он нащупал дверь, с трудом открыл, и свет свечей, дрожащие лица гостей показались пепельными. Грудь всколыхнулась, выдавила вопль, и он упал...

Так умер Иоганн Монс. Горем и удивлением надолго поразила его смерть всех немцев. После него осталась вдова, Матильда, четверо детей и три заведения — аустерия, мельница и ювелирная лавка. Старшую дочь, Модесту, этой осенью, слава богу, удалось выдать замуж за достойного человека, поручика Федора Балка. Оставались сиротами Анна и двое маленьких — Филимон и Виллим. Как часто бывает, дела после смерти главы дома оказались не так уж хороши, обнаружили долговые расписки. Пришлось отдать за долги мельницу и ювелирную лавку. В это горестное время много помог Лефорт

деньгами и хлопотами. Дом с аустерией остался за вдовой, где Матильда и Анхен день и ночь теперь проливали горькие слезы.

8

— Маменька, звали?

— Сядь, ангел Петенька...

Петр ткнулся на табурет, с досадой оглядывал матушкину опочивальню. Наталья Кирилловна, сидя против него, ласково усмехалась. Ох, и грязен, платье порвано. Палец обвязан тряпкой. Волосики — вихрами. Под веками — тень, глаза беспокойные...

— Петруша, ангел мой, не гневайся — выслушай...

— Слушаю, маменька...

— Женить тебя хочу...

Стремительно Петр вскочил, размахивая руками, забегал от озаренных ликов святителей до двери вкривь и вкось по спальне. Сел. Дернул головой... Большие ступни повернулись носками внутрь.

— На ком?

— Присмотрена, облюбована уже такая лапушка, — голубь белый...

Наталья Кирилловна склонилась над сыном, проведя по волосам, — хотела заглянуть в глаза. У него густо залились румянцем уши. Вынырнул из-под ее руки, опять вскочил:

— Да некогда мне, маменька... Право, дело есть... Ну надо, — так жените... Не до того мне...

Задев плечом за косяк, сутуловатый, худой, вышел и побежал, как бешеный, по переходам, вдалеке хлопнул дверью.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Ивашка Бровкин (Алешкин отец) привез по санному пути в Преображенское воз мороженой птицы, муки, гороху и бочку капусты. Это был столовый оброк Василию Волкову, — домоправитель собрал его с деревеньки и, чтобы добро не гнило, приказал везти господину на

место службы, где у Волкова, как у стольника, во дворце имелась своя каморка с чуланом. Въехав во двор, Ивашка Бровкин испугался и снял шапку. Множество богатых саней и возков стояло у Красного крыльца. Переговаривались на утреннем морозе кучки нарядных холопов; кони, украшенные лисьими и волчьими хвостами, балуясь, били чистый снег, зло визжали стоялые жеребцы. Вкруг дымящегося навоза суетились воробьи.

По открытой лестнице всходили и сбежали золотокафтаные стольники и офицеры в иноземных кафтанах с красными отворотами, с бабьими кудрявыми волосами. Ивашка Бровкин признал и своего господина, — на царских харчах Василий Волков раздобрел, борода кудрявилась, ходил важно, держась за шелковый кушак.

«Эх, задержат меня, не в добрый час приехал!» — подумал Ивашка. Разнуздал лошадь, бросил ей сенца. Подошла царская собака, строго желтыми глазами посмотрела на Ивашку, зарычала... Он умильно распустил все морщины: «Собаченька, батюшка, что ты, что ты...» Отошла, сволочь сытая, не укусила, слава богу. Прошел мимо плечистый конюх.

— Ты что, бродяга, — кормить здесь расположился?..

Но тут конюха окликнули, слава богу, а то бы целым Ивашке не выпутаться... Сено он убрал, лошадь спясть взнуздал. В это время малиново на дворцовой вышке ударили в колокола. Засуетились холопы, — одни повскакали верхами на выносных коней, другие прыгнули на запятки, зверовидные задастые кучера расправили вожжи... На лестнице на каждой ступени стали стольники, сдвинув шапки искривя. Из дворца повалили поезжане: отроки с иконами, юноши с пустыми блюдами, — дорогие шапки, зеленые, парчовые, ало-бархатные кафтаны и шубы загорелись на снегу под осыпанными инеем плакучими березами. Понимая приличие, Бровкин стал креститься. Вышли бояре... Среди них — женщина во многих шубах, одна дороже другой... Под рогастой кикой брови ее густо набелены — белые, веки — сизые — расписаны до висков, щеки кругло, клюквенно нарумянены... Лицо как блин... В руке — ветка рябины. Красивая, веселая, видно — хмельная... Ее вели с крыльца под руки. Дворовые девки, пробегая мимо Ивашки, говорили:

— Сваха, гляди-ка,— мамыньки.

— Сенник приезжала убирать...

— Постель стелить молодым...

Гикнули конюха, воздух запел от бубенцов, завизжали полозья. посыпался иней с берез,— поезд потянулся через равнину к сизым дымам Москвы. Ивашка глядел, разинув рот. Его сурово окликнули:

— Очнись, разиня...

Перед ним стоял Василий Волков. Как и подобает господину,— брови гневно сдвинуты, глаза строгие, пронизывающие...

— Чего привез?

Ивашка поклонился в снег и, вынув из-за пазухи письмо от управителя, подал. Василий Волков отставил ногу, наморщась, стал читать: «Милостивый господин пресветлый государь, посылаем тебе столовый для твоей милости запас. Прости для бога, что против прежнего года недобрано: гусей битых менее, а индюков и вовсе нет... Народишко в твоей милости деревеньке совсем оскудел, пять душ в бегах ныне, уж и не знаем, как перед тобой отвечать... А иные сами едва с голоду живы, хлеба чуть до покрова хватило, едят лебеду. По сей причине недобор приключился».

Василий Волков кинулся к телеге: «Покажи!» — Ивашка расшпилил воз, трясясь от страху... Гуси тощие, куры синие, мука в комках...

— Ты чего привез? Ты чего мне привез, пес паршивый! — неистово закричал Волков.— Воруете! Заворовались! — Дернул из воза кнут и начал стегать Ивашку. Тот стоял без шапки, не уклонялся, только моргал. Хитрый был мужик,— понял: пронесло беду, пускай постегают, через полушубок не больно...

Кнут переломился в черенке. Волков, разгораясь, схватил Ивашку за волосы. В это время от дворца быстро подбегали двое в военных кафтанах. Ивашка подумал: «На подмогу ему, ну — пропал...» Передний,— что пониже ростом,— вдруг налетел на Волкова, ударил его в бок. Господин едва не упал, выпустив Ивашкины волосы. Другой, что повыше,— синеглазый, с длинным лицом, громко засмеялся... И все трое начали спорить, лаяться... Ивашка испугался не на шутку, опять стал на колени... Волков шумел:

— Не потерплю бесчестья! Оба мои холопы! Прикажу бить их без пощады... Мне царь — не указка...

Тогда синеглазый, прищурясь, перебил его:

— Постой, постой,— повтори-ка... Тебе царь — не указка? Алеша, слышал противные слова? (Ивашке.) Слышал ты?

— Постой, Александр Данилыч...— Гнев сразу ^{слетел} с Васьки Волкова.— В беспамятстве я проговорил слова, ей-ей в беспамятстве... Ведь мой же холоп меня же чуть не до смерти...

— Пойдем к Петру Алексеевичу, там разберемся...

Алексашка зашагал к дворцу, Волков — за ним,— на полпути стал хватать за рукав. Третий не пошел за ними, остался около воза и тихо сказал Ивашке:

— Батя, ведь это я... Не узнал? Я — Алеша...

Совсем заробел Ивашка. Покосился. Стоит чистый юноша, в дорогом сукне, ясных пуговицах, накладные волосы до плеч, на боку — палаш. Все может быть и Алеша... Что тут будешь делать? Ивашка отвечал двусмысленно:

— Конечно, как нам не признать... Дело отецкое...

— Здравствуй, батя.

— Здравствуй, честной отрок...

— Что дома-то у нас?

— Слава богу.

— Живете-то как?

— Слава богу...

— Батя, не узнаешь ты меня...

— Все может быть...

Ивашка, видя, что битья и страданья больше не будет, надел шапку, подобрал сломанный кнут, сердито начал зашлифовывать раскрытый воз. Отрок не уходил, не отвязывался. А может, и в самом деле это пропавший Алешка? Да что из того,— высоко, значит, птица поднялась. С большого ли ума признавать-то его — приличнее и не признавать... Все же глаз у Ивашки хитро стал щуриться.

— Отсюда бы мне в Москву надо, старуха велела соли купить, да денег ни полушки... Алтын бы пять али копеек восемь дали бы, за нами не пропадет, люди свои, отдадим...

— Батя, родной...

Алешка выхватил из кармана горсть, да не медных, — серебра: рубля с три али более. Ивашка обомлел. И когда принял в заскорузлую, как ковш, руку эти деньги, — затрясся, и колени сами подогнулись — кланяться... Алеша махнул ручкой, убежал... «Ах, сынок, ах, сынок», — тихо причитывал Ивашка. Сощуренные глаза его быстро посматривали, — не видал ли эти деньги кто из челяди? Две деньги сунул за щеку для верности, остальные в шапку. Поскорее выгрузил всз, сдав добро господскому слуге под расписку, и, нахлестывая вожами, погнал в Москву.

Плохо бы отозвались Ваське Волкову его слова: «Мне-де царь — не указка», — спознаться бы ему с заплечными мастерами в приказе Тайных дел... Но, вскочив за Алексашкой в сени, он повис у него на руке, проволочся несколько по полу и, плача, умолил взять перстень с лалом, — сдернул с пальца...

— Смотри, дворянский сын, сволочь, — проговорил Алексашка, сажая дорогое кольцо на средний палец, — в последний раз тебя выручаю... Да еще Алеше Бровкину дашь за бесчестие деньгами али сукном... Понял?

Взглянув на лал, с усмешкой тряхнул париком и пошел на точеных каблуках, покачивая плечами... Давно ли люди на базарах его за виски таскали, нюхнув пироги с гнилой зайчатиной? Ах, какую силу стал брать человек!.. Волков понуро побрел к себе в каморку. Отомкнув сундук со звоном, бережно отыскал кусок сукна... До слез стало жалко, обидно... Кому? Мужичькому сыну, холопу, коего плетью поперек морды — дарить! Погоревал. Крикнул слугу:

— Отнеси первой преображенской роты барабанщику Алексею Бровкину, — скажешь, мол, кланяюсь, чтоб между нами была любовь... — Вдруг, стиснув кулак, грозно — слуге: — Ты зубы-то не скаль, двину в зубы-то... С Алешкой говори тихо, человечно, бережно, — он, подлец, ныне опасный...

Алексашка Меньшиков искал Петра по всем палатам, где слуги накрывали праздничными уборами лавки и подоконники, стелили ковры, вешали слежавшиеся за долгие годы занавесы и шитые жемчугом застенки на обра-

за... Наливали лампы. Стук и беготня раздавались по всему дворцу.

Петра он нашел одного в сѣннике, только что убранном свахой,— пристройке без земляного наката на потолке (чтоб молодые легли спать не под землей, как в могиле). Петр был в царском для малого выхода платье. В руке все еще держал шелковый платочек, поданный ему, когда встречал сваху. Платочек был изорван в клочья зубами. Петр, вскользь взглянув на Алексашку, залился румянцем...

— Убранство красивое,— проговорил Алексашка певуче,— чисто в раю для ангелов приготовлено...

Петр разжал зубы и хохотнул. Указал на постель:

— Чепуха какая...

— Окажется молодая ладная, горячая, так — и не чепуха... Лопни глаза, мин херц, слаще этого ничего нет...

— Врешь ты все...

— Я-то с четырнадцати лет это знаю... Да еще какие шкуры-девки попадались... А твоя-то, говорят, распрекрасная краля...

Петр коротко передохнул. Опять оглянул бревенчатый сѣнник с высоко прорубленными в трех стенах цветными окошками. В простенках — тегеранские ковры, пол застлан ковром с птицами и единорогами. В углах воткнуто четыре стрелы, на каждой повешено по сорок соболей и калач. На двух сдвинутых лавках, на двадцати семи ржаных снопах, на семи перинах постлана шелковая постель со множеством подушек в жемчужных наволочках, сверху на них лежала меховая шапка. В ногах куньи одеяла. У постели стояли липовые бочки с пшеницей, рожью, овсом и ячменем...

— Что ж, ты так ее и не видел? — спросил Петр.

— Мы с Алешкой челядинцев подкупили и на крышу лазили. Никак нельзя... Невеста в потемках сидит, мать от нее ни на шаг,— сглазу боятся, чтобы не испортили... Сору не велено из ее светлицы выносить... Дядья Лопухины день и ночь по двору ходят с пищалями, саблями...

— Про Софью узнавал?

— Что ж,— побесилась, а разве она может запретить тебе жениться? Ты смотри, мин херц, как сядете с моло-

дой за стол, ничего не ешь, не пей... А захочешь испить, оглянись на меня, я подам чашу, из нее и пей...

Петр опять укусил изорванный платочек.

— В слободу съездим? Никто чтоб не узнал... На часок... А?

— Не проси, мин херц, сейчас и не думай об Монсихе...

Петр вытянул шею, раздул ноздри, бледнея.

— Волю взял со мной говорить! (Схватил Алексашку за грудь, — отлетели пуговицы...) Осмелел? — Сопнув, тряхнул еще, но отпустил, и — спокойнее: — Принеси шубу поплоче... Выйду в огород, туда подашь сани...

2

Свадьбу сыграли в Преображенском. Званных, кроме Нарышкиных и невестиной родни, было мало: кое-кто из ближних бояр, да Борис Алексеевич Голицын, да Федор Юрьевич Ромодановский. Наталья Кирилловна позвала его в посаженные отцы. Царь Иван не мог быть за немочью, Софья в этот день уехала на богомолье.

Все было по древнему чину. Невесту привезли с утра во дворец и стали одевать. Сенные девки, вымытые в бане, в казенных венцах и телогреях, пели, не смолкая. Под их песни боярыни и подружки накладывали на невесту легкую сорочку и чулки, красного шелка длинную рубаху с жемчужными запястьями, китайского шелка летник с просторными, до полу, рукавами, чудно вышитыми травами и зверями, на шею убранные алмазами, бобровое, во все плечи, ожерелье, им так стянули горло — Евдокия едва не обмерла. Поверх летника — широкий опашень клюквенного сукна со ста двадцатью финифтяными пуговицами, еще поверх — подволоку, сребротканую, на легком меху, мантию, тяжело шитую жемчугом. Пальцы унизали перстнями, уши оттянули звенящими серьгами. Волосы причесали так туго, что невеста не могла моргнуть глазами, косу переплели множеством лент, на голову воздели высокий, в виде города, венец.

Часам к трем Евдокия Ларионовна была чуть жива, — как восковая, сидела на собольей подушечке. Не могла даже глядеть на сласти, что были принесены в дубовом ларце от жениха в подарок: сахарные звери, пря-

ники с оттиснутыми ликами угодников, огурцы, варенные в меду, орехи и изюм, крепенькие рязанские яблоки. По обычаю, здесь же находился костяной ларчик с рукодельем и другой, медный, вызолоченный, с кольцами и серьгами. Поверх лежал пучок березовых хворостин — розга.

Отец, окольный Ларион Лопухин, коего с этого дня приказано звать Федором, то и дело входил, облизывая пересохшие губы: «Ну, как, ну, что невеста-то?» — жироватый носик окостенел у него... Потоптавшись, спохватывался, уходил торопливо. Мать, Евстигнея Аникитовна, давно обмерла, привалившись к стене. Сенные девки, не евшие с зари, начали похрипывать.

Вбежала сваха, махнула трехаршинными рукавами. — Готова невеста? Зовите поезжан... Караваи берите, фонари зажигайте... Девки-плясицы где? Ой, мало... У бояр Одоевских двенадцать плясало, а тут ведь царя женим... Ой, милые, невестушка-то — красота неописанная... Да где еще такие-то, — и нету их... Ой, милые, бесценные, что же вы сделали, без ножа зарезали... Невеста-то у нас неприкрытая... Самую суть забыли... Покров, покров-то где?

Невесту покрыли поверх венца белым платом, под ним руки ей сложили на груди, голову велели держать низко. Евстигнея Аникитовна тихо заголосила. Вбежал Ларион, неся перед собою, как на приступ, благословляющий образ. Девки-плясицы махнули платочками, затоптались, закружились:

Хмельюшка по выходам гуляет,
Сам себя хмель выхваляет,
Нету меня, хмельюшки, лучше...
Нету меня, хмеля, веселее...

Слуги подняли на блюдах караваи. За ними пошли фонарщики со слюдяными фонарями на древках. Два свечника несли пудовую невестину свечу. Дружка, в серебряном кафтане, через плечо перевязанный полотенцем, Петька Лопухин, двоюродный брат невесты, нес миску с хмелем, шелковыми платками, собольими и беличьими шкурками и горстью червонцев. За ним двое дядьев, Лопухины, самые расторопные, — известные сутяги и ябедники, — держали путь: следили, чтобы никто не перебежал невесте дорогу. За ними сваха и подсваха

вели под руки Евдокию, — от тяжелого платья, от поста, от страха у бедной подгибались ноги. За невестой две старые боярыни несли на блюдах, — одна — бархатную бабью кикю, другая — убрусы для раздачи гостям. Шел Ларион в собранных со всего рода мехах, на шаг позади — Евстигнея Аникитовна, под конец валила все невестина родня, торопливо теснясь в узких дверях и переходах.

Так вступили в Крестовую палату. Невесту посадили под образа. Миску с хмелем, мехами и деньгами, блюда с караваем поставили на стол, где уже расставлены были солонки, перечницы и уксусницы. Сели по чину. Молчали. У Лопухиных натянулись, высохли глаза, — боялись, не совершить бы промаха. Не шевелились, не дышали. Сваха дернула Лариона за рукав:

— Не томи...

Он медленно перекрестился и послал невестину дружку возвестить царю, что время идти по невесту. У Петьки Лопухина, когда уходил, дрожал бритый вдавленный затылок. Трещали лампы, не колебалось пламя свечей. Ждать пришлось долго. Сваха порой щекотала у невесты меж ребер, чтоб дышала.

Заскрипели лестницы на переходах. Идут! Двое рынд, неслышно появясь, стали у дверей. Вошел посаженный отец, Федор Юрьевич Ромодановский. Пуча глаза на отблескивающие оклады, перекрестился, за руку поздоровался с Ларионом и сел напротив невесты, пальцы сунул в пальцы. Снова молчали небольшое время. Федор Юрьевич сказал густым голосом:

— Подите, просите царя и великого князя всея России, чтобы, не мешкав, изволил идти к своему делу.

Невестина родня моргнула, глотнула слюни. Один из дядьев вышел навстречу государю. Он уже близился, — молод, не терпелось... В дверь влетели клубы лада-на. Вступили — рослый, буйноволосый благовещенский протопоп, держа медный с мощами крест и широко махая кадиллом, и молодой дворцовый поп, мало кому ведомый (знали, что Петр прозвал его Битка), кропил святой водой красного сукна дорожку. Меж ними шел ветхий, слабоголосый митрополит во всем блаженном чине.

Невестина родня вскочила. Ларион выбежал из-за стола, упал на колени посреди палаты. Свадебный ты-

сяцкий, Борис Алексеевич Голицын, вел под руку Петра. На царе были бармы и отцовские, — ему едва не по колена, — золотые ризы. Мономахов венец Софья приказала не давать. Петр был непокрыт, темные кудри расчесаны на пробор, бледный, глаза стеклянные, немигающие, выпячены желваки с боков рта. Сваха крепче подхватила Евдокию, — почувала под рукой, как у нее задрожали ребрышки.

За женихом шел ясельничий, Никита Зотов, кому было поручено охранять свадьбу от порчи колдовства и держать чин. Был он трезв, чист и светел. Лопухины, те, что постарше, переглянулись: князь-папа, кутилка, бесстыдник, — не такого ждали ясельничим... Лев Кириллыч и старый Стрешнев вели царицу. Для этого дня вынули из сундуков старые ее наряды — милого персикового цвета летник, заморским бисером шитый нежными травами опашень... Когда надевала, — плакала Наталья Кирилловна о невозвратной молодости. И шла сейчас красивая, статная, как в былые года...

Борис Голицын, подойдя к тому из Лопухиных, кто сидел рядом с невестой, и зазвенев в шапке червонцами, сказал громко:

— Хотим князю откупить место.

— Дешево не продадим, — ответил Лопухин и, как полагалось, загородил рукой невесту.

— Железо, серебро или золото?

— Золото.

Борис Алексеевич высыпал в тарелку червонцы и, взяв Лопухина за руку, свел с места. Петр, стоявший среди бояр, усмехнулся, его легонько стали подталкивать. Голицын взял его под локти и посадил рядом с невестой. Петр ощутил горячую округлость ее бедра, отодвинул ногу.

Слуги внесли и поставили первую перемену кушаний. Митрополит, закатывая глаза, прочел молитвы и благословил еду и питье. Но никто не дотронулся до блюд. Сваха поклонилась в пояс Лариону и Евстигнее Аникитовне:

— Благословите невесту чесать и крутить.

— Благословит бог, — ответил Ларион. Евстигнее только прошевелила губами. Два свечника протянули непрозрачный плат между женихом и невестой. Сенные дев-

ки в дверях, боярыни и боярышни за столом запели подблюдные песни — невеселые, протяжные. Петр, косясь, видел, как за шевелящимся покровом суетятся сваха и подсваха, шепчут: «Уберите ленты-то... Клади косу, закручивай... Кику, кикку давайте...» Детским тихим голосом заплакала Евдокия... У него жарко застучало сердце: запретное, женское, сырое — плакало подле него, таинственно готовилось к чему-то, чего нет слаще на свете... Он вплоть приблизился к покрывалу, почувствовал ее дыхание... Сверху выскакнуло размалеванное лицо свахи с веселым ртом до ушей.

— Потерпи, государь, недолго томиться-то...

Покрывало упало, невеста сидела опять с закрытым лицом, но уже в бабьем уборе. Обеими руками сваха взяла из миски хмель и осыпала Петра и Евдокию. Осыпав, омахала их соболями. Платки и червонцы, что лежали в миске, стала разбрасывать гостям. Женщины запели веселую. Закружились плясицы. За дверями ударили бубны и литавры. Борис Голицын резал караваи и сыр и вместе с ширинками раздавал по чину сидящим.

Тогда слуги внесли вторую перемену. Никто из Лопухиных, чтобы не показать, что голодны, ничего не ел. — отодвигали блюда. Сейчас же внесли третью перемену, и сваха громко сказала:

— Благословите молодых вести к венцу.

Наталья Кирилловна и Ромодановский, Ларион и Евстигней подняли образа. Петр и Евдокия, стоя рядом, кланялись до полу. Благословив, Ларион Лопухин отстегнул от пояса плеть и ударил дочь по спине три раза — больно.

— Ты, дочь моя, знала отцовскую плеть, передаю тебя мужу, ныне не я за ослушанье — бить тебя будет муж сей плетью...

И, поклонясь, передал плеть Петру. Свечники подняли фонари, тысяцкий подхватил жениха под локти, свахи — невесту. Лопухины хранили путь: девку одну, впопыхах за нуждой хотевшую перебежать дорогу, так пхнули — слуги уволокли едва живую. Вся свадьба переходами и лестницами медленно двинулась в дворцовую церковь. Был уже восьмой час.

Митрополит не спешил, служба. В церкви было холодно, дуло сквозь бревенчатые стены. За решетками мороз-

ных окошек — мрак. Жалобно скрипел флюгер на крыше. Петр видел одну только руку неведомой ему женщины под покрывалом — слабую, с двумя серебряными колечками, с крашеными ногтями. Держа капающую свечу, она дрожала, — синие жилки, коротенький мизинец... Дрожит, как овечий хвост... Он отвел глаза, прищурился на огоньки низенького иконостаса...

...Вчера так и не удалось проститься с Анхен. Вдова Матильда, увидев подъезжавшего в простых санях Петра, кинулась, целовала руку, рыдала, что-де погибают от бедности, нету дров да того-сего, а бедная Анхен третьи сутки лежит в бреду, в горячке... Он отстранил вдову и побежал по лестнице к девушке... В спальне — огонек масляной светильни, на полу — медный таз, сброшенные туфельки, душно. Под кисейным пологом на подушке раскинуты волосы жаркими прядями, лоб и глаза Анхен прикрыты мокрым полотенцем, жаркий рот обметало... Петр вышел на цыпочках и вдове в судорожные ладони высыпал пригоршю червонных (Сонькин подарок Петру на свадьбу)... Алексашке велено день и ночь дежурить у вдовы, если будет нужда — в аптеку, или больная запросит какой-нибудь еды заморской, — чтобы достать из-под земли...

Протопоп и поп Битка не жалели ладана, свечи виднелись, как в тумане, иерихонским ревом долголетие возглашал дьякон. Петр опять покосился — рука Евдокии дрожит не переставая. В груди у него будто выросла холодный пузырек гнева... Он быстро выдернул у Евдокии свечу и сжал ее хрупкую неживую руку... По церкви пронесся испуганный шепот. У митрополита затряслась лысая голова, к нему подскочил Борис Голицын, шепнул что-то. Митрополит заторопился, певчие запели быстрее. Петр продолжал сильно сжимать ее руку, глядя, как под покровом все ниже клонится голова жены...

Повели вокруг аналоя. Он зашагал стремительно, Евдокию подхватили свахи, а то бы упала... Обрачались... Поднесли к целованию холодный медный крест. Евдокия опустилась на колени, припала лицом к сафьяновым сапогам мужа. Подражая ангельскому гласу, нараспев, слабо проговорил митрополит:

— Дабы душу спасти, подобает бо мужу уязвляти жену свою жезлом, ибо плоть грешна и немощна...

Евдокию подняли. Сваха взялась за концы покрывала: «Гляди, гляди, государь»,— и, подскокнув, сорвала его с молодой царицы. Петр жадно взглянул. Низко опущенное, измученное полудетское личико. Припухший от слез рот. Мягкий носик. Чтобы скрыть бледность, невесту белили и румянили... От горящего круглого взгляда мужа она, дичась, прикрывалась рукавом. Сваха стала отводить рукав. «Откройся, царица,— нехорошо... Подними глазки...» Все тесно обступили молодых. «Бледна что-то»,— проговорил Лев Кириллович... Лопухины дышали громко, готовые спорить, если Нарышкины начнут хаять молодую... Она подняла карие глаза, застланные слезами. Петр прикоснулся поцелуем к ее щеке, губы ее слабо пошевелились, отвечая... Усмехнувшись, он поцеловал ее в губы,— она всхлинула...

Снова пришлось идти в ту же палату, где обкручивали. По пути свахи осыпали молодых льном и коноплей. Семечко льна прилипло у Евдокии к нижней губе — так и осталось. Чистые, в красных рубахах мужики, нарочно пригнанные из Твери, благолепно и немятежно играли на сурьмах и бубнах. Плясицы пели. Снова подавали холодную и горячую еду,— теперь уже гости ели за обе щеки. Но молодым кушать было неприлично. Когда вносили третью перемену — лебедей, перед ними поставили жареную курицу. Борис взял ее руками с блюда, завернул в скатерть и, поклонясь Наталье Кирилловне и Ромодановскому, Лопухину и Лопухиной, проговорил весело:

— Благословите вести молодых опочивать...

Уже подвыпившие, всей гурьбой родные и гости повели царя и царицу в сенник. По пути в темноте какая-то женщина,— не разобрав,— в вывороченной шубе, с хохотом, опять осыпала их из ведра льном и коноплей. У открытой двери стоял Никита Зотов, держа голую саблю. Петр взял Евдокию за плечи,— она зажмурилась, откинулась, упираясь,— толкнул ее в сенник и резко обернулся к гостям: у них пропал смех, когда они увидели его глаза, попятились... Он захлопнул за собой дверь и, глядя на жену, стоящую с прижатыми к груди ку-

лачками у постели, принялся грызть заусенец. Черт знает, как было неприятно, нехорошо,— досада так и кипела... Свадьба проклятая! Потешились старым обычаем! И эта вот,— стоит девчонка, трясется, как овца! Он потащил с себя бармы, скинул через голову ризы, бросил на стул.

— Да ты сядь... Авдотья... Чего боишься?

Евдокия коротко, послушно кивнула, но взлезть на такую высоченную постель не могла и растерялась. Присела на бочку с пшеницей. Испуганно покосилась на мужа и покраснела.

— Есть хочешь?

— Да,— шепотом ответила она.

В ногах кровати на блюде стояла та самая жареная курица. Петр отломил у нее ногу, сразу,— без хлеба, соли,— стал есть. Оторвал крыло:

--- На.

— Спасибо...

3

В конце февраля русское войско снова двинулось на Крым. Осторожный Мазепа советовал идти берегом Днепра, строя осадные городки, но Василию Васильевичу и заикнуться было нельзя так медлить: скорее, скорее желал он добраться до Перекопа, в бою смыть бесславию.

В Москве еще ездили на санях, а здесь куриной слепотой забархатели курганы, ветер на зазеленевшей равнине рябил пелену поемных озер, кони шли по ним по колена. То и дело в прорывах весенних туч слепило солнце. Ах, и земля здесь была, черная, родящая,— золотое дно! Пригнать бы сюда лесных и болотных мужиков,— по уши ходили бы в зерне. Но кругом — ни живой души, только косяки журавлей, протяжно крича, пролетали в выси. Слезам пленников были политы эти степи,— из века в век миллионы русских людей проходили здесь, уводимые татарами в неволю,— на константинопольские галеры, в Венецию, Геную, Египет...

Казачи хвалили степь: «Здесь урожай шуточное дело — сам-двадцать, плюнь — дерево вырастет. Кабы не татары проклятые, понастроили бы мы здесь хуторов».



«ПЕТР ПЕРВЫЙ» (Книга первая)



«ПЕТР ПЕРВЫЙ». (Книга первая)

Ратники из северных губерний дивились такой пышной земле. «Эта война справедливая,— говорили,— разве можно, чтоб такая земля лежала без пользы». Ополченцы-помещики приглядывали места для усадеб, спорили из-за дележа, бегали в шатер к Василию Васильевичу кланяться: «В случае бог даст завоевать эти места, пожаловал бы государь такой-то клин земли от такой-то балки до кургана с каменной бабой...»

В мае двадцатитысячное московское и украинское войско дошло до широкой, обильной пастбищами и водой Зеленой Долины. Здесь казаки привели к Василию Васильевичу «языка» — крепенького, лоснящегося от загара краснобородого татарина в вагном халате. Василий Васильевич поднес платочек к носу, чтобы не слышать бараньего татарского смрада, приказал допросить. С языка сорвали халат,— ощерив мелкие зубы, татарин завертел сизообритой головой. Угрюмый казак наотмашь полоснул его плетью по смуглым плечам. «Бачка, бачка, мой все говорил»,— затараторил татарин. Казаки перевели: «Гололобий бачит, що орда стоит недалече и сам хан при ней...» Василий Васильевич перекрестился и послал за Мазепой. К вечеру развернутое войско с конницей на правом и левом крыле, с обозом и пушками по середине двинулось на татар.

Едва над низкой истоптанной равниной поднялся каравай оранжевого солнца, русские увидели татар. Конные кучки их съезжались и разъезжались. Василий Васильевич, стоя на возу, разглядывал в подзорную трубу пестрые халаты, острые шлемы, скуластые зловеселые лица, конские хвосты на копьях, важных мулл в зеленых чалмах. Это была передовая часть орды.

Отряды конных поворачивали, съезжались, сбивались в плотную кучу. Поднялась пыль. Пошли! Скача, татары развертывались лавой. Донесся пронзительный вой. Их затягивало пылью, гонимой русским в лицо. Труба задрожала в руках Василия Васильевича. Его конь, привязанный к возу, шарахнулся, обрывая узду,— из шеи его торчала оперенная стрела... Наконец! — надрывно грохнули пушки, затрещали мушкеты,— все закрылось клубами белого дыма. О панцирь Василия Васильевича звякнуло железо стрелы — как раз против сердца. Содрогнувшись, перекрестил это место...

Стреляли более часу... Когда развеялся дым, на равнине билось несколько лошадей, валялось до сотни трупов. Татары, отбитые огнем, уходили за окоем. Было приказано варить обед, поить коней. Раненых положили на телеги. Перед закатом снова двинулись с великим бережением к Черной Долине, где на речке Колончаке стоял хан с ордой.

Ночью поднялся сильный ветер с моря. Затянуло звезды. Отдаленно ворчало, погромыхивало. В непроглядных тучах открывались невиданные зарницы, озаряя серую равнину — песок, полынь, солончаки. Войска двигались медленно. В пятом часу расколосось небо, и в обоз упал огненный столб, — расплавило пушку, убило пушкарей. Налетел вихрь, — валил с ног, рвало епанчи и шапки, сено с телег. Слепя глаза, полыхали молнии. Велено было поднять Донскую божью мать и обходить войско.

Дождь полил на рассвете. Сквозь гонимую ветром пелену его на правом крыле войска увидели орду: татары приближались полумесяцем. Не давши русским опомниться, опрокинули конницу и загнали передовой полк в обоз. Фитили пушек не горели, на полках ружей отсырел порох. Плеск дождя заглушал крики раненых. Перед тройным рядом телег татары остановились. У них отмокли тетивы луков, и стрелы падали без силы.

Василий Васильевич пеший метался по обозу, бил плетью пушкарей, хватался за колеса, вырывал фитили. В глаза, в рот хлестало дождем. Все же пушкари ухитрились, — накрывшись тулупами, высекли огонь, подсыпали сухого пороху и — бухнули пушки свинцовыми пульками по татарским коням... На левом крыле отчаянно рубился Мазепа с казаками. И вот протяжно закричали муллы, — татары отступили, скрывались в ненастной мгле.

«Государю моему, радости, царю Петру Алексеевичу... Здравствуй, свет мой, на множество лет...»

Евдокия измаялась, писавши. Щепоть, все три пальца, коими плотно держала гусиное перо у самого конца,

измазала чернилами. Портила третий лист,— либо буквы выходили не те, либо сажала пятна. А хотелось написать так приветливо, чтобы Петенька порадовался письмецу.

Но чернилами на бумаге разве скажешь, чем полно сердце? На дворе — апрель. Березы, как в цыплячьем пуху,— зазеленели. Плывут снежные облака с синими донышками.

Евдокия глядела на них, глядела, и ресницы налились слезами,— должно быть, сдуру... Покосилась на дверь,— не вошла бы свекровь, не увидела... Рукавом вытерла глаза. Наморщила лобик.

...Чего бы еще написать ему?.. Уехал, голубчик, на Переяславское озеро и не отписывает, когда ждать его назад... А то бы вместе говели, заутреню стояли бы... Разговлялись... (Евдокия вспомнила курицу,— как ели ее после венчания,— покраснела и про себя засмеялась...) На первый день можно позвать девок — играть на лугу в подкучки, катать яйца... Песни, хороводы. На качелях — смеяться, в жмурки бегать. Написать разве про это?.. Петенька, милый, голубчик, приезжа-ай, соскучила-ась... Разве напишешь! — и букв для этого нет таких...

Она опять взяла перо и, шевеля губами, вывела:

«Просим милости: пожалуй, государь, буди к нам, не замешкав... Женишка твоя, Дунька, челом бьет...»

Перечла и обрадовалась,— очень хорошо написано. Батюшки, оглашенная! — а про свекровь-то не помянула. Переписывай теперь в четвертый раз... Ах, свекровь, матушка, Наталья Кирилловна,— суровенькая!.. Как ни ластись,— все чего-нибудь найдет, что не ладно... Почему, мол, тоща? И не тоща совсем: все, что надо,— кругленькое... Почему Петруша на второй месяц от тебя ускакал на Переяславское озеро? Что же ты: затхлая или, может быть, дура тоскливая, что от тебя мужу, как от чумной язвы, на край света надо бежать?.. И не дура, и не язва... Сами виноваты,— зачем допустили к нему Лефорта, Алексашку да немцев, они и сманили лапушку на Переяславское озеро, и хуже еще куда-нибудь сманят.

Евдокия сердито окунула перо. Но подняла глаза,— сквозь зелень берез жидкий свет падал в раскрытое

окно, на подоконнике надувал горло, топтался голубь, и еще какие-то птицы посвистывали... Пахло лугами... И на четвертый чистый листок — кап слезища... Вот наказанье!..

5

Что ни день — письмо от жены или матери: без тебя, мол, скучно, скоро ли вернешься? Сходили бы вместе к Троице... Скука старозаветная! Петру не то что отвечать, — читать эти письма было недосуг. Жил он в новорубленной избе на самой верфи на берегу широкого Переяславского озера, где почти оконченные два корабля стояли на стапелях и стрелах. Крыли палубы, кончали резать на корме деревянные морды. Третий корабль, «Стольный град Прешпург», был уже спущен, — тридцать восемь шагов по ватерлинии, с крутым носом, украшенным золоченой морской девкой, с высокой кормой, где сверху пристроена кают-компания. На плоской крыше ее, огороженной точеными перилами, — адмиральский мостик и большой стеклянный фонарь. Под верхней палубой с каждой стороны в откинутые люки высывалось по восьми пушек. Сходящиеся кверху борта черно блестели смолой.

Поутру, когда чуть дымилось озеро, трехмачтовый корабль будто висел в воздухе, как на дивных голландских картинах, что подарил Борис Голицын... Ждали только ветра, чтобы поплыть в первый рейс. Как назло, вторую неделю листок не шевелило на деревьях. Лениво плыли над озером облака с синими донцами. Поднятые паруса только плескались, повисали. Петр не отходил от Картена Брандта. Старику немоглось еще с февраля, — разрывало грудь мокрым кашлем. Все же, закутанный в тулупчик, он весь день был на верфи, — сердился, кричал, а когда и дрался за леность или глупость. Особым указом пригнали на верфь душ полтора ста монастырских крестьян: плотников, продольных пильщиков, кузнецов, землекопов и надежных баб — шить паруса. Полсотни потешных, отписанных от полков, обучались здесь морскому делу: травить и крепить концы, лазить на мачты, слушать команду. Учил их

иноземец. выходец из Португалии, — Памбург, крючконосый, с черными, как щетка, усами, злой, сатана, морской разбойник. Русские про него говорили, что будто бы его не один раз за его дела вешали, да черт ему помог — жив остался, попал к нам.

Петру бешено не терпелось. Рабочих чуть свет будили барабаном, а то и палками. Весенние ночи короткие, — многие люди падали от усталости. Никита Зотов не успевал писать — его в. г. ц. и в. к. всея В. М. и Б. Р. с. — указы соседним помещикам, чтобы ставили корм, — везли бы на верфь хлеб, птицу, мясо. Помещики с перепугу везли. Труднее было доставать денег. Хотя Софья и рада была, что братец забился еще далее от Москвы, где бы ему — перевернуться на потешном корабле, но денег в приказе Большого дворца кот наплакал: все поглотила крымская война.

Когда случалось Францу Лефорту вырваться со службы и прискакать на Переяславскую верфь, — начиналось веселье. Он привозил вин, колбас, сластей и — с подмигиванием — поклон от Анны Монс: выздоровела, еще краше стала, и просит-де милости герра Петера — принять в подарок два цитрона.

В новорубленной избе в обед и ужин щедро поднимали стаканы за великий переяславский флот. Придумали для него особенный флаг — в три полотнища: белое, синее и красное. Иноземцы рассказывали про былые плаванья, бури и морские битвы. Памбург, расставив ноги, шевеля усами, кричал по-португальски, будто и в самом деле на пиратском корабле. Петр пил эти речи глазами и ушами. Откуда бы ему, сухопутному, так любить море? Но он по ночам, лежа на полотах рядом с Алексашкой, во сне видел волны, тучи над водным простором, призраки проносящихся кораблей.

Калачом не заманить в Преображенское. Когда очень досаждали с письмами, — отписывался:

«Вселюбезнейшей и паче живота телесного дражайшей матушке царице Наталье Кирилловне, недостойный сынишка твой Петрунька, в работе пребывающий, — благословения прошу, о твоем здравии слышать желаю. А что изволила мне приказывать, чтоп мне быть в Преображенском, и я быть готов, только гей гей дело есть: суды все в отделке, за канатами дело стоит. И о том

милости прошу, чтоп те канаты ис Пушкарского приказу не мешкав прислали бы. И с тем житье наше продолжится. По сем благословения прошу. Недостойный Петрус».

6

Теперь мимо избы Ивашки Бровкина ходили, — снимали шапку. Вся деревня знала: «Ивашкин сын — Алексей — сильненький, у царя правая рука, Ивашке только мигнуть — сейчас ему денег — сколько нужно, столько отсыпет». На Алешкины деньги (три рубля с полтиной) Бровкин купил телку добрую — за полтора рубля, овцу — три гривенника с пятаком, четырех поросят по три алтына, справил сбрую, поставил новые ворота и у мужиков под яровое снял восемь десятин земли, дав рубль деньгами, ведро водки и обещав пятый сноп с урожая.

Стал на ноги человек. Подпоясывался не лыком по кострецу, а московским кушаком под груди, чтобы выпирал сытый живот. Шапку надвигал на самые брови, бороду задира. Такому поклонись. И еще говорил: «Погоди, по осени съезжу к сыну, возьму денег, — мельницу поставлю». Волковский управитель его уже не тыкал — Ивашкой, но звал уклончиво Бровкиным. От барщины освободил...

И сыновья — помощники — подрастали. Яков всю эту зиму ходил в соседнюю деревню к дьячку — учился грамоте, Гаврилка вытягивался в красивого парня, меньшей, Артамошка, тихоня, был тоже не без ума. Детьми Ивашку бог не обидел. К дочери, Саньке, уж сватались, но по нынешнему положению отдавать ее за своего брата — мужика-лапотника, — это еще надо было подумать...

В июле прошел слух, что войско возвращается из Крыма. Стали ждать ратников, отцов и сыновей. По вечерам бабы выходили на пригорок — глядеть на дорогу. От бродящего божьего человека узнали, что в соседних деревнях действительно вернулись. Начали бабы плакать: «Наших-то побили...» Наконец появился на деревне ратник Цыган, весь зарос железной бородой, глаз выбит, рубаха, портки сгнили на теле.

Бровкин с семьей ужинали на дворе, хлебали щи с солониной. В ворота постучали: «Во имя отца и сына и

«святого духа...» Ивашка опустил ложку, подозрительно поглядел на ворота.

— Аминь,— ответил. И громче: — Мотри, у нас кобели злые, постерегись.

Яшка отодвинул щеколду, и вошел Цыган. Оглядел двор, семейство и, раскрыв рот с выбитыми зубами,— гаркнул хрипло:

— Здорóво! — Сел на чурбан у стола.— На прохладе ужинаете? В избе мухи, что ли, надоедают?

Ивашка зашевелил бровями. Но тут Санька самовольно пододвинула Цыгану чашку со щами, вытерла передником ложку, подала.

— Откушай, батюшка, снами.

Бровкин удивился Санькиной смелости... «Ужо,— подумал,— за косы возьму!.. Эдак-то всякому кидать наше добро...» Но спорить постеснялся. Цыган был голоден, ел,— жмурился...

— Воевали? — спросил Бровкин.

— Воевали... (И опять — за щи.)

— Ну как все-таки? — повертевшись на скамье, опять спросил Бровкин.

— Обыкновенно. Как воюют, так и воевали.

— Одолели татар-то?

— Одолели... Своих под Перекопом тысяч двадцать уложили, да столько же, когда назад шли...

— Ах, ах,— Бровкин покачал головой.— А у нас говорят: хан покорился нашим...

Цыган открыл желтые редкие зубы.

— Ты тех, кто в Крыму гнить остался, спроси, как нам хан покорился... Жара, воды нет, слева — гнилое море, справа — Черное, пить эту воду нельзя, колодцы татары падалью забили... Стоим за Перекопом — ни вперед, ни назад. Люди, лошади, как мухи, дохли... Повоевали...

Цыган разгреб усы, вытерся, поглядел кровавым глазом и другим,— мертвыми веками,— на Саньку: «Спасибо, девка...» Облокотился.

— Иван... Я в поход уходил,— корова у меня оставалась...

— Да мы говорили управителю: вернешься, как же тебе без коровенки-то? Не послушал, взял.

— Так... А свиньи? Боров, две свиньи,— я мир прислал за ними присмотреть...

— Глядели, голубок, глядели... Управитель столовыми кормами нас дюже притеснил... Мы думали,— может, тебя на войне-то убьют...

— И свиней моих Волков сожрал?

— Скушал, скушал.

— Так... — Цыган залез в нечесанные железные волосы, поскреб: — Ладно... Иван!

— Аюшки?

— Ты помалкивай, что я к тебе заходил.

— А кому мне говорить-то? Я и так всегда помалкиваю.

Цыган встал. Покосился на Саньку. Тихо пошел к воротам. И там с угрозой:

— Смотри — помалкивай, Иван... Прощай.— И скрылся. С тех пор его и не видели на деревне.

7

Овсей Ржов, пошатываясь, стоял у ворот харчевни, что на Варварке, считал деньги в ладони. Подошли стрелецкие пятидесятники, Никита Гладкий и Кузьма Чермный.

— Здорово, Овсей.

— Брось полушки считать, пойдем с нами.

Гладкий шепнул:

— Поговорить нужно, нехорошие дела слышны...

Чермный брякнул в кармане серебром, захохотал:

— Погулять хватит...

— А вы не ограбили кого? — спросил Овсей.— Ах, стрельцы, что вы делаете!..

— Дурак,— сказал Гладкий,— мы на карауле во дворце стояли. Понял? — И оба захохотали опять. Повели Овсея в харчевню. Сели в углу. Суровый старец-целовальник принес штоф вина и свечу. Чермный сейчас же свечу погасил и нагнулся к столу, слушая, что зашептал Гладкий.

— Жалко, тебя не было с нами на карауле. Стоим... Выходит Федор Левонтьевич Шакловитый. «Царевна, говорит, за вашу верную непорочную службу жалует по пяти рублев...» И подает мешок серебра... Мы

молчим, — к чему он клонит? И он так-то горько вздохнул: «Ах, говорит, стрельцы, слуги верные, недолго вам жить с женами на богатых дворах за Москвой-рекой...»

— Это как так недолго? — испугавшись, спросил Овсей.

— А вот как... «Хотят, говорит, вас, стрельцов, перевести, разослать по городкам, меня высадить из Стрелецкого приказа, а царевну сослать в монастырь... И мутит всем старая царица Наталья Кирилловна... Она и Петра для этого женила... По ее, говорит, наговору слуги, — только мы не можем добиться кто, — царя Ивана поят медленным зельем, двери ему завалили дровами, поленьями, и ходит он через черное крыльцо... Царь Иван — не жилец на этом свете. Кто будет вас, стрельцов, любить? Кто заступится?»

— А Василий Васильевич? — спросил Овсей.

— Одного они человека боялись, — Василия Васильевича. А ныне бояре его с головой хотят выдать за крымское бесчестье... Накачают нам Петра на шею...

— Ну, это тоже... Погодят! Нам по набату не в первый раз подниматься...

— Тише ори. — Гладкий притянул Овсея за ворот и — едва слышно:

— Одним набатом нам не спастись, хоть и всех побьем, как семь лет тому назад, а корня не выведем... Надо уходить старую медведицу... И медвежонку чего спускать? За чем дело стало? И его на рогатину, — надо себя спасать, ребята...

Темны, страшны были слова Никиты Гладкого. Овсей задрожал. Чермный налил из штофа в оловянные стаканчики.

— Это дело без шума надо вершить... Подобрать полсотни верных людей, ночью и запалить Преображенское. В огне их ножами возьмем — чисто...

8

Стрелецкие полки уже давно разместились по слободам, ополченцы-помещики вернулись в усадьбы, а по Курской и Рязанской дорогам все еще брели в Москву раненые, калеки и беглые. Толпясь на папертях, показывали страшные язвы, раны и с воем протягивали мило-

сердным людям обрубки рук, отворачивали мертвые веки.

— Щупайте, православные,— вот она, стрела, в груди...

— Милостивцы, оба глаза мои вытекли, по голове шелопугой били меня бесчеловечно,— о-о-о!

— Нюхай, купец, гляди, по локоть рука сгнила...

— А вот у меня из спины ремни резали...

— Язвы от кобыльего молока... Жалейте меня, благодетели!..

Ужасались добрые прихожане на такое невиданное калечество, раздавали полушки. А по ночам в глухих местах находили людей с отрезанными головами. Грабили на дорогах, на мостах, в темных переулках. Толпами искалеченные воины тянулись на московские базары.

Но не сытно было и в Москве. В гостиных рядах много лавок позакрывалось, иные купцы обезденежели от поборов, иные до лучшего времени припрятывали товары и деньги. Все стало дорого. Денег ни у кого нет. Хлеб привозили — с мусором, мясо червивое. Рыба и та стала будто бы мельче, постнее после войны. Всем известный пирожник Заяц выносил на лотке такую тухлятину,— с души воротило. Появилась дурная муха,— от ее укусов у людей раздувало щеки и губы. На базарах — не протолкаться, а смотришь,— продают одни банные веники. Озлобленно, праздно, голодно шумел огромный город.

9

Михаил Тыртов, осаживая жеребца, поправил шапку. Красив, наряден, воротник ферязи — выше головы, губы крашены, глаза подведены до висков. Кривая сабля звенит о персидское стремя. С крыльца к Михаилу перегнулся Степка Одоевский:

— Ты прислушайся, что говорят... Не послушав — не кричи...

— Ладно.

— Так и руби: царица, мол, да Лев Кириллович весь хлеб скупили, Москву нарочно голодом морят... Да про дурную муху не забудь,— с ихнего, мол, волшебства...

— Ладно...

Тыртов, взглянув холодными глазами между ушей жеребца, нагнулся и во весь мах пустил его в открытые ворота. На улице обдало пылью, вонью. Какой-то бродяга, по пояс голый, в багровых пятнах, закричал, расталкивая народ, чтобы кинуться под копыта. Тыртов вытянул его нагайкой. Со всех сторон полезли к богатому боярину, протягивая земляные, шелудивые ладони... Нахмурясь, подбоченясь, Михаил медленно пробирался в плотной толпе.

— Нарядный, поделись...

— Кинь полушку...

— Вот я ртом поймаю...

— Дай деньгу, дай, дай...

— Смотри, дерьмом замажу, — дай лучше...

— Горсть вшей продам! Купи — даром отдам!

— Топчи меня, топчи, жрать хочу...

Конь, беспокоясь, грыз удила, косился гордым зрачком на машущие лохмотья, взъерошенные головы, страшные лица. Все наглее лезли нищие и бродяги. Так он проплыл до конца Ильинки. Здесь на столбе под иконкой была прибита грамота. Какой-то благообразный человек, перекрикивая, читал:

— «Мы, великие государи, тебя, ближнего боярина и оберегателя, князя Василия Васильевича Голицына, за твою к нам многую и радетельную службу, за то, что такие свирепые и исконные креста святого и всего христианства неприятели твоею службою не нечаянно и никогда неслыханно от наших царских ратей в жилищах их поганских поражены, и побеждены, и прогнаны...»

Хрипучий голос из толпы:

— Кто поражены, побеждены? Мы али татары?

Толпа тотчас загудела сердито...

— Это где это мы татар победили, когда?

— Мы их и в лицо-то не видали в Крыму...

— Видели, как бежали от них без памяти...

— А кто дурак этот, — грамоту читает?

— Подьячий из Кремля...

— Голицынский холоп, пес верный...

— Ну-ка, потяни его за полу...

Благообразный человек, срывая голос, читал:

— «...татары сами себе и жилищам своим явились разорителями, в Перекопи посады и села пожгли и, ис-

полнясь отчаяния и ужаса, со своими погаными ордами тебе не показались... И что ты со своими ратными людьми к нашим границам с вышеописанными славными во всем свете победами, не хуже Моисея, изведшего израильских людей из земли Египетской, возвратился в целости,— за все то милостиво и премилостиво тебя похваляем...»

Кривой черный человек с железными волосами опять крикнул:

— Чтец, а про меня в грамоте не написано?

Засмеялись. Кое-кто, выругавшись, стошел. Ком грязи ударился в грамоту... «Стража!» — закричал чтец, загородясь рукой... Тыртов, раздвигая конем народ, стал пробираться к кривому. Но Цыган только ощерил на него осколки зубов и пропал. Кто-то схватил за узду: «Вот этого бы раздеть!..» Кто-то шильцем кольнул коня,— тот забил, храпя,— взвился. Свистнули по-разбойничьи. Камень, пролетев, царапнул щеку. Под рев, свист и гиканье Тыртов вылетел из толпы.

У Никольских ворот он увидел верхами Степку Одоевского и бледного горбоносого человека с красивыми усиками. По неживым складкам одежды было заметно, что под ферязью на нем — кольчуга. Тыртов сорвал шапку и поклонился до конской гривы Федору Левонтьевичу Шакловитому. Умное лицо его было хмуро, нижняя губа плотно прикрывала верхнюю. Недобро шурился на толпу. Одоевский спросил:

— Ты кричал им, Мишка?

— Поди сам покричи... (У Тыртова горели щеки.) Им, дьяволам голодным, все равно,— что царевна Софья, что Петр... Стрельцов бы сюда сотни две — разогнать эту сволочь, и весь разговор...

— Половчее к ним надо послать человека,— сквозь зубы сказал Шакловитый,— подбивать их идти в Преображенское, хлеба просить... Пускай их потешные встретят... По царя Петра приказу немцы-то русских бьют,— так мы и скажем... (Одоевский засмеялся.) Ступайте, не мешкая, кричите стрельцам про это... А я пошлю на базары надежных людей... Народ надо из Москвы удалить, большого набата нам не надо, одними стрельцами справимся...

Из лесной чащи на берег Переяславского озера выехала вся в пыли дорожная карета разномастной четверней. Степенный кучер и босой мужик верховой, сидевший на левой выносной, оглядывались. Повсюду разбросаны бревна и доски, кучи щепы, разбитые смоляные бочки. И — ни живой души, только кое-где слышался густой храп. Невдалеке от берега стояли четыре осмоленных корабля, их высокие кормовые части, украшенные резным деревом, с квадратными окошечками, отражались в зеленоватой воде. Между мачтами летали чайки.

Из кареты вылез Лев Кириллович, морщась потер поясницу, — намяло дорогой: хоть и не стар он еще был, но тучен от невоздержанности к питию. Ждал, когда кто-нибудь подойдет. Ленясь сам позвать, кряхтел. Кучер сказал, прищурив глаз на солнце:

— Отдыхают... Время обеденное...

Действительно, в холодке, из-за бревен и бочек виднелись то ноги в лаптях, то задранный на голой пояснице грязная рубаха, то нечесаная голова. Верховой мужик, выручая ленивого боярина, позвал бойко:

— Э-эй, кто тут живой, православные...

Тогда близ кареты из-за канатов поднялось пропитое нерусское лицо с черными усами, по четверти в каждую сторону, зарычало по-ломаному:

— Што кричишь, турак...

Кучер оглянулся на боярина, — не стегануть ли этого кнутом. Но Лев Кириллович отклонил: кто их разберет, — у царя Петра и генералы пьяные на земле валяются. Спросил, не роняя достоинства, где царь.

— А шерт его снает, — ответила усатая голова и опять повалилась на канаты. Лев Кириллович пошел по берегу, ища человека русского вида, и, уже не стесняясь, пхнул одного в лаптях. Вскочил, моргая, мужик-плотник, ответил:

— Утрась Петр Алексеевич плавали, из пушек стреляли, видно, уморились, почивают.

Петра нашли в лодке — он спал, завернув голову в кафтанец. Лев Кириллович отослал всех от лодки и до-

жидался, когда племянник изволит прийти в себя. Петр сладко похрапывал. Из широких голландских штанов торчали его голые, в башмаках набосо, тощие ноги. Раза два потер ими, во сне отбиваясь от мух. И это в особенности удручило Льва Кирилловича... Царство — на волоске, а ему, вишь, мухи надоедают...

Бояре нынче уже громко говорили в Кремле: «Петру — прямая дорога в монастырь. Кутилка, солдатский кум, в зернь в кабаке проиграет царский венец». По Кремлю снова шатались пьяные стрельцы, нагло подбочивались, когда мимо проходил кто-либо из верхних. Софья, страшная хмельными этими саблями, безумствовала. Бесславный воитель, Голицын, мрачный, как ворон, сидел у себя в палатах, обитых медью, допускал перед очи одного Шакловитого да Сильвестра Медведева. Все понимали, что сейчас либо уходит ему от дел со срамом, либо кровью добывать престол. Над Кремлем нависала грозная туча...

А этот в лодке спит, — хоть бы ему что...

— А, дяденька, Кот Кириллыч, здравствуйте!

Петр сел на край лодки, обгорелый, грязный, счастливый. Глаза слегка припухли, нос лупится, кончики едва пробившихся усиков закручены...

— Зачем приехал?

— За тобой, государь, — строго отвечивал Лев Кириллович, — и не за милостью какой-нибудь, а такие сейчас дела, что быть тебе в Москве непременно, без тебя не вернусь...

Полное лицо Льва Кирилловича задрожало, на висках из-под шапки выступил пот. Петр изумленно взглянул: эге, видно, дела там плохи, если ленивый дядюшка так расколыхался. Петр перегнулся через край лодки и горстью напился воды, поддернул штаны.

— Ну, ладно, приеду на днях...

— Не на днях, — сегодня. Часу нельзя терять (Лев Кириллович придвинулся, едва доставая до уха племяннику). — В прошлую ночь под самым Преображенским, на той стороне Яузы, обнаружили в кустах более сотни стрельцов в засаде. (Ухо и шея Петра мгновенно побагровели.) У нас преображенцы на карауле всю ночь фитили жгли, кричали в рожки... Те-то и поостереглись переходить речку... А уж после в Москве слышали, — стре-

лец Овсей Ржов рассказывал: у них так сговорено, — как учинится в Преображенском дворце ночью крик, то быть им готовым и, кого станут давать из дворца, тех рубить, кто ни попал...

Петр вдруг закрыл рукой глаза, — пальцы так и втиснулись. Лев Кириллович продолжал рассказывать про то, как Шакловитый пускает по базарам крикунов — подговаривать голодный народ идти громить Преображенское.

— Народ стал отчаянный, одна забота — дорваться, грабить. А Софья только и ждет новой смуты... Ее ближние стрельцы на Спасской башне к набатному колоколу уж и веревку привязали. Они бы давно ударили, да стрелецкие полки, гостиные сотни да посады сомневаются: набат-то всем надоел... Время такое, — бояре как в осаде сидят по дворам... А уж сестрица, Наталья Кирилловна, без памяти... (Лев Кириллович прильнул к его плечу, по-родственному всхлипнул.) Петруша, богом тебя молим: покажись во всем царском сане, прикрикни... По царю соскучились, — топни ножкой, а уж мы подсобим... Не то что нам, — врагам нашим надоел Васька Голицын, Сонька поперек горла воткнулась...

Много раз Петр слышал подобные речи, но сегодня всхлипывающий шепот дяденьки навел страх... Будто снова услышал он крики такие, что волосы встали дыбом, видел наискось раскрытые рты, раздутые шеи, лезвия уставленных копий, тяжело падающее на них тело Матвеева... Телесный ужас детских дней!.. И у самого у него рот кривился на сторону, выкатывались глаза, невидимое лезвие вонзалось в шею под ухом.

— Петенька! Государь, господь с тобой! — Лев Кириллович обхватил подпрыгивающие плечи племянника. Петр забился в его руках, брызгая пеной. Гнев, ужас, смятение были в его бессвязных криках. Повскакали люди, со страхом окружили беснующегося Петра. Усатый Памбург принес водки в черепке. Петр, как маленький, только брызгал, не пил, — так стиснуты были зубы. Его оттащили к карете Льва Кирилловича, но он, брыкаясь, приказал положить себя на траву. Затих... Потом сел, обхватил костлявые колени. Глядел на светлую пелену озера, где летали чайки над мачтами кораблей. Откуда-то появился, пошатываясь, Никита Зотов. По случаю ут-

решней потешной баталии он был в князь-папской хламиде, нечесан, в космах, в бороде — сено! Присев около Петра, глядел на него, точно бородатая баба, — с жалостью.

— Петр Алексеевич, послушай меня, дурака...

— Иди к черту...

— Иду, батюшка... Вот мы и доигрались... Бросать надо... Ребятчи-то игры...

Петр отвернулся. Никита пополз на коленках, чтобы с другой стороны заглянуть ему в лицо. Петр толкнул его и молча полез в карету. Лев Кириллович торопливо крестился, подбегая...

11

В Успенском соборе отходила обедня. Патриарший хор на левом клиросе и государевых жильцов — на правом попеременно оглашали темно-золотые своды то отроческим сладкогласием, то ревом крепких глоток. С тихим потрескиванием костры свечей перед золотыми окладами озаряли разгоряченные лица бояр. Служил патриарх, — будто великомученик суздальского письма сошел с доски, живыми были глаза, да слабые руки, да узкая борода до пупа, шевелившаяся по тяжелой ризе. Двенадцать великанов-дьяконов, буйноволосые и звероподобные, звякали тяжелыми кадилами. В клубах лада на плыл патриарх и по сторонам его митрополиты и архиереи. Возгласами архидьякона наполнялся, как крепким вином, весь собор. Сие был Третий Рим. Веселилось надменное русское сердце.

На царском месте под алым шатром стояла Софья. По правую руку ее — царь Иван, — полуприкрыл веки, скулы его горели на больном лице. Налево стоял долговязый Петр, — будто на святках одели мужика в царское платье не по росту. Бояре, поднося ко рту платочек, с усмешкой поглядывали на него: несуразный вьюноша, и стоять не может, топчется, как гусь, косолапо, шею не держит... Софья по крайней мере понимает державный чин. Под ногами, чтобы выше быть, скамеечка. Лик покойный, ладони сложены на груди, и руки, и грудь, плечи, уши, венец жарко пылают камнями. Будто сама владычица Казанская стоит под шатром... А у этого,

у кукуйского кутилки, желваки выпячены с углов рта, будто так сейчас и укусит, да — кусачка слаба... Глаз злой, гордый... И — видно всем — и в мыслях нет благочестия...

Обедня отошла. Засуетились церковные служки. Заколебались хоругви, слюдяные фонари, кресты и иконы, поднятые на руках. Сквозь раздавшихся бояр и дворян двинулся крестный ход. Патриарх, поддерживаемый дьяконами, поклонился царям, прося их взять, по обычаю, образ Казанской владычицы и идти на Красную площадь к Казанскому собору. Московский митрополит поднес образ Ивану. Царь ущипнул редкую бородку, оглянулся на Софью. Она, не шевелясь, как истукан, глядела на луч в слюдяном окошечке...

— Не донесу я, — сказал Иван кротко, — уроню...

Тогда митрополит мимо Петра поднес образ Софье. Руки ее, тяжелые от перстней, разнялись и взяли образ плотно, хищно. Не переставая глядеть на луч, она сошла со скамеечки. Василий Васильевич, Федор Шакловитый, Иван Милославский, — все в собольих шубах, — тотчас придвинулись к правительнице. В соборе стало тихо.

— Отдай... (Все услышали, — сказал кто-то невнятно и глухо.) Отдай... (Уж громче, ненавистнее.) — И, когда стали глядеть на Петра, поняли, что — он... Лицо — багровое, взором крутит, как филин, схватился за витой золотой столбик шатра, и шатер ходил ходуном...

Но Софья лишь чуть приостановилась, не оборачиваясь, не тревожась. На весь собор, отрывисто, по-подлому, Петр проговорил:

— Иван не идет, я пойду... Ты иди к себе... Отдай икону... Это — не женское дело... Я не позволю...

Подняв глаза, сладко, будто не от мира сего, Софья молвила:

— Певчие, пойте великий выход...

И, спустясь, медленно пошла вдоль рядов бояр, низенькая и пышная. Петр глядел ей вслед, длинно вытянув шею. (Бояре — в платочек: смех и грех.) Иван, осторожно сходя вслед сестре, прошептал:

— Полно, Петруша, помирись ты с ней... Что ссоритесь, что делите...

Шакловитый, подавшись вперед на стуле, пристально глядел на Василия Васильевича. Сильвестр Медведев в малиновой шелковой рясе, осторожно беря и покусывая холеную воронова крыла бороду, тоже глядел на Голицына. В спальне на столе горела одна свеча. Страусовые перья над балдахинном кровати бросали тени через весь потолок, где кони с крыльями, летучие младенцы и голоногие девки венчали героя с лицом Василия Васильевича. Сам Василий Васильевич лежал на лавке, на медвежьих шкурах. Его знобила лихорадка, подхваченная еще в крымском походе. Кутался по самый нос в беличий тулупчик, руки засунул в рукава.

— Нет,— проговорил он после долгого ожидания,— не могу я слушать эти речи... Бог дал жизнь, один бог у него и отнимет...

Шакловитый с досадой ударил себя шапкой по колену, оглянулся на Медведева. Тот не задумался:

— Сказано: «Пошлю мстителя»,— сие разуместь так: не богом отнимается жизнь, но по его воле рукой человека...

— В храме орет, как в кабаке,— горячо подхватил Шакловитый.— Софья Алексеевна до сих пор не опомнится,— как напужал... Выходили волчонка,— ему лихое дело начать... Ждите его на Москве с потешными, тысячи три их, если не более... Жеребцы стоялые... Так я говорю, Сильвестр?

— Ждите от него разорения людям и уязвления православной церкви и крови пролитой — потоки... Когда гороскоп его составлял,— волосы у меня торчком поднялись, слова-то, цифры, линии — кровью набухали... Ей-ей... Давно сказано: ждите сего гороскопа...

Василий Васильевич приподнялся на локте, бледный, землистый...

— Ты не врешь, поп? (Сильвестр потряс наперсным крестом.) Про что говоришь-то?

— Давно мы ждали этого гороскопа,— повторил Медведев до того странно, что у Василия Васильевича лихорадка морозом подрала по хребту. Шакловитый вскочил, загремев серебряными цепочками, подхватил саблю и шапку под мышку.

— Поздно будет, Василий Васильевич... Смотри — торчат нашим головам на кольях... Медлишь, робеешь, — и нам руки связал...

Закрывая глаза, Василий Васильевич проговорил:

— Я вам руки не связываю...

Больше от него не добились ни слова. Шакловитый ушел, за окном было слышно, — бешено пустил коня в ворота. Медведев, подсев к изголовью, заговорил о патриархе Иоакиме: двуличен-де, глуп, слаб. Когда его в ризнице одевают, — митрополиты его толкают, вслед кукиши показывают забавы ради. Надо патриарха молодого, ученого, чтобы церковь цвела в веселье, как вертоград...

— Твою б, князь, корону увила б тем виноградом божественным... (Щекотал ухо сандаловой, розовым маслом напитанной бородой...) Скажем, я, — нет и нет, не отказался бы от ризы патриаршей... Процвели бы... Васька Силин, провидец, глядел с колокольни Ивана Великого на солнце в щель между пальцами и все сие увидал на солнце в знаках... Ты с Силиным поговори... А что про Иоакима, — так ему каждую субботу четыре ведра карасей возят тайно из Преображенского... И он принимает...

Ушел и Медведев. Тогда Василий Васильевич раскрыл сухие глаза. Прислушался. За дверью похрапывал князев постельничий. На дворе по плитам шагали карательные. Взяв свечу, Василий Васильевич открыл за пологом кровати потайную дверцу и начал спускаться по крутой лесенке. Лихорадка трогала ознобом, мысли мешались. Останавливался, поднимал над головой свечу, со страхом глядел вниз, в тьму...

«Отказаться от великих замыслов, уехать в вотчины? Пусть минует смута, пусть без него перегрызутся, перебесятся... Ну, а срам, а бесчестье? То полки водил, скажут, теперь гусей пасет, князь-та, Василий-та... (Дрожала свеча в похолодевшей руке.) За корону хватался, — кур щупает... (Стукнув зубами, сбежал на несколько ступеней.) Что ж это такое, — остается: как хочет Софья, Шакловитый, Милославские?.. Убить! Не его, так — он? А ну как не одолеем? Темное дело, неизвестное дело, неверное дело... Господи, просвети... (Крестит-

ся, прислонясь к кирпичной стене.) Заболеть бы горячкой на это время...»

Спустившись, Василий Васильевич с трудом отодвинул железный засов и вошел в сводчатое подполье, где в углу на кошме лежал колдун Васька Силин, прикованный цепью за ногу...

— Боярин, милостивый, за что ты меня?.. Да уж я, кажется...

— Встань...

Василий Васильевич поставил свечу на пол, плотнее запахнул тулупчик. На днях он приказал взять Ваську Силина, жившего на дворе у Медведева, и посадить на цепь. Васька стал болтать лишнее про то, что берут у него сильненькие люди зелье для прилюбления и пользуются тем зельем наверху того, про кого и сказать страшно, и за это ему дадут на Москве двор и пожалуют гулять безденежно...

— На солнце глядел? — спросил Василий Васильевич...

Васька, бормоча, повалился в ноги, жадно чмокнул в двух местах земляной пол под ногами князя. Опять встал, — низенький, коренастый, с медвежьим носом, лысый, — от переносья густые брови взлетели наискось до курчавых волос над ушами, глубоко засевшие глаза горели неистовым озорством.

— Раненько утром водили меня на колокольню, да в другой раз — в самый полдень. Что видел, не утаю...

— Сумнительно, — проговорил Василий Васильевич, — светило небесное, какие же на нем знаки? Врешь ты...

— Знаки, знаки... Мы привычные сквозь пальцы глядеть, и это вроде как пророчество из меня является, гляжу, как в книгу... Конечно, другие и в квасной гуще видят и в решето против месяца... Умеючи — отчего же... Ах, батюшка, — Васька Силин вдруг сопнул медвежьим носом, раскачиваясь, пронзительно стал глядеть на князя. — Ах, милостивец... Все видел, все знаю... Стоит один царь, длинен, темен, и венец на нем на спине мотается... Другой царь — светел... ах, сказать страшно... три свечи у него в головке... А промеж царей — двое, сцепились и колесом так и ходят, так и ходят,

будто муж и жена. И оба в венцах, и солнце промеж их так и жжет...

— Не понимаю,— чего городишь,— Василий Васильевич, подняв свечу, попятился.

— Все по-твоему сбудется... Ничего не бойся... Стой крепко... А травки мои подсыпай, подсыпай,— вернее будет... Не давай девке покою, горячи ее, горячи... (Василий Васильевич был уже у двери...) Милостивец, цепь-то вели снять с меня... (Он рванулся, как цепной кобель.) Батюшка, пищи вели прислать, со вчерашнего не евши...

Когда захлопнулась дверь, он завыл, гремя цепью, причитывая дурным голосом...

13

Стрелецкие пятидесятники, Кузьма Чермный, Никита Гладкий и Обросим Петров, из сил выбивались, мутили стрелецкие слободы. Входили в избы, зло рвя дверь: «Что, мол, вы тут — с бабами спите, а всем скоро головы пооторвут...» Страшно кричали на съезжем дворе: «Дегтем отметим боярские дворы и торговых людей лавки, будем их грабить, а рухлядь сносить в дуваны... Нынче опять — воля...» На базарных площадях кидали подметные письма и тут же, яростно матерясь, читали их народу...

Но стрельцы, как сырые дрова, шипели, не загорались — не занималось зарево бунта. Да и боялись: «Гляди, сколько на Москве подлого народу, ударь в набат,— все разнесут, свое добро не отобьешь...»

Однажды у Мясницких ворот рано поутру нашли четырех караульных стрельцов — без памяти, проломаны головы, порублены суставы. Приволокли их в Стремянный полк, в съезжую избу. Послали за Федором Левонтьевичем Шакловитым, и при нем они рассказали:

«Стоим у ворот на карауле, боже упаси, не выпивши. А время — заря... Вдруг с пустыря налетают верхоконные и, здорово живешь, начинают нас бить обухами, чеканами, кистенями... Злее всех был один, толстый, в белом атласном кафтане, в боярской шапке. Те уж его

унимали: «Полно-де бить, Лев Кириллович, убьешь до смерти...» А он кричит: «Не то еще будет, заплачу проклятым стрельцам за моих братьев».

Шакловитый, усмехаясь, слушал. Осматривал раны. Взяв в руки отрубленный палец, являл его с крыльца сторонним людям и стрельцам. «Да,— говорил,— видно, будут и вас скоро таскать за ноги...»

Чудно. Не верилось, чтобы вдруг Лев Кириллович стал так баловать. А уж Гладкий, Петров и Чермный разносили по слободам, что Лев Кириллович с товарищами ездят по ночам, приглядываются,— узнают, кто семь лет назад воровал в Кремле, и того бьют до смерти... «Конечно,— отвечали стрельцы смиренно,— за воровство-то по голове не гладят...»

Прошло дня три, и опять у Покровских ворот те же верхоконные с толстым боярином наскочили на заставу, били чеканами, плетями, саблями, поранили многих... Кое-где в полках ударили набат, но стрельцы вконец испугались, не вышли... По ночам с караулов стали убежать. Требовали, чтобы в наряд посылали их не менее сотни и с пушкой... Будто с глазу — совсем осмирнели стрельцы...

А потом пошел слух, что этих верхоконных озорников кое-кого уже признали: Степку Одоевского, Мишку Тыртова, что жил у него в любовниках, Петра Андреевича Толстого, а вот, в белом кафтане, будто бы даже был и не боярин, а подьячий Матвейка Шошин, близкий человек царицы. Руками разводили, — чего же они добиваются этим озорством?

Нехорошо было на Москве, тревожно. Каждую ночь в Кремль посылали наряд человек по пятисот. Возвращались оттуда пьяные. Ждали пожаров. Рассказывали, будто изготовлены хитрого устройства ручные гранаты, и Никита Гладкий тайно возил их в Преображенское, подбросил на дороге, где царю Петру идти, но только они не взорвались. Все ждали чего-то, затаились.

В Преображенском, с приездом Петра, не переставая стреляли пушки. На дорогах стояли за рогатками бритые солдаты с бабьими волосами, в шляпах, в зеленых кафтанцах. Несколько раз бродящий народ, раскричавшись на базаре, собирался идти в Преображенское громить амбары, но, не доходя Яузы, повсюду натыкались

на солдат, и те грозили стрелять. Всем надоело — скорее бы кто-нибудь кого-нибудь сожрал: Софья ли Петра, Петр ли Софью... Лишь бы что-нибудь утвердилось...

Через рогатки по Мясницкой пробирался верхом Василий Волков. На каждом шагу останавливали, он отвечал: «Стольник царя Петра, с царским указом...» На Лубянской площади свет костров озарял приземистую башню, облупленные зубчатые стены, уходящие в темноту к Неглинной. Чернее казалось небо в августовских звездах, гуще древесные заросли за тынами и заборами кругом площади. Поблескивали кресты низеньких церквочек. Множество торговых палаток были безлюдны за поздним временем. Направо, у длинной избы Стремяного полка, сидели люди с секирами.

Волкову было приказано (посылался за пустым делом в Кремль) осмотреть, что делается в городе. Приказал Борис Алексеевич Голицын, — он дневал и ночевал теперь в Преображенском. Сонное житье там кончилось. Петр прискакал с Переяславского озера, как подмененный. О прежних забавах и не заикнуться. На Казанскую, вернувшись домой, он так бесновался, — едва отпоили с уголька... Ближними теперь к нему были Лев Кириллович и Борис Голицын. Постоянно, запершись с ним, шептались, — и Петр их слушал. Потешным войскам прибавили кормовых, выдали новые кушаки и рукавицы, — деньги на это заняли на Кукуе. Без десятка вооруженных стольников Петр не выходил ни на двор, ни в поле. И все будто озирался через плечо, будто не доверял, в каждого вонзался взором. Сегодня, когда Волков сядил на коня, Петр крикнул в окошко:

— Софья будет спрашивать про меня, — молчи... На дыбу поднимут, молчи...

Оглянув пустынную площадь, Волков тронул рысцой... «Стой, стой!» — страшно закричали из темноты. Наперерез бежал рослый стрелец, таща со спины самопал. «Куда ты, тудыть...» — схватил лошадь под уздцы...

— Но, но, постерегись, я царский стольник...

Стрелец свистнул в палец. Подбежали еще пятеро... «Кто таков?..» — «Стольник?» — «Его нам и на-

до...» «Сам залетел...» Окружили, повели к избе. Там при свете костра Волков признал в рослом стрельце Овсея Ржова. Поджался,— дело плохо. Овсей,—не выпуская узды:

— Эй, кто резвый, сбегайте, поищите Никиту Гладкого...

Двое нехотя пошли. Стрельцы поднимались от костра, с завалины съезжей избы, откидывая рогожки, вылезали из телег. Собралось их около полусотни. Стояли не шумно, будто это дело их не касалось. Волков осмелел:

— Нехорошо поступаете, стрельцы... По две головы, что ли, у вас?.. Я везу царский указ— хватаете: это воровство, измена...

— Замолчи,— Овсей замахнулся самопалом.

Старый стрелец остановил его.

— Не трогай, он человек подневольный.

— То-то, что я подневольный. Я царю слуга. А вы кому слуги? Смотрите, стрельцы, не прогадайте. Был хорош Хованский, а что с ним сделали? Были вы хороши, а где столб на Красной площади, где ваши вольности?

— Буде врать, сука!— закричал Овсей.

— Вас жалею. Мало вас Голицын таскал по степям... Подсобляйте ему, подсобляйте, он вас в третий поход поведет... Будете вы по дворам куски просить... (Стрельцы молчали еще угрюмее.) Царь Петр не маленький... Прошло время, когда он вас пужался... Как бы вы его теперь не напужались... Ох, стрельцы,— уймите это воровство...

— И-эх! — вскрикнул кто-то так дико, что стрельцы вздрогнули. Волков захрапел, поднял руки, завалился. Сзади на его коня с бегу прыжком вскочил Никита Гладкий, схватил за шею, вместе с Волковым повалился на землю. Перевернувшись, сел на него, ударил в зубы, сбил шапку, сорвал саблю. Вскочил, загоготал, потрясая саблей,— широколобый, рябой, большеротый.

— Видели,— вот его сабля... Я и царя Петра так же оборву... Бери его, тащи в Кремль к Федору Левонтьевичу...

Стрельцы подняли Волкова, повели с холма вдоль китайгородской стены, мимо усеянных вороньими гнездами ветел, что раскидывались, корявые и древние, по берегу заплесневелой Неглинной, мимо виселиц и колес на шестах. Сзади шел Гладкий, от него несло перегаром. В

Кремль вошли через Кутафью башню. За воротами горели костры. Несколько сот стрельцов сидели вдоль дворцовой стены, валялись на траве, бродили повсюду. Волкова протащили по темному переходу и втокнули в низенькую палату, освещенную лампадами. Гладкий ушел во дворец. У двери стал морщинистый, смиренный караульный. Облокотясь на секиру, сказал тихо:

— Ты не серчай, смотри,— нам ведь самим податься некуда... Прикажут,— бьешь... Голодно, боярин... Четырнадцать душ, семья-то... Раньше приторговывали, а теперь,— что пожалуют, на то и живем... А мы разве воюем против царя Петра... Да владей нами, кто хошь,— вот нынче-то как...

Вошла Софья,— по-девичьему — простоволосая, в черном бархатном летнике с собольим мехом. Хмуро села к столу. За ней — красавец Шакловитый, белозубо улыбаясь. На нем был крапивного цвета стрелецкий кафтан. Сел рядом с Софьей. Никита Гладкий, придурковато,— слуга верный,— отошел к притолоке. Шакловитый вертел в пальцах письмо Петра, вынутое у Волкова из кармана.

— Государыня прочла письмецо, дело пустое. Что же так спешно погнали тебя в ночную пору?

— Разведчик,— сквозь зубы проговорила Софья.

— Мы рады поговорить с тобой, царев стольник... Здоров ли царь Петр? Здорова ли царица? Долго ли думают на нас серчать? (Волков молчал.) Ты отвечай, а то заставим...

— Заставим,— тихо повторила Софья, тяжело, по-мужичьи, глядя на него.

— Довольно ли припасов в потешных войсках? Не терпят ли какой нужды? Государыня все хочет знать,— спрашивал Шакловитый.— А зачем караулы на дорогах ставите,— забавы ради али кого боитесь? Скоро в Москву от вас и проезда не будет... Обозы с хлебом отбиваете,— разве это порядки...

Волков, как приказано, молчал,— опустил голову. Страшно было молчать. Но чем нетерпеливее спрашивал Шакловитый, чем грознее хмурилась Софья, тем упрямее сжимались у него губы. И сам был не рад такому своему озорству. Много накопилось силы, покуда валялся на боку в Преображенском. И сердце ярилось: пытай, на —

пытай, ничего не скажу... Кинься сейчас Шакловитый с ножом,— ремни резать из спины,— нагло бы, весело взглянул ему в глаза. И Волков поднял голову, стал глядеть нагло и весело. Софья побледнела, ноздри у нее раздулись. Шакловитый бешено топнул, вскочил:

— На дыбе отвечать хочешь?

— Нечего мне вам отвечать,— проговорил Волков (сам даже ужаснулся), ногу выставил, плечом повел.— Сами и поезжайте в Преображенское, стрельцов провожатых у вас, чай, хватит...

Со всего плеча Шакловитый ударил его в душу. Волков подавился, попятился и видел, как от стола поднималась Софья, дрожа налитым гневом, толстым лицом.

— Отрубить голову,— сказала она хриповато. Никита Гладкий и караульный поволокли Волкова во двор. «Палачи!» — закричал Никита. Волков повис на руках. Его отпустили, упал ничком. Кое-кто из стрельцов подошел, стали спрашивать: кто таков и за что рубить голову? Посмеиваясь, стали вызывать,— перекличкой через всю темную площадь,— охотника-палача. Гладкий сам потащил было саблю из ножен. Ему сказали: «Стыдно вато, Никита Иваныч, саблю таким делом кровавить». Заругавшись, убежал во дворец. Тогда старик караульный нагнулся, потрогал за плечо окостеневшего Волкова.

— Ступай на здоровье. В ворота не ходи, а беги стеной, да и перелезь где-нибудь...

Костры на Лубянской площади погасли (один еще тлел у избы),— никто не хотел таскать дров, сколько ни шумел Овсей. В темноте многие стрельцы ушли по дворам. Иные спали. Человек пять, отойдя к забору, в тень навесистых лип, разговаривали тихо...

— Гладкий говорил: на Рязанском подворье у Бориса Голицына спрятано шестьдесят чепей гремьчих серебряных... Разделим, говорит, их, продуваем...

— Гладкому дорваться грабить, только он мало кого сманит на это.

— Веры нет: им грабить, а нам отвечать.

— Стольник правильно говорил: как бы мы скоро царя Петра не испужались...

— Недолго и испужаться...

— А эта, царевна-то наша,— одних дарит деньгами, а другие торчи день и ночь в караулах, дома все хозяйство разорено...

— А я бы, ей-ей, ушел без оглядки в потешные войска...

— А ведь он, ребята, одолеет...

— Очень просто...

— Зря мы здесь ждем... Дождемся петли на шею...

Замолчали, обернулись. Со стороны Кремля кто-то подскакивал во весь мах. «Опять Гладкий... Что его, дьявола, носит...» Пьяно загнав коня в костер, Гладкий соскочил, закричал:

— Для чего стрельцы не в сборе? Для чего не посланы на заставы? В Кремле все готовы, а у вас и костры не горят! Спят! Дьяволы! Где Овсей? Послать в слободы! Как ударим на Спасской башне,— всем стать под ружье...

Ругаясь, раскорячивая ноги, Гладкий убежал в избу. Тогда стоявшие под липами сказали друг другу:

— Набат...

— Нынче ночью...

— Не соберут...

— Нет...

— А что, братцы, если... а? (Ближе сдвинулись головами, и чуть слышно):

— А там поблагодарят...

— Само собой...

— И награда и все такое...

— Ребята, а тут дело гиблое...

— Знаем... Ребята, кто пойдет? Двоих бы надо...

— Ну, кто?

— Дмитрий Мелнов, пойдешь?

— Пойду.

— Яков Ладыгин, пойдешь?

— Я-то? Ладно, пойду...

— Добивайтесь — до самого... В ноги, и—так и так... Замышлено-де смертное убийство на тебя, великого государя... Мы-де, как твои слуги верные, как мы хрест целовали...

— Не учи, сами знаем...

— Скажем...

— Идите, ребята...

Воевать с двумя батальонами — Преображенским и Семеновским — и думать не приходилось. Тридцать тысяч стрельцов, жильцы, иноземная пехота, солдатский полк генерала Гордона прихлопнули бы потешных, как муху. Борис Голицын настаивал: спокойно ждать в Преображенском до весны. Скоро — осенняя распутица, морозы, — стрельцов поленом не сгонишь с печи воевать. А весною будет видно... Хуже не станет, думать надо, станет хуже для Софьи и Василия Васильевича: за зиму бояре окончательно перессорятся, начнут перелетать в Преображенское; жалованья стрельцам выдано не будет, — казна пуста. Народ голодает, посады, ремесленники разорены, купечество стонет. Но, буде Софья все же поднимет войска по набату, — нужно уходить с потешными в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен, — место испытанное, можно отсиживаться хоть год, хоть более...

По совету Бориса Голицына из Преображенского тайно послали в Троицу подарки архимандриту Викентию. Борис Алексеевич два раза сам туда ездил и говорил с архимандритом, прося защиты. Каждый день генерал Зоммер устраивал смотры и апробации, — от пушечных выстрелов едва не все стекла полопались во дворце. Но, когда Петр заговаривал про Москву, Зоммер только сопел хмуро в усы: «Что ж, будем защищаться...» Приезжал Лефорт, но не часто, — трезвый, галантный, с боязливой улыбочкой, и вид его более всего пугал Петра... Он не верил уж и Лефорту. Часто среди ночи Петр будил Алексашку, кое-как накидывали кафтаны, бежали проверять караулы. Подолгу стоя в ночной сырости на берегу Яузы, Петр вглядывался в сторону Москвы, — тьма, ни огонька и тишина зловещая.

Вздвогнув от холода, угрюмо звал Алексашку, брел спать.

Только первые ночи по возвращении он спал с женой. Потом приказал стлать себе в дворцовой пристройке, в низенькой, с одним оконцем палате, вроде чулана, — царю на лавке, Алексашке на полу, на кошме. Евдокия очи исплакала, дожидаясь лапушку, — была она брюхатая, на четвертом месяце, — дождалась и опять не

осушала слез. Встречая мужа, хотела бежать на дорогу, да не пустили старухи. Вырвалась, в сенях кинулась к мужу дорогому,— вошел он длинный, худой, чужеватый,— прильнула лицом, руками, грудью, животом... Лапушка поцеловал жесткими губами,— весь пропах дегтем, табаком. Спросил только, проведя быстро ладонью по ее начавшему набухать животу: «Ну, ну, а что же не писала про такое дело»,— и мимолетно смягчилось его лицо. Пошел с женой к матери — поклонился. Говорил отрывисто, непонятно, дергал плечиком и все почесывался. Наталья Кирилловна сказала под конец: «Государь мой Петенька, мыльню с утра уж топим...» Взглянул на мать странно: «Матушка, не от грязи свербит». Наталья Кирилловна поняла, и слезы поползли у нее по щекам.

Только на три ночи Евдокия залучила его в опочивальню,— как ждала, как любила, как надеялась приласкать! Но заробела, растерялась хуже, чем в ночь после венца, не знала, о чем и спросить лапушку. И лежала на шитых жемчугом подушках дура душой. Он вздрагивал, почесывался во сне. Она боялась пошевелиться. А когда он ушел спать в чулан,— со стыда перед людьми не знала, куда девать глаза. Но Петр будто забыл про жену. Весь день в заботах, в беготне, в шептании с Голицыным... Так начинался август... В Москве было зловеще, в Преображенском — всё в страхе, настороже.

16

— Мин херц, а что, если тебе написать римскому цезарю, чтобы дал войско?

— Дурак...

— Это я-то? — Алексашка вскочил на кошме на четвереньки. Подполз. Глаза прыгали.— Очень не глупо говорю, мин херц. И просить надо тысяч десять пеших солдат... Не больше... Ты поговори-ка с Борисом Алексеевичем.

Алексашка присел у изголовья. Петр лежал на боку, подобрал колени, натянув одеяло на голову. Алексашка кусал кожу на губе.

— Денег у нас на это нет, конечно, мин херц... Нужны деньги... Мы обманем... Неужто мы императора не

обманем? Я бы сам слетал в Вену. Эх, и двинули бы по Москве, по стрельцам, ей-ей...

— Иди к черту...

— Ну, ладно... — Алексашка так же проворно лег под тулуп. — Я же не говорю — к шведам ехать кланяться или к татарам... Понимаю тоже. Не хочешь, — не надо... Дело ваше...

Петр заговорил из-под одеяла, неясно, будто сквозь стиснутые зубы:

— Поздно придумал...

Замолчали. В каморке было жарко. Скребла мышь под печью. Издалека доносилось: «Посматривай», — это кричали караульные на Яузе. Алексашка ровно задыхался...

Петра все эти ночи томила бессонница. Только голова начнет проваливаться в подушку, почудится беззвучный вопль: «Пожар, пожар!» И сердце затрепещет, как овечий хвост... Сон — прочь. Успокоится, а ухо ловит, — будто вдалеке в доме за бревенчатыми стенами кто-то плачет... Много было передумано за эти ночи... Вспоминал: хоть и в притеснении и на задворках, но беспечно прошли годы в Преображенском — весело, шумно, бестолково и весьма глупо... Оказался: всем чужой... Волчонок, солдатский кум... Проплясал, доигрался, — и вот уж злодейский нож у сердца...

Снова слетал сон. Петр плотнее скрючивался под одеялом.

...Сестрица, сестрица, бесстыдница, кровожаждающая... Широкобедрая, с жирной шеей... (Вспомнил, как стояла под шатром в соборе.) Мужичье нарумяненное лицо, — мясничиха! Гранаты на дорогу велела подбросить... С ножом подсылает... В поварне вчера объявился бочонок с квасом, хорошо, что дали сперва полакать собаке, — сдохла...

Петр отмахнулся от мыслей... Но гнев сам рвался в височные жилы... Лишить его жизни! Ни зверь, ни один человек, наверно, с такой жадностью не хотел жить, как Петр...

— Алексашка... Черт, спишь, дай квасу...

Алексашка обалдело выскочил из-под тулупа. Почесываясь, принес в ковшике квасу, наперед сам отхлебнув,

подал. Зевнул. Поговорили немного. «Послушивай», — печально, бессонно донеслось издали...

— Давай спать, мин херц...

Петр скинул с лавки голые худые ноги... Теперь не чудилось, — тяжелые шаги торопливо топали по переходам... Голоса, вскрики... Алексашка, в одном исподнем, с двумя пистолетами стоял у двери...

— Мин херц, сюда бегут...

Петр глядел на дверь. Подбегают... У двери — остановились... Дрожащий голос:

— Государь, проснись, беда...

— Мин херц, — это Алешка.

Алексашка откинул щеколду. Тяжело дыша, вошли — Никита Зотов, босой, с белыми глазами; за ним преображенцы, Алексей Бровкин и усатый Бухвостов, втащили, будто это были мешки без костей, двоих стрельцов, — бороды, волосы растрепаны, губы отвисли, взоры блаженные.

Зотов, со страху утративший голос, прошипел:

— Мелнов да Ладыгин, Стремянного полка, из Москвы — прибежали...

Стрельцы с порога повалились — бородами в кошму и закликали истоиво, как можно страшнее:

— О-ой, о-ой, государь батюшка, пропала твоя головушка, о-ой, о-ой... И что же над тобой умышляют, отцом родимым, собирается сила несметная, точат ножи булатные. Гудит набат на Спасской башне, бежит народ со всех концов...

Весь сотрясаясь, мотая слипшимися кудрями, лягая левой ногой, Петр закричал еще страшнее стрельцов, оттолкнул Никиту и побежал, как был, в одной сорочке, по переходам. Повсюду из дверей высовывались, обмирали старушонки.

У черного крыльца толпилась перепуганная челядь. Видели, как кто-то выскочил — белый, длинный, протянул, будто слепой, перед собой руки... «Батюшки, царь!» — со страха иные попадали. Петр кинулся сквозь людей, вырвал узду и плеть из рук караульного офицера, вскочил в седло, не попадая ступнями в стремяна, и, нахлестывая, поскакал, — скрылся за деревьями.

Алексашка был спокойнее: успел надеть кафтан и сапоги, крикнул Алешке: «Захвати царскую одежду, догоняй», — и поскакал на другой караульной лошади за Петром. Нагнал его, мчавшегося без стремян и повода, только в Сокольничьей роще.

— Стой, стой, мин херц!

В роще сквозь высокие вершины блистали осенней ясностью звезды. Слышались шорохи. Петр озирался, вздрагивая, бил лошадь пятками, чтобы опять скакать. Алексашка хватал его лошадь, повторял сердитым шепотом:

— Да погоди ты, куда ты без штанов, мин херц!..

В папоротнике шумно зафырчало, — путаясь крыльями, вылетел тетерев, тенью пронесся перед звездами. Петр только взялся за голую грудь, где сердце. Алексей Бровкин и Бухвостов верхами привезли одежду. Втроем, торопливо, кое-как одели царя. Подскакало еще человек двадцать стольников и офицеров. Осторожно выбрались из рощи. В стороне Москвы мерцало слабое зарево и будто слышался набат. Петр проговорил сквозь зубы:

— В Троицу...

Помчались проселками, пустынными полями на троицкую дорогу. Петр скакал, бросив поводья, — трехухая шляпа надвинута на глаза. Время от времени он ожесточенно хлестал плетью по конской шее. Впереди него и сзади — двадцать три человека. Размашисто били копыта по сухой дороге. Холмы, увалы, осиновые, березовые перелески. Позеленело небо на востоке. Похрапывали лошади, свистел ветер в ушах. В одном месте какая-то тень шарахнулась прочь, зверь ли — не разобрали, — или мужик, приехавший в ночное, кинулся в траву без памяти от страха.

Нужно было поспеть в Троицу вперед Софьи. Занималась заря, желтая и пустынная. Упало несколько лошадей. В ближайшем яме¹ переседлали, не передохнув, поскакали дальше. Когда вдали выросли острые кровли крепостных башен и разгоревшаяся заря заиграла на куполах, Петр остановил лошадь, обернулся, оскалился...

¹ Ям — постоянный двор. Отсюда — ямщик.

Шагом въехал в монастырские ворота. Царя сняли с седла, внесли, полуживого от стыда и утомления, в келью архимандрита.

Случилось то, чего не ждали ни в Москве, ни в Преображенском: Софья не смогла собрать стрельцов, набат на Спасской башне так и не ударили, Москва равнодушно спала в ту ночь. Преображенское было покинуто... Все — Наталья Кирилловна с беременной невесткой, ближние бояре, стольники, домочадцы и челядь и оба потешные полка с пушками, мортирами и боевыми снарядами ушли к Троице.

Когда на другой день Софья стояла обедню в домашней церкви, — сквозь бояр протолкнулся Шакловитый. Был он страшен лицом. Софья изумленно подняла брови. Он с кривой усмешкой наклонился к ней:

— Царя Петра из Преображенского согнали, ушел, бес, в одной сорочке неведомо куда...

Софья подобрала губы, проговорила постно:

— Вольно ж ему, взбесясь, бегать...

Важного будто бы ничего не случилось. Но в тот же день стало известно, что стрелецкий полк Лаврентия Сухарева весь целиком ушел в Троицу, — непонятно, когда его успели сманить и кто, — должно быть, Борис Голицын, давнишний собутыльник Лаврентия. В Москве началось великое шептание. По ночам скрипели ворота, то там, то там выезжала боярская колымага и, громыхая по бревенчатой мостовой, мчалась во весь дух на ярославскую дорогу...

Василий Васильевич Голицын ночи проводил с Медведевым, пытаясь волшебством угадать судьбу свою. А днем бродил во дворце сонный, на все соглашался. Шакловитый метался по полкам. Софья, затаив бешенство, ожидала...

Неожиданно ушел в Троицу с пятисотенниками, сотенниками и частью стрельцов полковник Иван Цыклер, семь лет тому назад вытаскивший из церковного тайника под алтарем брата царицы Ивана Кирилловича. Он был в доверенности у Софьи. И уже, конечно, моля Петра о прощении, раскрыл все царевнины замыслы.

Узнав про Цыклера, Софья растерялась. На кого же положиться теперь, когда такие верные псы уходят? А из Троицы стали прибывать гонцы во все девятнадцать стрелецких полков с грамотами (написанные рукою Бориса Голицына и подписанные наискось, с чернильными брызгами — «Птр»), где приказывалось полковникам и урядникам, не мешкая, ехать к царю Петру для великого государственного дела...

Гонцов били на заставах и грамоты отнимали, но некоторые успели проскочить в полки и прочесть указ. Тогда Софья велела объявить: «Кто осмелится идти к Троице, — тому рубить голову». Полковники сказали на это: «Ладно, не пойдем». Василий Васильевич надумал послать надежных людей к тем стрельчихам, коих мужья перекинулись к Петру, и, пугая, уговорить стрельчих написать мужьям, чтобы вернулись. Так и сделали, но толку от этого вышло мало.

Послали в Троицу патриарха Иоакима — уговорить мириться. Патриарх охотно поехал, но там и остался, даже не отписал Софье. Прибыли новые грамоты от Петра в полки, в гостиные и черные сотни, в слободы и посады... «Без оплошки явиться в Троицкую лавру, если же кто не явится, — тому быть в смертной казни...» Выходило: и тут голова прочь, и там голова прочь летит. Полковники Нечаев, Спиридонов, Норматский, Дуров, Сергеев, пятьсот урядников, множество рядовых стрельцов, выборные от купечества и посадов в великом страхе ушли в Троицу. Царь Петр, стоя на крыльце, одетый в русское платье, — с ним Борис Голицын, обе царицы и патриарх, — жаловал чаркой водки проходящих, и они вопили слезным воплем, прося кончить смуту. В тот же день в Сухаревом полку закричали: «Идемте в Москву ловить злодеев...»

Василий Васильевич сказался больным. Шакловитый, боясь теперь показываться, пребывал в тайных дворцовых покоях. Гладкий с товарищами прятался на подворье у Медведева. В Кремле закрыли все ворота. Выкатили пушки на стены. Софья, не находя места, бродила по опустевшим палатам, — шаги ее были тяжелы, руки сжаты под грудью. Лучше открытый бой, восстание, резня, чем эта умирающая тишина во дворце. Как сон из памяти — уходила власть, уходила жизнь.

Но в городе как будто все было покойно. Шумели, как всегда, площади и базары. По ночам слышались колотушки сторожей, да кричали петухи. Воевать никому не хотелось. Все, казалось, забыли про Софью, одиноко сидевшую за кремлевскими стенами.

Тогда она решилась, и двадцать девятого августа одна с девкой Веркой в карете и с небольшою охраной сама поехала в Троицу.

18

День и ночь пыль стояла над ярославской дорогой, — шли из Москвы пешие и конные, катили колымаги. Перед стенами Троицкой лавры, в посадах и в поле теснились обозы, дымили костры, — шум и драки ежечасно из-за места, из-за хлеба, из-за конского корма. В лавре не ждали такого нашествия, и житницы скоро опустели, стога в полях были растащены. А стрельцов и служилых людей кормить надо было сытно. За кормом посылали отряды в близлежащие села, и там скоро не осталось ни цыпленка. И все же у Троицы тесно было и голодно. Многие высокие бояре жили в палатках, кто на дворе, кто прямо на улице. Царских выходов ждали, сидя прямо на крыльце под солнцепеком, тут же ели всухомятку. Трудно было сменить на эдакую давку и толкучку покойные, — куда и птица чужая не залетит, — московские дворы. Но все понимали, — решается великое дело, меняется власть. Но к добру ли? Будто бы хуже, чем теперь, — некуда: вся Москва, весь народ, вся Россия — в язвах, в рубищах, нищая. По вечерам, сидя у костров, лежа под телегами, люди разговаривали вольно и вволю. Все поля кругом лавры шумели голосами, краснели огнями. Появились откуда-то мужики, знающие волшебство, — подмигивая странно, пересыпали в шапке бобы, присев, раскинув небольшой плат на земле, — кому хочешь разводили бобы: выбросит их в три кучки, проведет перстами и тихо, человечно вещает:

— Чего, мол, хотел, — получишь, о чем думаешь, — не сомневайся, бояться тебе того, кто в лаптях не ходит, овчину не носит, — лицом бел. Мимо третьего двора не ходи, на три звезды не мочись. Дождешься своего — может, скоро, может, нет, аминь. Спасибо не говори, давай из-за щеки деньгу...

Туману напускали волшебные мужики, ползая в потемках между телегами.

— У царевны станова я жила подкосилась,— шептали они,— князь Василий Голицын до первого снега не доживет... Умен, что ушел от них... Царь Петр еще зелен, да за него думают царица и патриарх, они всему делу венец... Они за ядро станут... А самое ядро будет вот какое: боярам не велят в каретах ездить и оставят каждому по одному двору, только чтобы прожить. И гостиные люди и слободские лучшие люди выборные будут ходить во дворец и говорить уверенно: это, мол, сделаете, а этого не надо... Иностранцев выбьют всех из России, и дворы их отдадут грабить. Мужикам и холопам будет воля,— живи, где хочешь, без надсады, без повинностей...

Так говорили волхвы и чародеи, так думали те, кто слушал. Над лаврой непрерывно гудел праздничный перезвон. Храмы и соборы открыты, озарены свечами, суровое монастырское пение слышалось день и ночь.

Чуть свет царь Петр,— по правую руку царица мать, по левую патриарх,— сходили с крыльца стоять службу. После, появляясь перед народом, царица сама подносила новоприбывшим по чарке водки, патриарх, высохший от служб и поста, но приподнятый духом, говорил:

— Боголюбно поступаете, что от воров уходите, царя боитесь,— и сверкивал глазами на Петра. Царь, одетый в русское платье,— в чистых ручках шелковый платочек,— был смирен, голова опущена, лицо худое. Третью неделю в рот не брал трубки, не пил вина. Что говорили ему мать, или патриарх, или Борис Голицын, то и делал, из лавры за стены не выезжал. После обедни садился в келье архимандрита под образа и боярам давал целовать ручку. Скороговорку, таращенье глаз бросил,— благолепно и тихо отвечал и не по своему разуму, а по советам старших. Наталья Кирилловна то и дело повторяла ближним боярам:

— Не знаю, как бога благодарить,— образумился государь-то наш, такой истинный, такой чинный стал...

Из иноземцев близко к нему допускался один Лефорт, и то не на выходы или в трапезную, а по вечерам, не попадаясь на глаза патриарху,— приходил к царю в келью. Петр молча хватал его за щеки, целовал, облегченно вздыхал. Садился близко рядом. Лефорт ломаным

шепотом рассказывал про то и се, смешил и ободрял и между балагурством вставлял дельные мысли.

Он понимал, что Петру мучительно стыдно за свое бегство в одной сорочке, и приводил примеры из «гиштории Брониуса» про королей и славных полководцев, хитростью спасавших жизнь свою... «Один дюк французский принужден был в женское платье одеться и в постель лечь с женщиной, а на другой день семь городов взял... Полководец Нектарий, видя, что враги одолевают, плешью своей врагов устрашил и в бегство обратился, но впоследствии сраму не избежал и плешь рогами украсил, хотя славы и не убавил», — говорит Брониус... Смеясь, Лефорт крепко сжимал закапанные воском руки Петра.

Петр был неопытен и горяч. Лефорт повторял, что прежде всего нужна осторожность в борьбе с Софьей: не рваться в драку, — драка всем сейчас надоела, — а под благодатный звон лавры обещать валившему из Москвы народу мир и благополучие. Софья сама упадет, как подгнивший столб. Лефорт нашептывал:

— Ходи степенно, Петер, говори кротко, гляди тихо, службы стой, покуда ноги терпят, — всем будешь любезен. Вот, скажут, такого господина нам бог послал, при таком-то передохнем... А кричит и дерется пускай Борис Голицын...

Петр дивился разумности сердечного друга Франца. «По-французски называется политик — знать свои выгоды, — объяснял Лефорт. — Французский король Людовик Одиннадцатый, — если мужик ему нужен, — и к подлому мужику заходил в гости, а, когда надо, знаменитому дюку или графу голову рубил без пощады. Не столько воевал, сколько занимался политик, и лисой был и львом, врагов разорил и государство обогатил...»

Чудно было его слушать: танцор, дебошан, балагур, а здесь вдруг заговорил о том, о чем русские и не заикались: «У вас каждый тянет врозь, а до государства никому дела нет: одному прибитки дороги, другому честь, иному — только чрево набить... Народа такого дикого сыскать можно разве в Африке. Ни ремеслов, ни войска, ни флота... Одно — три шкуры драть, да и те худые...»

Говорил он такие слова смело, не боясь, что Петр вступится за Третий Рим... Будто со свечой проникал он

в дебри Петрова ума, дикого, жадного, встревоженного. Уж и огонек лампы перед ликом Сергия лизал зеленое стекло, и за окном затихали шаги дозорных,— Лефорт, рассмешив шуточкой, опять сворачивал на свое:

— Ты очень умный человек, Петер... О, я много шатался по свету, видел разных людей... Тебе отдаю шпагу мою и жизнь... (Любовно заглядывал в карие, выпуклые глаза Петра, такого тихого и будто много лет прожившего за эти дни.) Нужны тебе верные и умные люди, Петер... Не торопись, жди,— мы найдем новых людей, таких, кто за дело, за твое слово в огонь пойдут, отца, мать не пожалеют... А бояре пусть спорят между собой за места, за честь,— им новые головы не приставишь, а отрубить их никогда не поздно... Выжди, укрепись, еще слаб бороться с боярами... Будут у нас потехи, шумство, красивые девушки... покуда кровь горяча,— гуляй,— казны хватит, ты — царь...

Близко шептали его тонкие губы, закрученные усики щекотали щеку Петра, зрачки, то ласковые, то твердые, дышали умом и дебошанством... Любимый человек читал в мыслях, словами выговаривал то, что смутным только желанием бродило в голове Петра...

Наталья Кирилловна не могла надивиться,— откуда у Петруши столько благоразумия? не нарадовалась на его благолепие: мать и патриарха почитает, ближних бояр слушает, с женой спит, в мыльню ходит. Наталья Кирилловна, как роза осенью, расцвела в лавре: пятнадцать лет жила в забросе, и вот снова пихаются локтями великородные князья, чтоб поклониться матушке царице; бояре, окольниковые в уста смотрят, чтоб кинуться за делом каким-нибудь. Обедню стоит на первом месте, первой ей патриарх подносит крест. При выходах народ валится наземь, юродивые, калеки, нищие с воплями словословят ее, тянутся схватить край подола. Голос у Натальи Кирилловны сделался покойный и медленно-речивый, взгляд царственный. В келье у нее на лавках и сундуках, не шевелясь от жары, в выходных шубах сидели бояре: ближайший из людей бывший еще при младенце Петре в поддядьках, Тихон Никитьевич Стрешнев,— на устах блаженная улыбка, бровями занавешены глаза, чтоб люди зря не судили: лукав ли он, умен ли; суровый, рыжий, широкий лицом князь Иван Борисович Троеку-

ров; свояк Петр Абрамович Лопухин,— у него обтянутые скулы горели и голые веки были красны,— до того низенькому, сухому старику не терпелось властвовать; прислонясь к печи, покойно сложив руки, дремал горбоносый, похожий на цыгана, князь Михайла Алегукович Черкасский... В середине месяца прибыл Федор Юрьевич Ромодановский и тоже стал сидеть у царицы, поглаживая усы, ворочая, как стеклянными, выпученными глазами, вздыхал, колыхая великим чревом...

Царица, войдя в келью, называла каждого по имени-отчеству, садилась на простой стульчик, держа в перстах вынутую просфору. Рядом — братец, Лев Кириллович, румяный, тучный, степенный, и бояре не спеша с ними беседовали о государственных делах: как поступить с Софьей, как быть с Милославскими,— кого в ссылку, кого в монастырь и кому из бояр ведать каким приказом...

Борис Алексеевич Голицын редко бывал у царицы,— разве по крайней нужде,— стыдно ему было за двоюродного брата, да и некогда: дни и ночи писал грамоты, переговаривался с Москвой, переманивал полки, вел допросы, хлопотал о корме для войск. Советов ничьих не слушал,— заносчив был и горд хуже Василия. В легких золоченых латах, в итальянском шлеме с красными перьями, роскошный, подвыпивший, закрутив усы, ездил по полкам на горячей, как огонь, кобыле, с гривой и хвостом, переплетенными золотыми шнурами. Наклоняясь с бархатного седла, целовался с новоприбывшими полковниками. Подскакивал, подбоченясь, к стрельцам, валившимся, как скошенная трава, на колени.

— Здорово, молодцы! — сиплым горлом кричал, и багровела пролысина у него на подбородке,— бог вас простит, царь помилует. Распрягайте обоз, варите кашу, вас государь жалует бочкой вина...

— Ин веселый какой Борис-то,— говорили бабам стрельцы в обозе,— знать, тут дело в гору, хорошо, что мы перекинулись...

Борис Голицын ворочал делами один за всех. Бояре и рады были не тревожиться,— в келье у царицы сидеть, думать — спокойнее. Одни Долгорукие, Яков и Григорий, жившие в ковровом шатре на дворе у митрополита, злobiliсь на Бориса: «Семь лет от Василия терпели, а теперь, вишь, Борис на шею садится... Променя-

ли кукушку на ястреба...» Не любил его и патриарх за пьянство с Петром на Кукуе, за латынь, за любовь к иноземщине. Но до времени молчал и патриарх.

Двадцать девятого августа к окованным воротам лавры подскакал стрелец без колпака, кафтан расхлыстан, на пыльном лице видны одни выкаченные белки. Задрал всклокоченный клин бороды к надворотной башне и страшно закричал:

— Государево дело!

Отворили скрипящие ворота. сняли стрельца с загнанной лошади,— здоровый был мужик, но будто бы не мог уж и идти,— до того загорелся, торопившись по государеву делу, и под руки с бережением подвели к Борису Голицыну. Шел, крутил головой. Увидев Бориса на крыльце, рванулся к ножкам князя:

— Софья в десяти верстах, в Воздвиженском...

19

Передовая застава в селе Воздвиженском остановила карету правительницы. Софья приоткрыла стеклянную дверцу и, узнав в лицо некоторых стрельцов, начала их ругать изменниками и хриstopродавцами, грозила кулаком. Стрельцы испугались, поснимали шапки, но, когда карета опять тронулась, перегородили древками бердышей дорогу, схватили лошадей. Тогда испугалась Софья и приказала отвезти себя на какой ни на есть двор.

Мужики и бабы высовывались из калиток, мальчишки влезали на крыши — глядеть, собаки лязгали зубами на карету. Софья откинулась, сидела бледная, упавшая от стыда и гнева. Верка припала к ее ножкам, урод-карла Игнашка, в аршин ростом, в колпаке с соколиными бубенцами, взятый в дорогу скуки ради, плакал морщинистым личиком. Привезли на богатый целовальничий двор. Софья велела, чтобы хозяева все попрятались, и вошла в светлицу, где Верка сейчас же покрыла царскими платами кровать, сундуки, лавки, зажгла лампы, и Софья прилегла. Предчувствие беды сдавило ей голову как железным обручем.

Не прошло и двух часов, послышался конский топот, звяканье сабли о стремя. Не спрашиваясь, будто в ка-

бак, вошел в светлицу стольник Иван Иванович Бутурлин, руки в карманах, колпак заломлен.

— Где царевна?

Верка кинулась к нему, растопыря пальцы, толкая:

— Уйди, уйди, бесстыдник... Да спит она...

— А,—ну, спит, так скажи царевне, чтобы в лавру не ходила...

Софья вскинулась. Глядела на Бутурлина, покуда он не стащил шапки...

— Пойду в лавру... Скажи брату,— приду...

— Дело твое... Только государь приказал, чтобы тебе здесь ждать посла, князя Ивана Борисовича Троекурова, и — покуда он не прибудет — отсюда тебя не пускать...

Бутурлин ушел. Софья опять легла. Верка прикрыла ее шубкой, чтобы не тряслась. Меркло слюдяное окошко в светлице. Слышалось хлопанье пастушьего кнута, мычали коровы, скрипели ворота. И — опять тишина. Позванивали жалобно бубенчики на Игнашкином колпаке, — шутенок уныло сидел на сундуке, свесив ноги. «Уж и этот меня хоронить собрался...» Злоба сотрясала Софью... Достать бы его рукой, — покатылся бы с сундука... Но руки лежали, как свинцовые...

— Верка, — позвала она тихо, низко, — про Ваньку Бутурлина не забудь напомнить, когда буду в лавре...

По руке скользнули холодные Веркины губы. В серых сумерках стала чудиться голая спина Ваньки, скручены посиневшие руки, мелькнуло лезвие, вздулись и опали у него лопатки, на месте головы — пузырь кровавый... Не невежничай!.. Софья сдержанно передохнула.

Послом из Троицы едет Троекуров. Две недели назад его же она послала из Кремля к Петру, — вернулся, ни о чем не договорившись. Софья тогда же в сердцах не допустила его к руке. Оскорбился или струсил? Боярин ума гораздо среднего, только что страшен видом. Софья спустила с постели полные ноги, одернула подол над бархатными башмаками.

— Верка, подай ларец...

Верка поставила на перину окованный ларец, к углу его прилепила восковую свечечку, долго, — так что Софьины плечи сняты сотряслись досадой, — чиркала ог-

нивом... Завонял трут, зажгла бумажку, зажгла свечу, и над огоньком склонилась Софья, обирая со щеки падающие волосы. Перечитывала грамоту больного брата, царя Ивана,— писал он Петру, чтоб помирились, не надо-де больше крови, умолял патриарха о милосердной помощи: подвинуть к любви ожесточенные сердца Петра и Софьи.

Читая, усмехнулась недобро. Но, все равно,— придется пройти и через это унижение. Лишь бы выманить волчонка из Троицы... Задумалась она так крепко, что не слышала, как въехали в ворота. Когда в сенях густой голос Троекурова спросил о ней, Софья схватила с кровати черный плат, накинула на голову и встретила князя стоя. Он, влезши боком в узкую дверь, поклонился — пальцами до полу, выпрямился — медный лицом, высокий до потолка, глаза в тени, только большой нос блестел от огонька свечечки... Софья спросила о здоровье царя и царицы. Троекуров прогудел, что, слава богу, все здоровы. Провел по бороде, скребанул подбородок и так и не спросил о Софьином здоровье. Поняв, она похолодела. И надо бы ей сесть, не унижаться еще дальше, и не села. Сказала:

— Ночевать хочу в лавре, здесь мне голодно, неприютно.— И все силилась проглянуть сквозь тени в его глаза. Гордость ее стонала от того, что ведь вот — боится она, правительница, этого дурака в трех шубах, и от бабьего, забытого страха голова уходит в плечи. Троекуров проговорил:

— Без охраны, без войска напрасно к нам затеяла ехать, царевна... Дороги опасны...

— Не мне бояться: войск у меня поболее, чем у вас...

— Да что в них толку-то...

— Оттого и еду без охраны,— не хочу крови, хочу мира...

— Про какую, царевна, кровь говоришь, крови не будет... Разве вор, бунтовщик Федька Шакловитый с товарищи крови-то все еще жаждут, так мы их и разыщем за это...

— Ты зачем приехал? — сдавленно крикнула Софья... (Он потянул из кармана свиток с красной на шнуре печатью.) — Указ привез? Верка, возьми указ у боярина... А мой указ будет такой: вели лошадей впрячь, ночевать хочу в лавре...

Отстранив Веркину руку, Троекуров развернул свиток и не спеша, торжественно стал выговаривать:

— Указом царя и великого князя всея Великие и Малые и Белые России самодержца велено тебе, не мешкав, вернуться в Москву и там ждать его государевой воли, как он, государь, насчет тебя скажет...

— Пес! — Софья выхватила у него свиток, смяла, швырнула... Черный плат упал с ее головы. — Вернусь со всеми полками, твоя голова первая полетит...

Троекуров, кряхтя, нагнулся, поднял указ и, будто Софья и не бесновалась перед ним, окончил сурово:

— А буди настаивать станешь, рваться в лавру, — велено поступить с тобой нечестно... Так-то!..

Софья подняла руки, ногтями впиалась в затылок и с размаху упала на постель. Троекуров осторожно положил указ на край лавки, опять поскреб в бороде, думая, — как же ему, послу, в сем случае поступить: кланяться или не кланяться? Покосился на Софью, — лежала ничком, как у мертвой торчали из-под юбки ноги в бархатных башмаках. Медленно надел шапку и вытиснулся в дверь, без поклона.

20

«...А что ты мешкаешь в таком великом деле, то нет того хуже...»

Письмо дрожало в руке Василия Васильевича. Придвинув свечу, он всматривался в наспех нацарапанные слова. Снова и снова их перечитывал, силясь уразуметь, собрать мысли свои. Двоюродный брат, Борис, писал: «Полковник Гордон привел к Троице Бутырский полк и был допущен к руке, Петр Алексеевич его обнял и целовал многократно со слезами, и Гордон клялся служить ему до смерти... С ним же прибыли иноземные офицеры и драгуны и рейтары... Кто же остался у вас? Небольшая часть стрельцов, коим лавки свои да промыслы, да торговые бани покидать неохота... Князь Василий, еще не поздно, спасти тебя могу, — завтра будет поздно... Федьку Шакловитого завтра будем ломать на дыбе...»

Борис писал правду. С того дня, как Софью не пустили в лавру, ничем нельзя было остановить бегства из Москвы ратных и служилых людей. Бояре уезжали

среди бела дня, нагло. Неподкупный и суровый воин, Гордон пришел к Василию Васильевичу и показал указ Петра явиться к Троице...

— Глова моя седа, и тело покрыто ранами,— сказал Гордон и глядел, насупясь, собрав морщинами бритые щеки,— я клялся на библии, и я верно служил Алексею Михайловичу, и Федору Алексеевичу, и Софье Алексеевне. Теперь ухожу к Петру Алексеевичу.— Держа руки в кожаных перчатках на рукояти длинной шпаги, он ударил ею в пол перед собой.— Не хочу, чтоб голова моя отлетела на плахе...

Василий Васильевич не противоречил,— бесполезно: Гордон понял, что в споре между Петром и Софьей Софья prosporila. И он ушел в тот же день с развернутыми знаменами и барабанным боем. Это был последний и сильнейший удар. Василий Васильевич уже много дней жил, будто окованный тяжелым сном: видел тщетные усилия Софьи и не мог ни помочь ей, ни оставить ее. Страшился бесславия и чувствовал, что оно близко и неминуемо, как могила. Властью обергателя престола и большого воеводы он мог бы призвать не менее двадцати полков и выйти к Троице — разговаривать с Петром... Но брало сомнение,— а вдруг вместо послушания в полках закричат: «Вор, бунтовщик?..» Сомневаясь,— бездействовал, избегал оставаться с Софьей с глазу на глаз и для того сказывался больным. С верным человеком тайно пересылал в Троицу брату Борису письма полатыни, где просил не начинать военных действий против Москвы, излагал различные способы примирить Софью с Петром и возвеличивал свои заслуги и страдания на царской службе. Все было напрасно. Именно как во сне кто-то, будто видимый и непроглядный, наваливался на него, душа стонала и ужасалась, но ни единым членом пошевелить он был не в силах.

На огонек сгоревшей наполовину восковой свечи налетела муха; упав — закрутилась. Василий Васильевич положил локти на стол, обхватил голову...

Вчера ночью он приказал сыну Алексею и жене Авдотье (жившей давно уже в забросе и забвении) выехать, не мешкая, в подмосковное имение Медведково. Дом опустел. Стабни и крыльца были заколочены. Но сам он медлил. Был день, когда казалось — счастье по-

вернется. Софья, приехав из-под Троицы, рук не умыла, куска не проглотила, — приказала послать бирючей и горланов кликать в Кремль стрельцов, гостинные и суконные сотни, посадских и всех добрых людей. Вывела на Красное крыльцо царя Ивана, — он стоять не мог, присел около столба, жалостно улыбаясь (видно уже, что не жилец). Сама, в черном платке на плечах, с неприбранными волосами, — как была с дороги, — стала говорить народу:

— Нам мир и любовь дороже всего... Грамот наших в Троице не читают, послов выбивают прочь... И вот, помолясь, села я на лошадок да поехала сама — с братцем Петром переговорить любовью... До Воздвиженского только меня и допустили... И там срамили меня и бесчестили, называли девкой, будто я не царская дочь, — не чаю, как жива вернулась... За сутки вот столечко от просфоры только и съела... В селах окрест все пограблено по указам Льва Нарышкина да Бориса Голицына... Они братца Петра опоили... По все дни пьяный в чулане спит... Хотят они идти на Москву с боем, князю Василию голову отрубить. Житье наше становится короткое... Скажите, — мы вам ненадобны, то пойдем с братцем Иваном куда-нибудь подалее искать себе кельи...

Из глаз ее брызнули слезы... Не могла говорить, взяла крест с мощами, подняла над головой. Народ глядел на крест, на то, как царевна громко плакала, как зажмурился, поникнул царь Иван... Поснимали шапки, многие вздыхали, вытирали глаза... Когда царевна спросила: «Не уйдете ли вы к Троице, можно ли на вас надеяться?» — закричали: «Можно, можно... Не выдадим...»

Разошлись. Вспоминая, что говорила царевна, крутили носами. Конечно, в обиду бы давать не следовало, но — как не дашь? Хлеба на Москве стало мало, — обозы сворачивают в Троицу, в городе разбои, порядка нет. На базарах — не до торговли. Все дело стоит, — смута. Надоело. Пора кончать. А что Василий, что Борис Голицын — одна от них радость...

Сегодня тысяч десять народу ввалились в Кремль, махали списками с Петровой грамоты, где было сказано, чтобы схватить смутьяна и вора Федьку Шакловитого с товарищами и в цепях везти в лавру. «Выдайте нам

Федьку!» — кричали и лезли к окнам и на Красное крыльцо, совсем как много лет назад. «Выдайте Микитку Гладкого, Кузьму Чермного, Оброську Петрова, попа Селиверстку Медведева!»... Стража побросала оружие, разбежалась. Челядь, дворцовые бабы и девки, шуты и карлы попрятались под лестницы и в подвалы.

— Выдь, скажи зверям, — не отдам Федора Левонтьевича, — задыхаясь, сказала Софья, потянула Василия Васильевича за рукав к двери... Не помнил он, как и вышел на Красное крыльцо, — жаром, ненавистью, чесночным духом дышал вплоть придвинувшийся народ, кололи глаза выставленные острия копий, сабель, ножей... Он — не помнил, что — крикнул, и задом вполз назад в сени... Сейчас же дверь затрещала под навалившимися плечами... Он увидел белую, с остановившимися, без зрачков, глазами Софью... «Не спасти его, выдавай», — сказал. И дверь с треском раскрылась, повалили люди... Софья спиной прижалась к нему, все тяжелей давило ее тело. Хотел ее подхватить. Воплем, низко, закричала, оттолкнула, побежала... Когда оба стояли в Грановитой палате, слышали дурной крик Федьки Шакловитого... Его взяли в царевниной мыльне.

И все же Василий Васильевич медлил бегством. Дорожная карета с вечера ждала у черного крыльца, домоправитель и несколько старых слуг дремали в сенях. Василий Васильевич сидел перед свечой, сжав голову. Муха с опаленными крыльями валялась кверху лапками. Огромный дом был тих, мертв. Чуть поблескивали знаки зодиака на потолке, и греческие боги сквозь потемки глядели на князя. Живы были лишь сожаления, раздиравшие Василия Васильевича. Не мог понять, почему так все случилось? Кто виноват в сем? Ах, Софья, Софья!.. Теперь он не скрывался от себя, — из запретных тайников вставало тяжелое, нелюбимое лицо неприкрашенной женщины, жадной любовницы, — властная, грубая, страшная... Лицо его славы!

Что он скажет Петру, что ответит врагам? С бабой приспал себе власть, да посрамился под Крымом, да написал тетрадь: «О гражданском бытии или поправлении всех дел, яже надлежит обще народу...» Сорвав с затылка кулаки, он ударил по столу... Стыд! Стыд! От недавней славы — один стыд!

Сквозь щель ставни тускло краснело... Неужели заря? Или месяц кровавый встал над Москвой? Василий Васильевич поднялся, оглянул поблескивающий сумрак сводчатой палаты со знаками зодиака над его головой... Обманули астрологи, волхвы и колдуны... Пощады не будет... Он медленно на самые брови надвинул шапку, положил в карман два пистолета и еще смотрел, как в подсвечнике догорала свеча, — фитилек свалился в растопленный воск, — треща, погас...

На темном дворе засуетились люди с фонарями. Чуть занималась заря сквозь дальнее зарево. Василий Васильевич, садясь в дорожную карету, подал управителю ключ:

— Приведи его...

В карету укладывали чемоданы, сзади привязывали коробья. Вернулся управитель, толкая перед собой гремевшего цепью Ваську Силина. Колдун громко охал, крестился на четыре стороны и на звезды. Челядинцы впили его к Василию Васильевичу под ноги.

— Пускай, с богом! — тихо-важно проговорил кучер. Шестерик застоявшихся сивых вышел крупной рысью на бревенчатую мостовую. Свернули в гору по Тверской. Улицы были еще малолюдны. Коровий пастух играл на рожке, бредя по пыли мимо ворот, откуда с мычанием выходили коровы. На папертях просыпались продрогшие нищие, чесались, переругивались. Кое-где дьячок, зевая, отворял низенькие церковные двери. В переулке кричал мужик: «Лей... лей!» — на возу с углями. Бабы выплескивали на улицу помой, высыпали золу, разинув рот, глядели на мчавшихся снежно-белых коней, на ездовых с павлиньими перьями, подскакивающих в высоких седлах, на зверовидного кучера, державшего в вытянутых ручищах двенадцать белого шелка вожжей; на двух великанов с саблями наголо на запятках кареты. И у бабы ведро валилось из рук, прохожие сдергивали шапки, иные для бережения становились на колени...

В последний раз так-то пролетел по Москве Василий Васильевич. Что будет завтра? Изгнание, монастырь, пытка? Он спрятал лицо в воротник дорожного тулупчика. Казалось — дремал. Но, когда Васька Силин по-

пробовал пошевелиться, князь со всей силой ударил его ногой...

«Во как», — удивился Васька. У князя подергивалась щека под закрытым глазом. Когда выехали на заставу, Василий Васильевич сказал тихо:

— Ложь, воровство, разбой еси твое волхвованье... Пес, страдный сын, плут... Кнутом тебя ободрать — мало...

— Не, не, не сомневайся, отец родной, все, все тебе будет, и — царский венец...

— Молчи, молчи, вор, бл... сын!

Василий Васильевич закинулся и бешено топтал колдуна, покуда тот не заохал...

В версте от Медведкова мужик-махальщик, завидев карету, замахал шапкой, на опушке березовой рощи отозвался второй, на бугре за оврагом. — третий. «Едет, едет!»... Человек пятьсот дворни, на коленях, кланяясь в мураву, встретили князя. Под ручки вынесли из кареты, целовали полы тулупчика... Испуганные лица, любопытные глаза. Василий Васильевич неласково оглянул челядь, — больно уж низко кланяются, торопливы, суетливы... Посмотрел на частые стекла шести окон бревенчатого дома под четырехскатной голландской крышей, с открытым крыльцом и двумя полукруглыми лестницами... Кругом широкого двора — конюшни, погреба, полотняный завод, теплицы, птичники, голубятни...

«Завтра, — подумал, — налетят подьячие, перепишут, опечатают, разорят... Все пойдет прахом...» С важной неторопливостью Василий Васильевич вошел в дом. В сенях кинулся к нему сын Алексей, повадкой и лицом, покрытым первым пухом, похожий на отца. Прильнул дрожащими губами к руке, — нос холодный. В столовой палате Василий Васильевич, словно с досадой, нехотя перекрестился, сел за стол против венецейского зеркала, где отражались струганные стены, в простенках — шпалерные ковры, полки с дорогой посудой... Все пойдет прахом!.. Налил чарку водки, отломил черного хлеба, окунул в солонку и не выпил, не съел, — забыл. Облокотился. опустил голову. Алексей стоял рядом, не дыша, готовый кинуться, рассказать что-то...

— Ну? — спросил Василий Васильевич сурово.

— Батюшка, были уж здесь...

— Из Троицы?

— Двадцать пять человек драгун с поручиком и стольник Волков...

— Вы что сказали?

— Сказали,— батюшка-де в Москве, а сюда и не думает, мол... Стольник сказал: пусть князь поторопится к Троице, коли не хочет бесчестья...

Василий Васильевич криво усмехнулся. Выпил чарку, жевал хлеб и не чувствовал вкуса. Видел, что сын едва себя сдерживает,— плечо повисло, ступни по-рабски — внутрь, половица мелко трясется под ним. Чуть было Василий Васильевич не гаркнул на сына, но взглянул в испуганное лицо, и стало его жаль:

— Не дрожи коленкой, сядь...

— И мне, батюшка, приказали быть с тобой к Троице...

Тогда Василий Васильевич побагровел, приподнялся, но и тут удержала его гордость. Прикрылся ресницами. Налил вторую чарку, отрезал студня с чесноком. Сын торопливо пододвинул уксусницу...

— Собирайся, Алеша,— проговорил Василий Васильевич.— Отдохну,— в ночь выедем... Бог милостив... (Жевал, думал горько. Вдруг испарина выступила на лбу, зрачки забегали.) Вот что надо, Алеша: мужика одного с собой привез... Поди присмотри, чтоб отвезли его под речку, в баню, да заперли бы там, берегли пуще глаза...

Когда Алексей ушел, Василий Васильевич опустил нож с дрожащим на конце его куском студня, ссутулился,— морщинами собралось лицо, оттянулись мешочки под веками, отвалилась губа...

Васька Силин сидел в баньке, на реке под обрывом. Весь день кричал и выл, чтоб дали ему есть. Но безлюдно вокруг шумели кусты, плескалась плотва в речке, спасаясь от щук, да стая скворцов. готовясь к перелету. летала и переливалась крылышками в синеве, что видна была колдуну сквозь волоковое окошко. Утоми-

лись птицы, сели на орешник, защебетали, засвистели, не пугаясь человеческих вздохов...

«Родная моя Полтавщина,— шептал колдун,— черт меня занес в проклятую Московщину! Чтоб вас чума взяла, чтоб вам всем врозь поразойтись, чтоб все города у вас позападали...»

Закатное солнце залило светом узкое окошечко и опустилось за лесные вершины. Васька Силин понял, что есть не дадут, и лег на холодный полк, под голову положил веник. Задремал и вдруг вскинулся, с испугу выставил бороду: на пороге стоял Василий Васильевич. На голове черная треухая шляпа, под дорожным тулупчиком черное иноземное платье, хвостом торчит шпага...

— Что теперь скажешь, провидец? — спросил князь странным голосом.

Сплоховал Васька Силин,— задрожал, затрясся. А понять бы ему, что оставалась еще вера у князя в его провиденье... Схватить бы князя сильно за руку да завопить: «К царю на смертную муку идешь! Иди, не бойся... Четыре зверя когти разжали... Четыре ворона прочь отлетели... Смерть отступилась... Вижу, все вижу...» Вместо этого Васька со страху, с голоду понес околесицу все про те же царские венцы, заплакал, стал просить:

— Отпусти меня, Христа ради, на Полтавщину... От меня ни вреда, ни проносу не будет...

Василий Васильевич бешеными глазами смотрел на него с порога. Вдруг выскочил, привалил дверь из предбанника поленом, навесил замок... Забежал около бани. Васька понял: хворостом заваливает!.. Закричал: «Не надо!»... Князь ответил: «Много знаешь, пропади!»... И дул, покашливая, раздувая трут. Потянуло гарью. Васька схватил шайку, разбил ее о дверь, но двери не выбил. Просунул боком голову в волоковое окошечко, стал кричать,— глотку забило дымом... Хворост, разгораясь, затрещал, зашумел... Между бревен осветились щели. Огонь поднимался гудящей стеной. Васька полез под самый низ полка,— спастись от жара. Скорезжилась крыша. Пылали стены...

В ночном безветрии, гася звезды, полыхало пламя высоко над речкой. И долго еще красноватые тени от шести сивых коней, от черной кожаной кареты, уносившей-

ся к ярославской дороге, летели по жнивьям, то растягивались в глубину сырого оврага, то взлетали на косогоры, то, скользя, ломались на стволах березовой рощи...

— Где горит? Отец... Не у нас ли? — не раз и не два спрашивал Алексей.

Василий Васильевич не отвечал, дремля в углу кареты...

21

На воловьем дворе в подземелье, где в Смутное время были пороховые погреба, теперь — подвалы для монастырских запасов, плотники расчистили место под низкими сводами, утвердили меж кирпичных столбов перекладину с блоком и петлей, внизу — лежащее бревно с хомутом — дыбу, поставили скамью и стол для дьяков, записывающих показания, и вторую, обитую кумачом, скамью для высших, и починили крутую лестницу — из подполья наверх, в каменный амбар, где в цепях второй день сидел Федька Шакловитый.

Розыск вел Борис Алексеевич. Из Москвы, из Разбойного приказа, привезли заплечного мастера, Емельяна Свежева, известного тем, что с первого удара кнутом заставлял говорить. На торговых казнях у столба он мог бить с пощадой, но если бил без пощады, — пятнадцатым ударом пересекал человека до станového хребта.

Допрошено было много всякого народу, иные сами приносили изветы и давали сказки. Удалось взять Кузьму Чермного. Хитростью захватили близкого Софье человека, пристава Обросима Петрова, два раза отбившегося саблей от бердышей и копий. Но Никита Гладкий с попом Медведевым ушли, для поимки их посланы были грамоты во все воеводства.

Очередь дошла до Федора Шакловитого. Вчера на допросе Федька на все обвинения, читаемые ему по изветам, сказкам и расспросам, отвечал с горячностью: «Поклеп, враги хотят меня погубить, вины за собой не знаю...» Сегодня приготовили для него Емельяна Свежева, но он этого не знал и готовился по-прежнему отпираться, что-де бунта не заводил и на государево здорье не умышлялся...

Петр в начале розыска не бывал на допросах, — по вечерам Борис Алексеевич приходил к нему с дьяком, и

тот читал опросные столбцы. Но когда были захвачены Чермный и Петров с товарищами — Огрызковым, Шестаковым, Евдокимовым и Чечеткой, когда заговорили смертные враги, Петр захотел сам слушать их речи. В подполье ему принесли стульчик, и он сел в стороне, под заплесневелым сводом. Уперев локти в колена, положив подбородок на кулак, не спрашивал, только слушал. Когда в первый раз заскрипела дыба и на ней повис, голый по пояс, широкогрудый и мускулистый Обросим Петров, — рябоватое лицо посерело, уши оттянулись, зубы, ощерясь, захрустели от боли, — Петр подался со стулом в тень за кирпичный столб и, не шевелясь, сидел во все время пытки. Весь тот день был он бледен и задумчив. Но раз за разом по привычке и уже не прятался.

Сегодня Наталья Кирилловна задержала его у ранней обедни: патриарх говорил слово, поздравляя с благополучным окончанием смуты. Действительно, — Софья была еще в Кремле, но уже бессильная. Оставшиеся в Москве полки посылали выборных — бить челом царю Петру на прощение и милость, соглашались идти хоть в Астрахань, хоть на рубежи, только бы оставили их живую с семьями и промыслами.

Из собора Петр пошел пешком. На воловьем дворе полно было стрельцов. Зашумели: «Государь, выдай нам Федьку, сами с ним поговорим...» Нагнув голову, торопливо махая руками, он побежал мимо к ветхому амбару, срываясь на ступеньках, спустился в сырую темноту подвала. Запахло кожами и мышами. Пройдя между кулей, мешков и бочек, толкнул низкую дверь. Свеча на столе, где писал дьяк, желто освещала паутину на сводах, мусор на земляном полу, свежие бревна пыточного станка. Дьяк и сидевшие рядом на другой скамье — Борис Алексеевич, Лев Кириллович, Стрешнев и Ромодановский — важно поклонились. Когда опять сели, Петр увидел Шакловитого: он на коленях стоял в шаге от них, кудрявая голова уронена, дорогой кафтан, — в нем его взяли во дворце, — порван под мышками, рубаха в пятнах. Федька медленно поднял осунувшееся лицо и встретил взгляд царя. Понемногу зрачки его расширились, красивые губы растянулись, задрожали будто беззвучным плачем. Весь подался вперед, не сводя с Петра глаз.

Покосился на царя и Борис Голицын, осторожно усмехнулся:

— Прикажешь продолжать, государь?

Стрешнев проговорил сквозь густые усы:

— Вору и ответ умей давать, — а что же мы так-то бьемся с тобой? Государю хочется знать правду...

Борис Алексеевич повысил голос:

— У него один ответ: слов таких не говаривал да дел таких не делывал... А по розыску — на нем шапка горит... Пытать придется...

Шакловитый, будто толкнули его, побежал на коленках в сторону, как мышь, — хотел бы спрятаться за вороха кож, за бочки, воняющие соленой рыбой... И — припал. Замер. Петр шагнул к нему, увидел под ногами толстую бритую Федькину шею. Сунул руки в карманы фляжи. Сел, — важный, презрительный, и — сорвавшимся юношеским голосом:

— Пусть скажет правду...

Борис Алексеевич позвал:

— Емеля...

За дыбой из-за свода вышел длинный, узкоплечий человек в красной рубахе до колен. Шакловитый, должно быть, не ждал его так скоро, — сел на пятки, — голова ушла в плечи, глядел на равнодушное лошадиное лицо Емельяна Свежева, — лба почти что и нет, одни надбровья, большая челюсть. Подошел, как ребенка, поднял Федьку, тряхнув — поставил на ноги. Бережливо и ловко, потянув за рукава, сдернул кафтан, отстегнул жемчугом вышитый ворот; белую шелковую рубаху разорвал пальцем до пупа, сдернул, оголил его до пояса... Федька хотел было честно крикнуть, — вышло хрипло, невнятно:

— Господи, все скажу...

Бояре на скамье враз замотали головами, бородами, щеками. Емельян завел назад Федькины руки, связал в запястьях, накинул ременную петлю и потянул за другой конец веревки. Изумленно стоял Шакловитый. Блок заскрипел, и руки его стали подниматься за спиной. Мускулы напряглись, плечи вздувались, он нагибался. Тогда Емельян сильно толкнул его в поясницу, присев, поддернул. Руки вывернулись из плеч, вознеслись над головой, — Федька сдавленно ахнул, и тело его с раскрытым ртом, расширенными глазами, с ввалив-

шимся животом повисло носками внутрь на аршин над землей. Емельян укрепил веревку и снял с гвоздя кнут с короткой рукояткой...

По знаку Бориса Алексеевича дьяк, воздев железные очки и приблизив сухой нос к свече, начал читать:

— «И далее на расспросе тот же капитан Филипп Сапогов сказал: В «прошлом-де году, в июле, а в котором числе — того не упомнит, приходила великая государыня Софья Алексеевна в село Преображенское, а в то время великого государя Петра Алексеевича в Преображенском не было, и царевна оставалась только до полудня. И с нею был Федор Шакловитый и многие разных полков люди, и Федор взял их затем, чтобы побить Льва Кирилловича и великую государыню Наталью Кирилловну убить же... В то время он, Федор, вышел из дворца в сени и говорил ему, Филиппу Сапогову: «Слушайте, как учинится в хоромах крик...» А того часу царица загоняла словами царевну, крик в хоромах был великий... «Учинится-де крик, будьте готовы все: которых вам из хором станем давать, вы их бейте до смерти...»

— Таких слов не говаривал, Филипп напрасно врет.— выдавил из горла Шакловитый...

По знаку Бориса Алексеевича Емельян отступил, поглядел,— удобно ли? — закинулся, размахнулся кнутом и, падая наперед, ударил со свистом. Судорога прошла по желто-нежному телу Федьки. Вскрикнул. Емельян ударил во второй раз. (Борис Алексеевич быстро сказал: «Три».) Ударил в третий. Шакловитый вопленно закричал, брызгая слюной:

— Пьяный был, говорил спьяну, без памяти...

— «И далее,— когда замолк крик, продолжал дьяк читать,— говорил он Филиппу же про государя Петра Алексеевича неистовые слова: «Пьет-де и на Кукуй ездит, и никакими-де мерами в мир привести его нельзя, потому что пьет допьяна... И хорошо б ручные гранаты украдкой в сени его государевы положить, чтоб из тех гранат убить его, государя...»

Шакловитый молчал. «Пять!» — жестко приказал Борис Алексеевич.

Емельян размахнулся и со страхом опустил трехаршинный кнут. Петр подскочил к Шакловитому, глазами вровень,— так был высок,— глядел в обезумевшие Федь-

кины глаза... Спина, руки, затылок ходуном ходили у него...

— Правду говори, пес, пес... (ухватил его за ребра). Жалеете — маленького меня не зарезали? Так, Федька, так?.. Кто хотел резать? Ты? Нет? Кто?.. С гранатами посылали? Кого? Назови... Почему ж не убили, не зарезали?..

В круглое пятнисто-красное лицо царя, в маленький перекошенный рот Федька забормотал оправдания, — жилы надулись у него от натуги...

— ...одни слова истинно помню: «Для чего, мол, царицу с братьями раньше не уходили?..» А того, чтоб ножом, гранатами, — не было, не помню... А про царицу говорил воровски Василий...

Едва он помянул про Василия Васильевича, со скамьи сорвался Борис Алексеевич, бешено закричал палачу:

— Бей!

Емельян, берегясь не задеть бы царя, полоснул с оттяжкой четырехгранным концом кнута Федьку между лопаток, — разорвал до мяса... Шакловитый завыл, выставляя кадык... На десятом ударе голова его вяло мотнулась, упала на грудь.

— Сними, — сказал Борис Алексеевич и вытер губы шелковым платочком, — отнеси наверх бережно, оботри водкой, смотри, как за малым дитем... Чтобы завтра он говорил...

...Когда бояре вышли из подполья на воловий двор, Тихон Никитьевич Стрешнев спросил Льва Кирилловича на ухо:

— Видел, Лев Кириллович, как князь-та, Борис-та?

— Не-ет... А что?

— Со скамьи-та сорвался... Федьке рот-та заткнуть...

— Зачем?

— Федька-то лишнее сказал, кровь-то одна у них — у Бориса-та, у Василия-та... Кровь-то им дороже, знать, государева дела...

Лев Кириллович остановился как раз на навозной куче, удивился выше меры, взмахнул руками, ударил себя по ляжкам.

— Ах, ах... А мы Борису верим...

— Верь, да оглядывайся...

— Ах, ах...

В курной избе топилась печь, дым стоял такой, что человека было видно лишь по пояс, а на полатах вовсе не видно. Скучно мерцал огонек лучины, шипели угольки, падая в корытце с водой. Бегали сопливые ребятишки с голым пупастым пузом, грязной задницей, то и дело шлепались, ревели. Брюхатая баба, подпоясанная лыковой веревкой, вытаскивала их за руку в дверь: «Пропасти на вас нет, съели меня, оглашенные!»

Василий Васильевич и Алексей сидели в избе со вчерашнего дня, — в монастырские ворота их не пустили: «Великий-де государь велел вам быть на посаде, до случая...» Ждали своего часа. Еда, питье не шло в горло. Царь не захотел выслушать оправданий. Всего ждал Василий Васильевич, по дороге готовился к худшему, — но не курной избы.

Днем заходил полковник Гордон, веселый, честный, — сочувствовал, цыкал языком и, как равного, потрепал Василия Васильевича по коленке... «Нишего, — сказал, — не будь задумшиф, князь Фасилий Фасильевич, перемелется — мука будет». Ушел, вольный счастливец, звякая большими шпорами.

Некого послать проведать в лавру. Посадские и шапок не ломали перед царевниным бывшим любовником. стыдно было выйти на улицу. От вони, от ребячьего писку кружилось в голове, дым ел глаза. И не раз почему-то на память приходил проклятый колдун, в ушах завяз его крик (из окошка сквозь огонь): «Отчини двееерь, пропадешь, пропадешь...»

Поздно вечером ввалился в избу урядник со стражей, закашлялся от дыма и — беременной бабе:

— Стоит у вас на дворе Васька Голицын?

Баба ткнула рваным локтем:

— Вот сидит...

— Велено тебе быть ко дворцу, собирайся, князь.

Пешком, как страдники, окруженные стражей, пошли Василий Васильевич и Алексей через монастырские ворота. Стрельцы узнали, повскакали, засмеялись, — кто шапку надвинул на нос, кто за бородку схватился, кто растопырился похабно.

— Стой веселей... Воевода на двух копытах едет... А где ж конь его? А промеж ног... Ах, как бы воеводе в грязь не упасть...

Миновали позор. На митрополичье крыльцо Василий Васильевич взбежал бегом. Но навстречу важно из двери вышел неведомый дьяк, одетый худо, указательным пальцем остановил Василия Васильевича и, развернув грамоту, читал ее громко, медленно, — бил в темя каждым словом:

— «...за все его вышеупомянутые вины великие государи Петр Алексеевич и Иван Алексеевич указали лишить тебя, князя Василия Голицына, чести и боярства и послать тебя с женой и детьми на вечную ссылку в Каргополь. А поместья твои, вотчины и дворы московские и животы отписать на себя, великих государей. А людей твоих, кабальных и крепостных, опричь крестьян и крестьянских детей, — отпустить на волю...»

Окончив долгое чтение, дьяк свернул грамоту и указал приставу на Василия Васильевича, — тот едва стоял, без шапки, Алексей держал его под руку...

— Взять под стражу и совершить, как сказано...

Взяли. Повели. За церковным двором посадили отца и сына на телегу, на рогожи, сзади прыгнули пристав и драгун. Возчик, в рваном армяке, в лаптях, закрутил вожжами, и плохая лошаденка потащила шагом телегу из лавры в поле. Была ночь, звезды затягивало сыростью.

23

Троицкий поход окончился. Так же, как и семь лет назад, в лавре пересидели Москву. Бояре с патриархом и Натальей Кирилловной, подумав, написали от имени Петра царю Ивану:

«...А теперь, государь братец, настает время нашим обоим особам богом врученное нам царство править самим, понеже есьми пришли в меру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужскими особами в титлах и расправе дел быти не изволяем ..»

Софью без особого шума ночью перевезли из Кремля в Новодевичий монастырь. Шакловитому, Чермному и Обросиму Петрову отрубили головы, остальных воров

били кнутом на площади, на посаде, отрезали им языки, сослали в Сибирь, навечно. Поп Медведев и Никита Гладкий позднее были схвачены дорогобужским воеводой. Их страшно пытали и обезглавили.

Жалованы были награды — землицей и деньгами: боярам по триста рублей, окольников по двести семьдесят, думным дворянам по двести пятьдесят. Стольникам, кои прибыли с Петром в лавру, — деньгами по тридцать семь рублей, кои прибыли вслед — по тридцать два рубля, прибывшим до 10 августа — по тридцать рублей, а прибывающим по 20 августа — по двадцать семь рублей. Городовым дворянам жаловано в том же порядке по восемнадцать, по семнадцать и по шестнадцать рублей. Всем рядовым стрельцам за верность — по одному рублю без землицы.

Перед возвращением в Москву бояре разобрали между собой приказы: первый и важнейший — Посольский — отдан был Льву Кирилловичу, но уже без титула оберегателя. По миновании военной и прочей надобности совсем бы можно было отказаться от Бориса Алексеевича Голицына, — патриарх и Наталья Кирилловна простить ему не могли многое, а в особенности то, что спас Василия Васильевича от кнута и плахи, но бояре сочли неприличным лишать чести такой высокий род: «Пойдем на это, — скоро и из-под нас приказы вышибут, — купчишки, дьяки безродные, иноземцы да подлые всякие люди, гляди, к царю Петру так и лезут за добычей, за местами...» Борису Алексеевичу дали для кормления и чести приказ Казанского дворца. Узнав о сем, он плюнул, напился в тот день, кричал: «Черт с ними, а мне на свое хватит», — и пьяный ускакал в подмосковную вотчину — отсыпаться...

Новые министры, — так начали называть их тогда иноземцы, — выбили из приказов одних дьяков с подьячими и посадили других и стали думать и править по прежнему обычаю. Перемен особенных не случилось. Только в кремлевском дворце ходил в черных соболях, властно хлопал дверями, шепотно стучал каблуками Лев Кириллович вместо Ивана Милославского...

Это были люди старые, известные, — кроме разорения, лихоимства и беспорядка и ждать от них было нечего. В Москве и на Кукуе — купцы всех сотен, откупщи-

ки, торговый и ремесленный люд на посадах, иноземные гости, капитаны кораблей — голландские, ганноверские, английские — с великим нетерпением ждали новых порядков и новых людей. Про Петра ходили разные слухи, и многие полагали на него всю надежду. Россия — золотое дно — лежала под вековой тиной... Если не новый царь поднимет жизнь, так кто же?

Петр не торопился в Москву. Из лавры с войском вышел походом в Александровскую слободу, где еще стояли гнилые срубы страшного дворца царя Ивана Четвертого. Здесь генерал Зоммер устроил примерное сражение. Длилось оно целую неделю, покуда хватило пороху. И здесь же окончилась служба Зоммера, — упал, бедняга, с лошади и покалечился.

В октябре Петр пошел с одними потешными полками в Москву. Верст за десять, в селе Алексеевском, встретили его большие толпы народа. Держали иконы, хоругви, караван на блюдах. По сторонам дороги валялись бревна и плахи с воткнутыми топорами, и на сырой земле лежали, шеями на бревнах, стрельцы, — выборные, — из тех полков, кои не были в Троице... Но голов не рубил молодой царь, не гневался, хотя и не был приветлив.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Лефорт становился большим человеком. Иноземцы, живущие на Кукуе и приезжие по торговым делам из Архангельска и Вологды, отзывались о нем с большим уважением. Приказчики амстердамских и лондонских торговых домов писали о нем туда и советовали: случится какое дело, посылать ему небольшие подарки — лучше всего доброго вина. Когда он за троицкий поход жалован был званием генерала, кукуйцы, сложившись, поднесли ему шпагу. Проходя мимо его дома, многозначительно подмигивали друг другу, говоря: «О да...» Дом его был теперь тесен — так много людей хотело пожать ему руку, перекинуться словечком, просто напомнить

о себе. Несмотря на позднюю осень, начались торопливые работы по надстройке и расширению дома — ставили каменное крыльцо с боковыми подъездами, украшали колоннами и лепными мужиками лицевую сторону. На месте двора, где прежде был фонтан, копали озеро для водяных и огненных потех. По сторонам строили кордегардии для мушкетеров.

По своей воле, может быть, Лефорт и не решился бы на такие затраты, но этого хотел молодой царь. За время троицкого сидения Лефорт стал нужен Петру, как умная мать ребенку: Лефорт с полуслова понимал его желания, стерег от опасностей, учил видеть выгоды и невыгоды и, казалось, сам горячо его полюбил, постоянно был подле царя не за тем, чтобы просить, как бояре, уныло стучая челом в ноги, — деревенек и людишек, а для общего им обоим дела и общих потех. Нарядный, болтливый, добродушный, как утреннее солнце в окошке, он появлялся — с поклонами, улыбочками — у Петра в опочивальне, — и так весельем, радостными заботами, счастливыми ожиданиями — начинался день. Петр любил в Лефорте свои сладкие думы о заморских землях, прекрасных городах и гаванях с кораблями и отважными капитанами, пропахшими табаком и ромом, — все, что с детства мерещилось ему на картинках и печатных листах, привозимых из-за границы. Даже запах от платья Лефорта был не русский, иной, весьма приятный...

Петр хотел, чтобы дом его любимца стал островком этой манящей иноземщины, — для царского веселья украшался Лефортов дворец. Денег, сколько можно было вытянуть у матери и Льва Кирилловича, не жалелось. Теперь, когда в Москве, наверху, сидели свои, Петр без оглядки кинулся к удовольствиям. Страсти его прорвало, и тут в особенности понадобился Лефорт: без него хотелось и не зналось... А что могли присоветовать свои, русские? — ну, соколиную охоту или слепых мужиков — тянуть Лазаря... Тьфу! Лефорт с полуслова понимал его желания. Был он, как лист хмеля в темном пиве Петровых страстей.

Одновременно возобновились работы над стольным градом Прешпургом, — крепостцу готовили для весенних воинских потех. Полки обшивали новым платьем: преоб-

раженцев в зеленые кафтаны, семеновцев в лазоревые, бутырский полк Гордона—в красные. Вся осень прошла в пирах и танцах. Иноземные купцы и промышленники между забавами во дворце Лефорта гнули свою линию...

2

Вновь построенный танц-зал был еще сырой, от жара двух огромных очагов потели высокие полукруглые окна и напротив их на глухой стене—зеркала в виде окон. Свеже натерт воском пол из дубовых кирпичей. Свечи в стенных с зеркалом трехсвечниках зажжены, хотя только еще начинались сумерки. Падал мягкий снежок. Во двор между запорошенными кучами глины и щепок въезжали сани,— голландские — в виде лебедя, расписанные чернью с золотом, русские — длинные, ящиком — с наваленными подушками и медвежьими шкурами, тяжелые кожаные возки— шестерней цугом, и простые извозчичьи сани, где, задрав коленки, смеясь, сидел какой-нибудь иноземец, нанявший мужика за две копейки с Лубянки до Кукуя.

На каменном крыльце, на затоптанных снегом коврах гостей встречали два шута, Томос и Сека, один— в испанской черной епанче до пояса и в соломенной шляпе с вороньими крыльями, другой— турок в двухаршинной рогожной чалме с пришитым наперед свинным ухом. Голландские купцы с особенным удовольствием смеялись над шутом в испанском платье, щелкая его в нос, спрашивали про здоровье испанского короля. В светлых сенях, где дубовые стены были украшены синими фаянсовыми блюдами, гости отдавали шубы и шапки ливрейным гайдукам. В дверях в танц-зал встречал Лефорт в белом атласном, шитом серебром кафтане и парике, посыпанном серебряной пудрой. Гости подходили к жаркому очагу, испивали венгерского, закуривали трубки.

Русские стеснялись немоты (мало кто еще умел говорить по-голландски, английски, немецки) и приезжали позже, прямо к столу. Гости свободно грели у огня зады и ляжки, обтянутые чулками, вели деловые разговоры. Лишь один хозяин летал, как бабочка, покачивая оттопыренными боками кафтана, от гостя к гостю,— знакомил, спрашивал о здоровье, о путешествии,— на удоб-

ном ли остановился дворе, предостерегал от воровства и разбоя...

— О да, мне много рассказывали про русскую чернь,— отвечал гость,— они очень склонны грабить и даже убивать богатых путешественников.

Лесоторговец, англичанин Сидней, говорил сквозь зубы:

— Страна, где население добывает себе пропитание плутовством, есть дурная страна... Русские купцы молятся богу, чтобы он помог им ловчее обмануть, они называют это ловкостью. О, я хорошо знаю эту проклятую страну... Сюда нужно приходить с оружием под полый...

Кукуйский уроженец, небогатый торговец Гамильтон, внук пэра Гамильтона, бежавшего некогда от ужасов Кромвеля в Московию, приблизился почтительно к беседующим.

— Даже имея несчастье родиться здесь, трудно привыкнуть к грубостям и бесчестию русских. Как будто они все одержимы бесом!..

Сидней, оглянув этого выходца, дурно произносившего по-английски, грубо и по-старомодному одетого, презрительно искривил губы, но из уважения к дому все же ответил Гамильтону:

— Здесь мы жить не собираемся. А для крупной оптовой торговли, которую ведем, бесчестие русских мало имеет значения...

— Вы торгуете лесом, сэр?

— Да, я торгую лесом, сэр... Мы приобрели под Архангельском значительную лесную концессию.

Услыхав — лесная концессия,— голландец Ван Лейден приблизил к беседующим головёкое, с испанской острой бородкой, крепко багровое лицо, трущее тремя подбородками по накрахмаленному огромному воротнику.

— О да,— сказал,— русский лес — это хорошо, но сатанинские ветра в Ледовитом океане и норвежские пираты — это плохо.— Открыл рот, побагровел еще гуще, из зажмуренных глазок выдавились две слезы,— захотал...

— Ничего,— ответил высокий, костлявый и желтый Сидней,— мачтовое дерево нам обходится двадцать пять

копеек, в Ньюкестле мы продаем его за девять шиллингов¹... Мы можем идти на риск...

Голландец поцыкал языком: «Девять шиллингов за лесину!» Он приехал в Московию для закупки льняной пряжи, холста, дегтя и поташу. Два его корабля стояли на зимовке в Архангельске. Дела шли вяло, государевы гости — крупные московские купцы, скупавшие товар в казну, — прознали про два корабля и несуразно дорожились, у частных мелких перекупщиков товар никуда не годился. А вот англичанин, видимо, делал хорошее дело, если не врет. Весьма обидно. Покосившись, нет ли поблизости русских, Ван Лейден сказал:

— Русский царь владеет тремя четвертями дегтя всего мира, лучшим мачтовым лесом и всей коноплей... Но это так же трудно взять, как с луны... О нет, сэр, вы много не наживете на вашей концессии... Север пустынен, разве — приучите медведей рубить лес... Кроме того, из трех ваших кораблей, сэр, два утопят норвежцы или шведы, а третий погибнет от плавучих льдов. — Он опять засмеялся, уже чувствуя, что доставил неприятность заносчивому англичанину. — Да, да, эта страна богата, как Новый Свет, богаче Индии, но, покуда ею правят бояре, мы будем терпеть убытки и убытки... В Москве не понимают своих выгод, москвиты торгуют, как дикари... О, если бы они имели гавани в Балтийском море да удобные дороги, да торговлей занимались, как честные бюргеры, тогда бы можно делать здесь большие обороты...

— Да, сэр, — важно ответил Сидней, — я с удовольствием выслушал и согласился с вами... Не знаю, как у вас, но думаю, что у вас так же, как и в нашей Англии, не строят более мелких морских судов... На всех эллингах Англии заложены корабли по четыреста и по пятьсот тонн... Теперь нам нужно в пять раз больше лесу и льняной пряжи. На каждый корабль требуется не менее десяти тысяч ярдов парусного полотна...

— О-оо! — изумленно произнесли все, слушавшие этот разговор.

— А кожа, сэр, вы забыли потребность в русской коже, сэр, — перебил его Гамильтон...

¹ Четыре рубля пятьдесят копеек.

Сидней с негодованием взглянул на невежу. Собрав морщины костлявого подбородка, некоторое время жмурился на огонь.

— Нет,— ответил,— я не забываю про русскую кожу, но я не торгую кожей... Кожу вывозят шведские купцы... Благодаря господу Англия богатеет, и мы должны иметь очень много строительных материалов... Англичане, когда хотели,—имели... И мы будем их иметь...

Он кончил разговор, сел в кресло и, положив толстую подошву башмака на каминную решетку, более не обращал ни на кого внимания... Подлетел Лефорт, таща под руку Алексашку Меншикова. На нем был синий суконный кафтан с красными отворотами и медными пуговицами, огромные серебряные шпоры на ботфортах; лицо, окруженное пышным париком, припудрено, в кружевном галстуке — алмазная булавка, веселые, прозрачной воды глаза без смущения оглянули гостей. Ловко поклонился, зябко повел сильным плечом, стал задом к камину, взял трубку.

— Государь сию минуту изволит быть...

Гости зашептались, те, что поважнее, стали вперед — лицом к дверям... Сидней, не поняв, что сказал Алексашка, слегка даже приоткрыл рот, с изумлением рассматривая этого парня, беззаботно оттеснившего почтенных людей от очага. Но Гамильтон шепнул ему: «Царский любимец, недавно из денщиков пожалован офицерским званием, очень нужный», — и Сидней, собрав добродушные у глаз морщины, обратился к Алексашке:

— Я давно мечтал иметь счастье увидеть великого государя... Я всего только бедный купец и благодарю нашего господина за неожиданный случай, о котором буду рассказывать моим детям и внукам...

Лефорт перевел, Алексашка ответил:

— Покажем, покажем,— и смехом открыл белые ровные зубы.— А пить и шутить умеешь,— так и погуляешь с ним на доброе здоровье. Будет, что внукам рассказывать... (Лефорту.) Спроси-ка его — чем торгует? А, лесом... Мужиков, чай, приехал просить, лесорубов?... (Лефорт спросил, Сидней с улыбкой закивал.) Отчего ж, если государь даст записку ко Льву Кирилловичу... Пушай похлопочет...

В дверях неожиданно появился Петр в таком же, как на Алексашке, преображенском кафтане, — узком в плечах и груди, — весь запорошенный снегом. На разруганных щеках вдавились ямочки, рот поджат, но темные глаза смеялись. Снял треухую шляпу, топнул, отряхивая снег, прямоносыми, выше колен, грубыми сапогами.

— Гутен таг, мейне хершафтен, — проговорил юношеским баском. (Лефорт уже летел к нему, перегнувшись, одна рука вперед, другая коромыслом — на отлете.) Есть зело хочется... Идем, идем к столу...

Подмигнув затаившим дыхание иноземцам, он повернулся, — сутуловатый, вышиною чуть не в дверь, — и через сени прошел в шпейзезал — столовую палату...

3

У гостей уже покраснели лица и съехали на сторону парики. Алексашка, сняв шарф, отхватил трепака и опять пил, только бледнее от вина. Шуты, притворяясь, более других пьяными, прыгали в чехарду, задевали бычьими пузырями с сухим горохом по головам гостей. Говорили все враз. Свечи догорели до половины. Скоро должны были съезжаться кукуйские дамы для танцев.

Сидней, прямой и сдержанный, но с покрасневшими и косящими глазами, говорил Петру (Гамильтон переводил, стоя за их стульями):

— Скажите, сэръ, его величеству вот что: мы, англичане, полагаем, что счастье нашей страны в успехах морской торговли... Война — дорогая и печальная необходимость, но торговля — это благословение господне...

— Так, так, — поддакнул Петр. Его веселили шум и споры и в особенности странные эти рассуждения иностранцев о государстве, о торговле, пользе и вреде... О счастье! Чудно! — Ну, дальше, дальше говори, слушаю...

— Его величество король Англии и почтенные лорды никогда не утвердят ни один билль, если только он может повредить торговле... И поэтому казна его величества полна... Английский купец — уважаемое лицо в стране. И мы все готовы пролить кровь за Англию и нашего короля... Пусть его величество молодой государь не сердится, если я скажу, что в России много дурных

и не полезных законов. О, хороший закон — это великая вещь! И у нас есть суровые законы, но они нам полезны, и мы их уважаем...

— Черт те что говорит! — смеясь, Петр опрокинул высокий кубок на птичьей ножке. — Поговорил бы он так в Кремле... Слышь, Франц, обморок бы там их хватил... Ну, хорошо, назови, что у нас плохо? Гамильтон, переведи...

— О, это очень серьезный вопрос, я нетрезвый, — ответил Сидней. — Если его величество позволит, я завтра мог бы, вполне владея своим разумом, рассказать про дурные русские обычаи, а также — отчего богатеет государство и что для этого нужно...

Петр вытаращился в его окосевшие, чужезумные глаза. Показалось, — уж не смеется ли купец над дураками русскими? Но Лефорт, быстро перегнувшись к плечу, шепнул:

— Послушать будет любопытно, — сие философия, как обогатить страну.

— Ладно, — сказал Петр, — но пусть назовет, что у нас гадкое?

— Хорошо. — Сидней передохнул опьянение. — По пути к нашему любезному хозяину я проезжал по какой-то площади, где виселица, там небольшое место расчищено от снега, и стоит один солдат.

— За Покровскими воротами, — подсев со стулом, подсказал Алексашка.

— Так... И вдруг я вижу, — из земли торчит женская голова и моргает глазами. Я очень испугался, я спросил моего спутника: «Почему голова моргает?» Он сказал: «Она еще живая. Это русская казнь, — за убийство мужа такую женщину зарывают в землю и через несколько дней, когда умрет, вешают кверху ногами...»

Алексашка ухмыльнулся: «Гы!» Петр взглянул на него, на нежно улыбающегося Лефорта.

— А что? Она же убила... Так издавна казнят... Миловать разве за это?

— Ваше величество, — сказал Сидней, — спросите у этой несчастной, что довело ее до ужасного злодеяния, и она наверно смягчит ваше добродетельное сердце... (Петр усмехнулся.) Я кое-что слышал и наблюдал в России. О, взор иностранца остер... Жизнь русской жен-

щины в теремах подобна жизни животных... (Он провел платком по вспотевшему лбу, чувствуя, что говорит лишнее, но гордость и хмель уже развязали язык.) Какой пример для будущего гражданина, когда его мать закопана в землю, а затем бесстыдно повешена за ногу! Виллиам Шекспир, один из наших сочинителей, трогательно описал в прекрасной комедии, как сын богатого итальянского купца из-за любви к женщине убил себя ядом... А русские бьют жен кнутами и палками до полусмерти, это даже поощряется законом... Когда я возвращаюсь в Лондон, в мой дом, — моя почтенная жена с доброй улыбкой встречает меня, и мои дети кидаются ко мне без страха, и в моем доме я нахожу мир и благодать... Никогда моей жене не придет в голову убивать меня, который с ней добр.

Англичанин, растроганный, замолк и опустил голову. Петр схватил его за плечо.

— Гамильтон, переведи ему... (И громко, в ухо Сиднею, стал кричать по-русски.) Сами все видим... Мы не хвалимся, что у нас хорошо. Я говорил матери, — хочу за границу послать человек пятьдесят стольников, кто поразумнее — учиться у вас же... Нам аз, буки, ве-ди — вот с чего надо учиться... Ты в глаза колешь, — дики, нищие, дураки да звери... Знаю, черт! Но погоди, погоди...

Он встал, отшвырнул стул по дороге.

— Алексашка, вели — лошадей.

— Куда, мин херц?

— К Покровским воротам...

4

Медленно голова подняла веки... Нет смерти, нет... Земляной холод сдавил тело... Не прогреть землю... Не пошевелиться в могиле... По самые уши закопали... (Мягкий снежок падал на запрокинутое лицо.) Хоть бы опять тошнота заволочла глаза, — не было бы себя так жалко... Звери — люди, ах — звери...

...Жила девочка, как цветочек полевой... Даша, Дашенька, — звала мама родная... Зачем родила меня?.. Чтоб люди живую в землю закопали... Не виновата я... Видишь ты меня, видишь?..

...Голова разлепила губы, сухим языком позвала: «Мама, маманя, умираю...» Текли слезы. На ресницы садились снежины...

...Позади головы на темной площади скрипела кольцом веревка на виселице... И умрешь— не успокоишься,—тело повесят... Больно, больно, земля навалилась... В поясницу комья впились... Ох, боль, вот она — боль!.. (Голова разинула рот, запрокинулась.) «Господи, защити... Маманя, скажи ему, маманя... Я не виновата... В беспамяти убила... Собака же кусает... Лошаденка и та...» Нечем кричать. До изумления дошла боль. Расширились глаза, померкли. Голова склонилась набок...

...Опять... Снежок... Еще не смерть... Третий день скоро... Ветер, ветер скрипит веревкой... «Корова, чай, третий день не доенная. Это что—свет красный?.. Ох, страшно... Факелы... Сани... Люди... Идут сюда. Еще муки?» Хотела забить ногами— земляные горы сдавили их,—пальчиком не сдвинуть.

— Где она, не вижу,—громко сказал Петр.— Собаки, что ли, отъели?

— Караульный! Спишь? Эй, сторож!— закричали люди у саней.

— Здеееесь! — ответил протяжный голос,— сквозь падающий снег бежал сторож, путаясь в бараньем тулупе... С ходу — мягко, по-медвежьи — упал Петру в ноги, поклонясь, остался на коленях...

— Здесь закопана женщина?

— Здесь, государь-батюшка...

— Жива?

— Жива, государь...

— За что казнили?

— Мужа ножом зарезала.

— Покажи...

Сторож побежал, присел и краем тулупа угодливо смахнул снег с лица женщины, со смерзшихся волос.

— Жива, жива, государь, мыргает...

Петр, Сидней, Алексашка, человек пять Лефортовых гостей подошли к голове. Два мушкетера, поблескивая железными касками, высоко держали факелы. Из снега большими провалившимися глазами глядело на людей белое, как снег, плоское лицо.

— За что убила мужа? — спросил Петр.

Она молчала.

Сторож валенком потрогал ей щеку.

— Сам государь спрашивает, дура.

— Что ж, бил он тебя, истязал? (Петр нагнулся к ней.) Как звать-то ее? Дарья... Ну, Дарья, говори, как было...

Молчала. Хлопотливый сторож присел и сказал ей в ухо:

— Повинись, может помилуют... Меня ведь подводишь, бабочка...

Тогда голова разинула черный рот и хрипло, глухо, ненавистно:

— Убила... И еще бы раз убила его, зверя...

Закрыла глаза. Все молчали. С шипеньем падала смола с факелов. Сидней быстро заговорил о чем-то, но переводчика не оказалось. Сторож опять ткнул ее валенком, — мотнулась, как мертвая. Петр резко кашлянул, пошел к саням... Негромко сказал Алексашке:

— Вели застрелить...

5

Молчаливый и прозябший, он вернулся в ярко освещенный дом Лефорта. Играла музыка на хорах танц-зала. Пестрые платья, лица, свечи — удваивались в зеркалах. Сквозь теплую дымку Петр сейчас же увидел русоволосую Анну Монс... Девушка сидела у стены, — задумчивое лицо, опущены голые плечи.

В эту минуту музыка, — медленный танец, — протянула с хор медные трубы и пела ему об Анхен, об ее розовом пышном платье, о невинных руках, лежавших на коленях... Почему, почему неистойвой печалью разрывалось его сердце? Будто сам он по шею закопан в землю и сквозь вьюгу зовет из невозможной дали любовь свою...

Глаза Анны дрогнули, увидели его в дверях раньше всех. Поднялась и полетела по вощеному полу... И музыка уже весело пела о доброй Германии, где перед чистыми, чистыми окошечками цветет розовый миндаль, добрые папаша и мамаша с добренькими улыбками глядят на Ганса и Гретель, стоящих под сим миндалем, что означает — любовь навек, а когда их солнце склонится

за ночную синеву,— с покойным вздохом оба отойдут в могилу... Ах, невозможная даль!..

Петр обхватил теплую под розовым шелком Анхен и танцевал молча и так долго, что музыканты понесли не в лад...

Он сказал:

— Анна?

Она доверчиво, ясно и чисто взглянула в глаза.

— Вы огорчены сегодня, Петер?

— Аннушка, ты меня любишь?

На это Анна только быстро опустила голову, на шее ее была повязана бархатка... Все танцующие и сидящие дамы поняли и то, что царь спросил, и то, что Анна Монс ответила. Обойдя круг по залу, Петр сказал:

— Мне с тобой счастье...

6

Патриарха ввели под руки. Благословляя старую царицу с братом и бояр, сурово совал в губы костяшками схимничьей руки. Царя Петра все еще не было. Иоаким сел на жесткий стул с высокой спинкой и низко склонился, клобук закрыл ему лицо. Лучи солнца били из глубоких оконниц под пестрыми сводами Грановитой палаты. Все молчали, сложив руки, потупив глаза. Покой лишь возмущался крылатой тенью от голубя, садившегося снаружи на оснеженную оконницу. Жар шел от синей муравленой печи, пахло ладаном и воском. Было первым и важнейшим делом — так сидеть в благолепном молчании, хранить чин и обычай. Об эту незыблемость пусть разбиваются людские волны — суета сует. Довольно искушений и новшеств. Оплот России здесь,— пусть победнее будем, да истинны... А в остальном бог поможет...

Молчали, ожидали прибытия государя. Наталья Кирилловна благочестиво вздремнула,— располнела за последние месяцы, стала рыхла здоровьем. Стрешнев осторожно, кряхтя, поднял четки, упавшие с ее колен на ковер. В палате при Софье стояли часы башенкой. Их велено было убрать,— раздражали тиканьем, да и сказано: «Никто же не веси часа...» Время считать—себя обманывать. Пусть его помедленней летит над Россией, потише...

В сенях захлопали двери, морозные голоса разрушили томную тишину, царица, сдержав зевок, перекрестила

рот. Рында, тихий отрок, смиренно доложил о прибытии. Бояре не спеша сняли горлатные шапки. Наталья Кирилловна сморщилась, глядя на дверь, но, слава богу, Петр был в русском платье, еще за дверью сдержал смех и вступил весьма достойно... «Ноги журавлиные, трудно ему, голубчику, чинно-то», — подумала царица, просияв приветом. Он подошел под благословение патриарха, спросил про здоровье больного брата...

Ему спешно нужны были деньги, поэтому и приехал послушно по письму матери слушать Иоакима. Сел на трон и, будто в пуховики, погрузился в дремотную тишину палаты, облокотясь, прикрывал рот ладонью — на случай, если подкрадетсЯ зевота.

Иоаким вынул из-под черной мантии тетрадь, — рука его по-старчески тряслась, — медленно перевернул страницу, возвел глаза, надолго прижал персты к осьмиконечному кресту на клобуке, перекрестясь, начал читать негромко, вязко, с медленной оскоминой:

— ...Не тщитесь тем, что, изведя крамолу, привели в мир люди и веси... Скорбит душа моя, не видя единомыслия и процветания в народах. Град престольный! — безместные чернецы и черницы, попы и дьяконы, бесчинно и неискусно, а также гулящие разные люди, — имя им легион, — подвязав руки и ноги, а иные и глаза завеся и зажмуря, шатаются по улицам, притворным лукавством просят милостыни... Это ли вертоград процветший? И далее вижу я, — в домах пьянство, сновиденье и волшебство и блуд кромешный. Муж вырывает жене волосы и нагую гонит за ворота, и жена убивает мужа, и чада, как безумные, растут подобно сорной траве... Это ли вертоград процветший?.. И далее вижу я, — боярский сын, и ремесленник, и крестьянин беруг кистень и, зажгя дворы свои, уходят в леса свирепства своего ради. Крестьянин, где твоя соха? Торговец, где твоя мера? Сын боярский, где твоя честь?

Так он читал о бедствиях, творящихся повсеместно. У Петра пропала зевота. Наталья Кирилловна, страдая, взглядывала то на сына, то на бояр, они же, как полагалось, уставя брады, безмолствовали. Все знали, — дела государства весьма плохи. Но как помочь? Терпеть — только... Иоаким читал:

— Мы убогим нашим умишком порешили сказать вам, великим государям, правду... До того времени не будет порядка и изобилия в стране, покуда произрастают в ней безбожие и гнусные латинские ереси, лютеранские, кальвинские и жидовские... Терпим от грехов своих... были Третьим Римом, стали вторым Содомом и Гоморрою... Великие государи, надобно не давать иноверцам строить свои мольбища, а которые уже построены — разорить... Запретить, чтобы в полках проклятые еретики были начальниками... Какая от них православному воинству может быть помощь? Только божий гнев наводят... Начальствуют волки над агнецы! Дружить запретить православным с еретиками... Иностранных обычаев и в платье перемен никаких не вводить... А понемногу оправившись да дух православия подымя, иноземцев выбить из России вон и немецкую слободу, геенну, прелесть, — сжечь!..

Глаза пылали у патриарха, тряслось лицо, тряслась узкая борода, лиловые руки. Бояре потупились, — слишком уж резко Иоаким взял, нельзя в таком деле — наотмашь...

У Ромодановского глаза пучились, как у рака. Наталья Кирилловна, не поняв ничего, и по конце чтения продолжала кивать с улыбкой. Петр завалился на троне, выпятил губы, как маленький. Патриарх спрятал тетрадь и, проведя пальчиками по глазам:

— Начнем великое дело с малого... При Софье Алексеевне по моей слезной просьбе схвачен на Кукуе пакостный еретик Квирин Кульман... На допросе сказал: «Явился-де ему в Амстердаме некто в белых ризах и велел идти в Москву, там-де погибают в мраке безверия... (Иоаким несколько помолчал от волнения.) И вы, — говорил он на допросе, — слепы: не видите, — моя голова в сиянии и устами говорит святой дух...» И приводил тексты из прелестных учений Якова Бема и Христофора Бартута¹... А сам, между прочим, соблазнил на Москве девку Марью Селифонтову, одел ее, — страха ради, — в мужское платье, и живет она у него в чулане... По вся дни оба пьяны, на скрипке и тарелках играют, он высо-

¹ Яков Бёме и Христофор Бартута — авторы мистических сочинений.

вывається в окошко и кричит бешеным голосом, что на него накатил святой дух... И пришедшим к нему пророчит и велит целовать себя в низ живота... Господи, как минуту спокойным быть, когда здесь уже сатана ликует!.. Прошу великих государей указом вершить Квирина Кульмана, — сжечь его живым с книгами...

Все повернули головы к Петру, и он понял, что дело с Квириным Кульманом давно приговорено. Он прочел это в спокойных глазах матери. Один Ромодановский неодобрительно шевелил усами. Петр сел прямо, рука потянулась — грызть ноготь. Так в первый в жизни раз от него потребовали государственного решения. Было страшно, но уже гневный холодок подступил к сердцу. Вспомнил — недавние разговоры у Лефорта, полные достоинства умные лица иностранцев... Вежливое презрение... «Россия слишком долго была азиатской страной, — говорил Сидней (на следующий день), — у вас боятся европейцев, но для вас нет опаснее врагов, чем вы сами...» Вспомнил, как было стыдно слушать... (Велел тогда подарить Сиднею соболью шубу, и — чтобы к Лефорту более не ходил, ехал бы в Архангельск.) А что сказал бы англичанин, слушая эти речи? Срыть кирки и костелы в слободе? Вспомнил — летом в раскрытые окна доносилось дребезжание колокола на немецкой кирке... В этом раннем звоне — честность и порядок, запах опрятных домиков на Кукуе, кружевная занавеска на окне Анны Монс... Ты и ее тоже бы сжег, живой мертвец, черный ворон! Кучи пепла оставил бы на Кукуе! (Теперь уже Петр жег глазами патриарха.) Но сильнее гнева (не Лефортовы ли уроки?) — поднялись упорство и хитрость. Ладно, — бояре-правители, — бородачи! Накричать на них было недолго, — повалятся на ковер мордами, расплечется матушка, уткнется патриарх носом в колени, а сделают все-таки по-своему, да еще и с деньгами поприжмут...

— Святейший отец, — сказал Петр с приличным гневом (у Натальи Кирилловны изумленно поднялись брови), — горько, что нет между нами единомыслия... Мы в твое христианское дело не входим, а ты в наше военное делоходишь... Замыслы наши, может быть, великие, — а ты их знаешь? Мы моря хотим воевать... Полагаем счастье нашей страны в успехах морской торговли.

Сие — благословение господне... Мне без иноземцев в военном деле никак нельзя... А попробуй — тронь их кирки да костелы, — они все разбегутся... Это что же... (Он стал глядеть на бояр поочередно.) Крылья мне подшибаете?

Удивились бояре, что Петр говорил столь мужественно. «Ого, — переглянулись, — вот какой!.. Крутенок!..» Ромодановский кивал: «Так, так, истинно». Патриарх подался сухим носом к трону и крикнул с великой страстью:

— Великий государь! не отымай у меня сатанинского еретика Квирина Кульмана...

Петр насупился. Чувствовал — в этом надо уступить бородачам... Наталья Кирилловна пролепетала: «Государь-батюшка», — и ладони сложила моляще... Покосился на Ромодановского, — тот слегка развел руками...

— До Кульмана нам дела нет, — сказал Петр, — отдаю его тебе головой. (Патриарх сел, изнеможенно закрыл глаза.) А теперь вот что, бояре, — нужно мне восемь тысяч рублей на военные да на корабельные надобности...

...Выходя из дворца, Петр взял к себе в сани Федора Юрьевича Ромодановского и поехал к нему на двор, на Лубянку, обедать.

7

Из деревни Мытищи в кремлевский дворец привезли бабу Воробьюху для молодой царицы. Евдокия до того ей обрадовалась, — приказала бабу прямо из саней вести в опочивальню. Царицына спальня помещалась в верхней бревенчатой пристройке, — в два слепенькие окошечка, занавешенные от солнца. На жаркой лежанке бесменно дремала в валенках и в шубейке баба-повитуха. У Евдокии вот-вот должны были начаться роды, и уже несколько дней она не вставала с лебяжьих перин. Конечно, хотелось бы передохнуть от душного закута, — прокатиться в санках по снежной Москве, где сизые дымы, низкое солнце, плакучие серебряные ветви из переулков задевают за дугу... Но старая царица и все женщины вокруг, — боже упаси, какое там катанье! Лежи, не шевелись, береги живот, — царскую ведь плоть носишь... Дозволено было только слушать сказки с божест-

венным окончанием... Плакать — и то нельзя: младенец огорчится...

Воробьиха вошла истово, но бойко. Баба была чистая, в новых лаптях, под холщовой юбкой носила для аромату пучок шалфею. Губы мягкие, взор мышиный, лицо хоть и старое, но румяное, и говорила — без умолку... С порога зорко оглядела, все заметила, упала перед кроваткой и была пожалована: молодая царица протянула ей влажную руку.

— Сядь, Воробьиха, рассказывай... Расскучай меня...

Воробьиха вытерла чистый рот и начала с присказки про дед да бабу, про поповых дочек, про козла — золотые рога...

— Постой, Воробьиха, — Евдокия приподнялась, глядя, дремлет ли повитуха, — погадай мне...

— Ох, солнце красное, не умею...

— Врешь, Воробьиха... Никому не скажу, погадай, хоть на бобах...

— Ох, за эти бобы-то — шкуру кнутом ныне спускают... На толочке разве, — на святой воде его замешать жидко?

— Когда начнется у меня? Скоро ли? Страшно... По ночам сердце мрет, мрет, останавливается... Вскинусь — жив ли младенец? О господи!

— Ножками бьет? В кое место?

— Бьет вот сюда ножкой... Ворочается. — будто коленочками да локотками трется мягко...

— Посолонь поворачивается али напротив?

— И так и эдак... Игреливый...

— Мальчик.

— Ох, верно ли?..

Воробьиха, умильно щуря мышиные глаза, прошептала:

— А еще о чем гадать-то? Вижу, краса неопишная, затаенное на уста просится... Ты — на ушко мне, царица...

Евдокия отвернулась к стене, порозовело ее лицо с коричневыми пятнами на лбу и висках, с припухшим ртом...

— Уродлива стала я, что ли, — не знаю...

— Да уж такой красы, такой неопишной...

— А ну тебя... — Евдокия обернулась, карие глаза —

полны слез.— Жалеет он, любит? Открой... Сходи за то-
локом-то...

У Воробьихи оказалось все при себе, в мешке: глиня-
ное блюдо, склянка с водой и темный порошок... (Шеп-
нула: «Папоротниково семя, под Ивана Купала взято».)
Замешала его, поставила блюдо на скамеечку у кроват-
ти, с невнятным приговором взяла у Евдокии обручаль-
ное кольцо, опустила в блюдо, велела глядеть.

— Затаенное думай, хочешь вслух, хочешь так... От-
чего сомнение-то у тебя?

— Как вернулся из лавры,— переменялся,— чуть
шевелила губами Евдокия.— Речей не слушает, будто
я дура последняя... «Ты бы чего по гиштории почитала...
По-голландски, немецки учись...» Пыталась,— не пони-
маю ничего. Жену-то, чай, и без книжки любят...

— Давно вместе не спите?

— Третий месяц... Наталья Кирилловна запрети-
ла,— боится за чрево...

— В колечко в самое гляди, ангел небесный,— ви-
дишь мутное?

— Лик будто чей-то...

— Гляди еще... Женской?

— Будто... Женский.

— Она.— Воробьиха знающе поджала рот, как из
норы глядела бусинками... Евдокия, тяжело дыша, при-
поднялась, рука скользнула с крутого живота под грудь,
где пойманной птицей рвалось сердце...

— Ты чего знаешь? Ты чего скрываешь от меня?
Кто она?

— Ну, кто, кто — змея подколодная, немка... Про то
вся Москва шепчет, да сказать боятся... Опаивают его в
Немецкой слободе любовным зельем... Не всколыхивай-
ся, касатка, рано еще горевать... Поможем... Возьми иг-
лу... (Воробьиха живо вытащила из повойника иглу, по-
дала с шепотом царице.) Возьми в пальчики, ничего не
бойся... Говори за мной: «Поди и поди, злая, лихая
змея, Анна, вилокосная и прикосная, сухотная и ломот-
ная, поди, не оглядываясь, за Фафергору, где солнце не
всходит, месяц не светит, роса не ложится,— пади в сы-
ру землю, на три сажени печатных, там тебе, злой, ли-
хой змее, Анне, место пусто до скончания века, аминь...»
Коли, коли иглой в самое кольцо, в лицо ей коли...

Евдокия колола, покуда игла не сломалась о блюде. Откинулась, прикрыла локтем глаза, и припухшие губы ее задрожали плачем...

.

Вечером мамки и няньки, повитухи и дворцовые дурки суетливо заскрипели дверями и половицами: «Царь приехал...» Воробыха кинула в свечу крупицу ладана — освежить воздух, и сама юркнула куда-то... Петр вбежал наверх через три ступени. Пахло от него морозом и вином, когда наклонился он над жениной постелью.

— Здравствуй, Дуня... Неужто еще не опросталась? А я думал...

Усмехнулся, — далекий, веселый, круглые глаза — чужие... У Евдокии похолодело в груди. Сказала внятно:

— Рада бы вам угодить... Вижу — всем ждать надое-ло... Виновата...

Он сморщился, сился понять — что с ней. Сел, схватясь за скамейку, шпорой царапал коврик...

— У Ромодановского обедал... Ну, сказали, будто бы вот-вот... Думал — началось...

— Умру от родов — узнаете... Люди скажут...

— От этого не помирают... Брось...

Тогда она со всей силой отбросила одеяла и простыни, выставила живот.

— Вот он, видишь... Мучиться, кричать — мне, не тебе... Не помирают! После всех об этом узнаешь... Смейся, веселись, вино пей... Езди, езди в проклятую слободу... (Он раскрыл рот, уставился.) Перед людьми стыдно, — все уж знают...

— Что все знают?

Он подобрал ноги, — злой, похожий на кота. Ах, теперь ей было все равно... Крикнула:

— Про еретичку твою, немку! Про кабацкую девку! Чем она тебя опоила?

Тогда он побагровел до пота. Отшвырнул скамью. Так стал страшен, что Евдокия невольно подняла руку к лицу. Стоял, антихристовыми глазами уставясь на жену...

— Дура! — только и проговорил. Она всплеснулась, схватилась за голову. Сотряслась беззвучным рыда-

нием. Ребенок мягко, нетерпеливо повернулся в животе. Боль, раздвигающая, тянущая, страшная, непонятной силой опоясала таз...

Услыхав низкий звериный вопль, мамки и няньки, повитухи и дурки вбежали к молодой царице. Она кричала с обезумевшими глазами, безобразно разинув рот... Женщины засуетились... Сняли образа, зажгли лампы. Петр ушел. Когда миновали первые потуги, Воробьяха и повитуха под руки повели Евдокию в жарко натопленную мыльню — рожать.

8

Белоглазая галка, чего-то испугавшись, вылетела из-под соломенного навеса, села на дерево, — посыпался иней. Кривой Цыган поднял голову, — за снежными ветвями малиново разливалась зимняя заря. Медленно поднимались дымы, — хозяйки затопили печи. Повсюду хруст валенок, покашливание, — скрипели калитки, тукал топор. Яснее проступали крутые крыши между серебряными березами, курилось розовыми дымами все Заречье: крепкие дворы стрельцов, высокие амбары гостинодворцев, домики разного посадского люда, — кожевников, чулошников, квасельников...

Суетливая галка прыгала по ветвям, порошила глаза снегом. Цыган сердито махнул на нее голицей. Потянул из колодца обледенелую бадью, лил пахучую воду в колоду. В такое ядреное воскресное утро горькой злобой ныло сердце. «Доля проклятая, довели до кабалы... Что скот, что человек... Сам бы не хуже вас похаживал вокруг хозяйства...» Бадья звякала железом, скрипел журавль, моталось привязанное к его концу сломанное колесо.

На крыльцо вышел хозяин, стрелок Овсей Ржов, шерстяным красным кушаком подпоясанный по нагольному полушубку. Крякнул в мороз, надвигая шапку, нагнул варешки, зазвенел ключами.

— Налил?

Цыган только сверкнул единым глазом, — лапти срывались с обледенелого бугра у колоды. Овсей пошел отворять хлев: добрый хозяин сам должен поить скотину. По пути ткнул валенком, — белым в красных мушках, — в жердину, лежавшую не у места.

— Этой жердью, ай, по горбу тебя не возил, страдничий сын. Опять все раскидал по двору...

Отомкнул дверь, подпер ее колышком, вывел за гривы двух сытых меринов, потрепал, обсвистал,— и они пили морозную воду, поднимая головы,— глядели на зарю, вода текла с теплых губ. Один заржал, сотрясаясь...

— Балуй, балуй,— тихо сказал Овсей. Выгнал из хлева коров и голубого бычка, за ними, хрустя копытами, тесно выбежали овцы.

Цыган все черпал, надсаживался, облил портки. Овсей сказал:

— Добра в тебе мало, а зла много... Нет, чтобы со скотиной поласковой,— одно — глазом буровить... Не знаю, что ты за человек...

— Как умею, так могу...

Овсей недобро усмехнулся,— ну, ну!.. При себе велел задать коням корму, кинуть свежей подстилки. Цыган раз десять ходил в дальний конец двора к занесенным снегом ометам, где на развороченной мякине сутились воробьи. Наколот, натаскал дров. В синеве осветились солнцем снежные верхушки берез. Звонили в церквах. Овсей степенно перекрестился. На крыльцо выскочила круглолицая с голубыми глазами, как у галки, небольшая девчонка:

— Тятя, исть иди скореея...

Овсей обстучал валенки и шагнул в низенькую дверь, хлопнув ею хозяйски. Цыгана не звали. Он подождал, высморкался, долго вытирал нос полою рваного зипунишки и без зова пошел в теплый, темноватый полуподвал, где ели хозяева. У дверей боком присунулся на лавку. Пахло мясными щами. Овсей и брат его, Константин, тоже стрелец, не спеша хлебали из деревянной чашки. Подавала на стол высокая суровая старуха с мертвым взором...

Братья держали лавку в лубяном ряду, торговые бани на Балчуге и ветряную мельницу да снимали у князя Одоевского двенадцать десятин пахоты и покоса. Раньше работали сами (в крымский поход не ходили), а теперь от царя Петра не было отдыху: каждый день жди то наряда, то — в строй. Стрельцам стоять в лавках, в банях не велено. На батраков поручиться нель-

зя. Работать приходится женам да сестрам, словом — бабам. А мужская сила идет на царскую потеху.

— Как летом будем с уборкой, ума не приложу,— говорил Овсей. Прижал к груди каравай, царапая им по холщовой рубахе, отрезал брату и себе. Вздохнули, откусили и опять, потряхивая мясо на ложках, принялись за щи.

— С батраками стало опасно,— сказал Константин,— новый указ... Беспременно выдавать гулящих, кто без поруки живет по слободам али в харчевнях, в банях, в кирпичных сараях...

— Как же, если он работает?

— Ну и отвечай за него, наравне, как за разбойника... Ты у Цыгана брал поручную запись? Кто он таков?

— Шут его знает... Молчит...

— Не отпустить ли его от греха?..

Когда вошел Цыган и, обтирая с бороды лед, буравил глазом братьев, Овсей сказал громко:

— Да он мне и сам надоел...

Помолчали. Хлебали. Цыгана знобило от духа хлеба и щей. Кинув сосульку под порог, проговорил хрипло:

— Про меня, значит, разговор?

— А хоть бы и про тебя.— Овсей положил ложку.— Седьмой месяц жрешь хлеб, а кто ты, черт тебя знает.. Много вас, безымянных, шатается меж двор...

— Это как я безымянный... Я у тебя крал? — спросил Цыган.

— Ну, я еще не знаю...

— То-то не знаешь.

— А может, лучше бы ты и крал. А почему у меня две овцы сдохли? Почему коровы невеселы, молоко вонючее, в рот нельзя взять... Почему? — Овсей подался к краю стола, застучал кулаком.— Почему наши бабы всю осень животами валялись?.. Почему? Тут порча! Черный глаз буровит...

— Будет тебе сатаниться, Овсей,— проговорил Цыган устало,— а еще умный мужик.

— Константин, слышал, меня лает? Сатаниться?..— Овсей вылез из-за стола, заиграл пальцами, подгибая их в кулаки. Цыгану спорить не приходилось,— братья были здоровые, поевшие. Он осторожно поднялся.

— Не по-хорошему люб, а по-любю хорош... Поломал спину на твоём хозяйстве, Овсей,— спасибо... (Поклонился.) Поминай хошь лихом, мне все одно... Заплати только зажитые деньги...

— Это какие деньги? — Овсей обернулся к брату, к бабушке, глядевшей на ссору мертвым взором.— Он на береженье казну, что ли, нам отдавал? Али я брал у него?

— Овсей, бога побойся, по полтине в месяц,— два с полтиной моих, зажитых...

Тогда Овсей подскочил к нему, закричал неистово:

— Деньги тебе! А жив уйти хочешь! Б...й сын, шиш!

Ухватив у шеи за армяк, ударил в ухо, дико вскрикнул и, не нагнись Цыган,— во второй раз — убил бы его до смерти. Константин, удерживая, взял брата за ходунном ходящие плечи, и Цыган вышел, шатаясь. Константин догнал его и в спину вытолкнул на улицу. Долго глядел Цыган единым глазом на ворота,— так бы и прожег их...

— Ну, погоди, погоди,— проговорил зловеще. Провел по щеке — кровь. Мимо шли люди, обернулись, засмеялись. Он задрал голову и побрел, топая лаптями,— куда-нибудь...

9

— Напирай, напирай, толкайся...

— Куда народ бежит?

— Глядеть: человека будут жечь...

— Казнь, что ли, какая?

— Не сам же захотел,—эка...

— Есть, которые сами сжигаются.

— Те — за веру, раскольники...

— А этот за что?

— Немец...

— Слава тебе, господи, и до них, значит, добрались...

— Давно бы пора — табашников проклятых... Зажирили с нашего поту.

— Гляди, уж дымится...

Пошел и Цыган к берегу, где на кучах золы толпились слобожане. Ему давно приглянулись двое — таких же, как и он,— бездомных. Он стал держаться поближе

к ним: может, что-нибудь и образуется насчет пищи. Мужички эти, видимо, были пытанные, мученные. У одного, рябого, подвязана щека тряпкой, — прикрывал клеймо каленым железом. Звали его Иуда. Другой согнут в спине почти напополам, опирался на две короткие клюки, но ходил шибко, выставляя бородку. Глаза веселые. Поверх заплатанного армяка — рогожа. Зовут Овдоким. Он очень понравился Цыгану. И Овдоким скоро заметил, что около них трется черный кривой мужик с разбитой мордой, — приподнялся на клюках и сказал ласково:

— Поживиться круг нас, голубчик, нечему, сами во-руем...

Иуда, скосоротясь, сквозь зубы проговорил в сторону:

— Терся эдак же один из тайной канцелярии, — в прорубь его и спустили...

«Эге, — подумал Цыган, — это люди смелые...» И еще сильней захотелось ему быть с ними...

— Смерть меня не берет, окаянная, — сказал он, моргая заиндевелыми ресницами, — жить, значит, как-нибудь надо... Вы бы, ребята, взяли меня в артель... Собща-то легче...

Иуда опять сквозь зубы — Овдокиму:

— Не «темный ли глаз»? А?

— Нет, нет, очевидно, — пропел Овдоким и, своротив голову, снизу вверх взглянул в глаз Цыгану...

Больше они ничего не проговорили. Внизу, на льду, притоптывали сапогами, хлопали рукавицами продрогшие стрельцы; они окружили кое-как сбитый сруб, доверху заваленный дровами. Около торчал столб для площадной казни, и белым дымом курился костер, где калилось железо. Народ прозяб, ожидая...

— Везут, везут... Напирай, толкайся!

Со стороны города показались конные драгуны. Съехали на лед. За ними в простых санях, спинами к лошади, сидели немец и какая-то девка в мужичьей шапке. Далее — верхами — боярин, стольники, дьяк. Позади — громоздкий черной кожи возок.

Стрельцы расступились, пропуская поезд. Дьяк слез с коня. Возок, подъехав, повернул боком, но никто не вышел из него... Все глядели на этот возок — изумленный шепот пошел по народу...

Из-за сруба показался Емельян Свежев в красном колпаке, с кнутом на плече. Помощники его взяли из саней девку, пинками потащили к столбу, сорвали с нее шубейку и привязали руками в обнимку за столб. Дьяк громко читал по развернутому свитку, покачивая печатями. Но голос его на трескучем морозе едва был слышен, только и разобрали, что девка — Машка Селифонтова, а немец — Кулькин, не то еще как-то... Из саней виднелись вздернутые его плечи и лысый затылок.

Лошадиное лицо Емельяна неподвижно улыбалось. Не спеша подошел к столбу. Снял кнут. И только резкий свист услышали, красный, наискось, рубец увидели на голой спине девки... Кричала она по-пороссячи. Дали ей пять ударов, и те вполсилы. Отвязали от столба, шатающуюся подвели к костру, и Емельян, выхватив из углей железо, прижал ей к щеке. Завизжала, села, заби-лась. Подняли, одели, положили в сани и шагом повезли куда-то по Москве-реке, в монастырь.

Дьяк все читал грамоту. Взялись за немца. Он вылез из саней, низенький, плотный, и сам пошел к срубу. Вдруг сложил дрожащие ладони, поднял опухшее с отросшей темной щетиной лицо и, сукин сын, немец, — залопотал, залопотал, громко заплакал... Подхватили, поволокли на сруб. Там Емельян сорвал с него все, догола, повалил, на розовую жирную спину положил еретические книги и тетради и поданной снизу головней поджег их... Так было указано в грамоте: книги и тетради сжечь у него на спине...

С берега (где стоял Цыган) крикнули:

— Кулькин, погрейся...

Но на этого, — губастого парня, — зароптали:

— Замолчи, бесстыдник... Сам погрейся так-то...

Губастый тотчас скрылся. От подожженного с четырех концов сруба валил серый дым. Стрельцы стояли, опираясь на копья. Было тихо. Дым медленно уплывал в небо...

— Он наперед угорит, дрова-то сырые...

— Немец, немец, а тоже — гореть заживо... ох, господи...

— Грамоте учился, писал тетради, и вот — на тебе...

Из кожаного возка, — теперь все различали, — глядело сквозь окошечко на дым, на взлизывающие языки

огня мертвенное лицо, будто сошедшее с древнеписанной иконы...

— Гляди, очами-то сверкает,— страх-то!..

— Не дело патриарху ездить на казни...

— Людей жгут за веру... Эх, пастыри!..

Это проговорил Овдоким,— звонко, бесстрашно... Все, кто стоял около него, отстранились, не отошли только Иуда и Цыган... Топоча клюками, он опять:

— Что же из того — еретик... Как умеет, так и верует... По-нашему ему не способно,— скажем... И за это гори... В муках живем, в пытках...

Огромный костер шумел и трещал, искры и дым завивало воронкой. Некоторые будто бы видели сквозь пламя, что немец еще шевелится. Возок отъехал на рысях. Народ медленно расходился. Иуда повторял:

— Идем, Овдоким...

— Нет, нет, ребятушки... (Глаза у него смеялись, но чистое, как из бани, красное лицо все плакало, тряслась козлиная борода.) Не ищите правды... Пастыри и начальники, мытари, гремящие золотом,— все надели ризы свирепства своего... Беги, ребятушки, пытаные, жженые, на колесах ломанные, без памяти беги в леса дремучие...

Опосля только удалось увести Овдокима,— пошли втроем в переулок, в харчевню.

10

Наконец-то Цыган взял ложку,— рука дрожала, когда нес ко рту капающие на ломоть постные щи. Он очень боялся, что его не возьмут в харчевню, и по дороге жаловался на жизнь, вытирал глаза голицей. Овдоким, помалкивая, бежал на клюках, как таракан. У ворот вдруг спросил:

— Воровать умеешь?

— Да я — если артельно! — хоть в лес с кистенем...

— Ох, какой бойкий...

— Как ты нас понимаешь, кто мы? — спросил Иуда.

Цыган заробел: «Отделаться от меня хотят...» С тоской глядел на покосившиеся ворота, на сугроб во дворе, обледенелый от помоев, на обитую рогожей дверь, откуда шел такой сытый дух, что голова кружилась. Сказал тихо:

— Люди вы вполне справедливые... Что ж, если во-руете, так ведь от горя, не по своей вине... Половина народа нынче в леса-то уходит... Дорогие мои, не гоните меня, покормите чем-нибудь...

— Мы, сударь, когда жалостливые, а когда — безжалостные,— сказал Овдоким.— Смотри-и! — и, взяв обе клюки в левую руку, погрозил ему: — Прибился к нам,— не пьтсья... Иуда, голубок, ты с добычей?

Иуда вытащил из кармана кисет, высыпал на ладонь медные деньги. Втроем сосчитали уворованное. Овдоким сказал весело:

— Птица не жнет, не сеет, а господь кормит. Многого нам не надо,— только на пропитание... Идем с нами, кривой...

В харчевне сели в дальнем углу, куда едва доходил свет от сальной свечи на прилавке. Народу было немало,— иные по пьяному делу шумели, расстегнув разопревшие полушубки, иные спали на лавках. Овдоким спросил полштофа и горшок щей. Когда подали, стукнул ложкой:

— Ешь, кривой, это божье...

Отпил из штофа, жевал часто, по-заячьи. Глаза светились смехом.

— Расскажу вам, ребятушки, притчу... Слушайте али нет? Жили двое,— один веселой, другой тоскливой... Этот-то веселой был бедный, что имел,— все у него стняли бояре, дьяки да судьи и мучили его за разные проделки, на дыбе спину сломали,— ходил он согнутый... Ну, хорошо... А тоскливой был боярский сын, богатый,— скареда... Дворовые с голоду от него разбежались, двор зарос лебедой... Си-идит день-деньской один на сундуке с золотом, серебром... Так они и жили. У веселого нет ничего,— росой умылся, на пень перехстился, есть захотел — украл али попросил Христа ради: которые, небогатые, всегда дают,— им понятно... И — ходит, балагурит,— день да ночь — сутки прочь. А тоскливой все думал, как бы денег не лишиться... И боялся он, ребятушки, умереть... Ох, страшно умирать богатым-то... И, чем больше у него казны, тем неохочее... Он и свечи пудовые ставил и оклады жертвовал в церковь,— все думал, что бог ему смертный час оттянет...

Овдоким засмеялся, елозя бородой по столу. Протянув длинную руку с ложкой, черпанул щец, пожевал по-заячьи и опять:

— А этот богатый был тот самый человек, кто мучил веселого, пустил его по миру... Вот раз веселой залез к нему воровать, взял с собой дубинку... Туда-сюда по палатам,— видит — спит богатый на лавке, а сундук под лавкой. Он сундук-то не заметил, схватил богатого за волосы: ты, говорит, тогда-то меня всего обобрал, давай теперь мне сколько-нибудь на пропитание... Богатому смерть страшна и денег жалко, отпирается — нет и нет... Вот веселой схватил дубинку да и зачал его возить и по бокам и по морде... (Иуда оскалил зубы, загыкал от удовольствия.) Ну, хорошо,— возил, возил, покуда самому не стало смешно... Ладно, говорит, приду в другую ночь, приготовь мне полную шапку денег...

Богатый, не будь дураком, написал царю,— прислал царь ему стражу... А веселой мужик ловкой... Все-таки он эту стражу обманул, пробрался к богатому, за волосы его схватил: приготовил деньги? Тот трясется, божится: нет и нет... Опять веселой зачал его мутузить дубинкой,—у того едва душа не выскочила... Ладно, говорит, приду в третью ночь, приготовь теперь сундук денег...

— Это справедливо,— сказал Цыган.

— Он уже его отмутузил,— смеялся Иуда.

— Ну, хорошо... В этот раз прислал царь полк охранять богатого... Что тут делать? А веселой был мужик хитрый. Переделся стрельцом, пришел на двор к богатому и говорит: «Стража, чье добро стережете?..» Те отвечают: «Богатого, по царскому указу...» — «А много ли вам за это жалованья дадено?..» Те молчат... «Ну,— говорит веселой,— вы дураки: бережете чужое добро задаром, а богатый как собака на той казне и сдохнет, вы только утрегесь...» И так он их разжег,— пошли эти солдаты, сорвали замки с погребов, с подвалов, стали есть, пить допьяна, и, конечно, стало им обидно,— ночью выломали дверь и видят — богатый трясется на сундуке, весь избитый, обгаженный. Тут наш проворный стрелец схватил его за волосы: «Не отдал, говорит, когда я просил свое, отдашь все...» Да и кинул его солдатам, те его на клочки разорвали... А веселой взял себе, сколько нужно на пропитание, и пошел полегоньку...

К столу, где рассказывал Овдоким, подсаживались люди, слушая — одобряли. Один, не то пьяненький, не то не в своем уме человек, все всхлипывал, разводил руками, хватался за лысый большой лоб... Когда ему дали говорить, до того заторопился, слюни полетели, ничего не понять... Люди засмеялись:

— Походил Кузьма к боярам... Всыпали ему ума в задние ворота...

На прилавке сняли со свечи нагар, чтобы виднее было смеяться... У этого Кузьмы курносое лицо с кустатой бородкой все опухло, видимо бедняга пил без просыпу. На теле — одни портки да разодранная рубаха распояской.

— Он и крест пропил.

— Неделю здесь околачивается.

— Куда же ему идти-то — босиком по морозу...

— Горе мое всенародное — вот оно! — схватясь за портки, закричал Кузьма. — Боярин Троекуров руку приложил! — Живо заголился и показал вздутый зад в синих рубцах и кровоподтеках... Все так и грохнули. Даже целовальник опять снял пальцами со свечи и перегнулся через прилавок. Кузьма, подтянув портки:

— Знали кузнеца Кузьму Жемова, у Варвары великомученицы кузня?.. Там я пятнадцать лет... Кузнец Жемов! Не нашелся еще такой вор, кто бы мои замки отмыкал... Мои серпы до Рязани ходили. Чей серп? Жемова... Латы моей работы пуля не пробивала... Кто лошадей кует? Кто бабам, мужикам зубы рвет? Жемов... Это вы знали?

— Знали, знали, — со смехом закричали ему, — рассказывай дальше...

— А того вы не знали, — Жемов ночи не спит... (Схватился за лысый череп.) Ум дерзкий у Жемова. В другом бы государстве меня возвеличили... А здесь умом моим — свиней кормить... Эх, вспомните вы!.. (Стиснув широкий кулак, погрозил в заплаканное, — в четыре стеклышка, — окошечко, в зимнюю ночь.) Моги-лы ваши крапивой зарастут... А про Жемова помнить будут...

— Постой, Кузьма, за что ж тебя выдрали?

— Расскажи... мы не смеемся...

Удивясь, будто сейчас только заметя, он стал глядеть на обступившие его лоснящиеся носы, спутанные бороды, разинутые рты, готовые загрохотать, на десятки глаз, жадных до зрелища. Видимо — кругом него все плыло, мешалось...

— Ребята... Уговор — не смеяться... У меня же душа болит...

Долго доставал из кисета сложенную бумажку. Разложил ее на столе. (С прилавка принесли свечу.) Придавил ногтем листок, где были нарисованы два крыла, наподобие мышиных, с петлями и рычагами. Опухшие щеки у него выпячивались.

— Дивная и чудесная механика, — заговорил он надменно, — слюдяные крылья, три аршина в длину каждое, аршин двенадцать вершков поперек... Машут вроде летучей мыши через рычаги — одним старанием ног, а также и рук... (Убежденно.) Человек может летать! Я в Англию убегу... Там эти крылья сделаю... Без вреда с колокольни прыгну... Человек будет летать, как журавель! (Опять бешено — в мокрое окошко.) Троекуров, просчитался, боярин!.. Бог человека сделал червем ползающим, я его летать научу...¹

Дотянувшись, Овдоким ласково потрепал его.

— По порядку говори, касатик, — как тебя обидели-то?

Кузьма насупился, засопел.

— Тяжелы их сделал, ошибся маленько... Человек я бедный... Были у меня сделаны малые крылья, — кое из чего, из лубка, из кожи... На дворе с избы прыгал против ветра, — шагов пятьдесят пронесло... А голова-то у меня уж горит... Научили, — пошел в Стрелецкий приказ и закричал: караул... Схватили и — бить было, конечно... Нет, говорю, не бейте, а ведите меня к боярину, знаю за собой государево дело... Привели... Сидит, сатана, морду в три дня не обгадишь. Троекуров... Говорю ему: могу летать вроде журавля, — дайте мне рублей двадцать пять, слюды выдайте, и я через шесть недель полечу... Не верит... Говорю, — пошлите подьячего на мой двор, покажу малые крылья, только на них перед госу-

¹ Описываемое здесь произошло в 1694 году, в Москве.

дарем летать неприлично. Туда, сюда, податься ему некуда, — караул-то мой все слышали... Ругал он меня, за волосы хватил, велел евангелие целовать, что не обману. Выдал восемнадцать рублей... И я сделал крылья раньше срока... Тяжелы вышли. Уж здесь, в кабаке, — понял... Пьяный — понял!.. Слюда не годится, пергамент нужен на деревянной раме!.. Привез их в Кремль, пробовать... Ну, и не полетел, — морду всю разбил... Говорю Троекурову — опыт не удался, дайте мне еще пять рублей, и тогда голову отрубите, — полечу... Боярин ничему не верит: вор, кричит, плут! Еретик! Умнее бога хочешь быть... При себе приказал — двести батогов... Вынес, братцы, все двести, — только зубы хрустели... Да велено доправить на мне восемнадцать истраченных рублей, продать кузню, струмент и дворишко... Что мне теперь голому — в лес с кистенем?

— Одно это, страдалец, — проговорил Овдоким тихо; явственно.

Кузьма Жемов пристал к Овдокимовой шайке. Купили ему на толчке валенки, армячишко. Стали теперь ходить по Москве вчетвером, — на базары, к торговым баням, в тесные переулки Китай-города. Иуда воровал по карманам. Цыгана научили закатывать зрачок, чтобы глазное яблоко страшно вылезало из век, и петь Лазаря. Кузьме надевали на шею веревку, и Овдоким водил его как безумного и трясучего: «А вот сумасшедшему на пропитание, — с дороги, с дороги, с дороги, касатики, а то как бы не кинулся...» Набирали за день на пропитание, а когда и на штоф. Труда было много, а страха еще более, потому что государевым указом таких теперь ловили и отводили в Разбойный приказ.

Великий пост кончался. Над Москвой все выше всходило весеннее солнце. На солнцепеках капало, таяло, начало пованивать. Снег, размешанный с навозом, уже не скрипел под полозьями. Однажды вечером в харчевне Овдоким заговорил:

— Не пора ли, ребятушки, собираться в дорожку... Жалеть нам здесь некого... Дайте только бугоркам провянуть. Пойдем на волю...

Иуда заспорил было:

— Малым количеством, без оружия, в лесах погибнем с голоду...

— А мы,— сказал Овдоким,— перед отшествием на злое дело решимся... (Со страхом посмотрели на него.) Что надо — все добудем... Мук наших один грех не превысит... А превысит,— ну, что ж: значит, и в писании справедливости нет... Не трепещите, голуби мои, все возьму на себя.

11

С весны началось,— коту смех, а мышам слезы. Объявлена была война двух королей: польского и короля стольного града Прешпурга. К прешпургскому королю отходили потешные, Бутырский и Лефортов полки, к польскому — лучшие части стрелецких — Стремяного, Сухарева, Цыклера, Кровкова, Нечаева, Дурова, Нормецкого, Рязанова. Королем прешпургским посажен Федор Юрьевич Ромодановский, он же Фридрихус, польским — Иван Иванович Бутурлин, муж пьяный, злорадный и мздоимливый, но на забавы и шумство проворный. Стольным городом ему определен Сокольничий двор на Семеновском поле.

Вначале думали, все это — прежние Петровы шутки. Но, что ни день — указ, один беспокойнее другого. Бояре, окольные и стольники расписывались в дворовые чины к обоим королям. Петр начинал играть неприлично. Многие из бояр огорчились: в родовых записях такого еще не бывало, чтобы с чинами шутить... Ходили к царице Наталье Кирилловне и осторожно жаловались на сына. Она разводила пухлыми руками, ничего не понимала. Лев Кириллович с досадой говорил: «А мы что можем поделать,— прислан указ от великого государя, с печатями... Поезжайте к нему сами, просите отменить...» К Петру ехать поостереглись. Думали, так как-нибудь обойдется... Но с Петром не обходилось. Кое к кому из бояр неожиданно вломились во дворы солдаты, силой велели одеться по-дворцовому, увезли в Преображенское на шутовскую службу... У старого князя Приимкова-Ростовского отнялись ноги. Иные пробовали сказать себя больными,— не помогло. Скрыться некуда. Пришлось ехать на срам и стыд...

В Прешпурге,— издалека виднелись восьмиугольные бревенчатые его башни, дерновые раскаты, уставленные пушками, белые палатки вокруг,— с ума можно

было сойти русскому человеку. Как сон какой-то нелепый — игра не игра, и все будто вправду. В размалеванной палате, на золоченом троне под малиновым шатром сидит развалиясь король Фридрихус: на башке — медная корона, белый атласный кафтан усажен звездами, поверх — мантия на заячьем меху, на ботфортах — гремучие шпоры, в зубах — табачная трубка... Без всяких шуток сверкает глазами. А взглядишься — Федор Юрьевич. Плюнуть бы, — нельзя. Думный дворянин Зиновьев от отвращения так-то плюнул, — в тот же день и повезли его на мужицкой телеге в ссылку, лишив чести... Наталье Кирилловне самой пришлось ехать в Преображенское, просить, чтобы его простили, вернули...

А царь Петр, — тут уже руками только развести, — совсем без чина — в солдатском кафтане. Подходя к трону Фридрихуса, склоняет колено и адский этот король, если случится, на него кричит, как на простого. Бояре и окольные сидят — думают в шутовской палате, принимают послов, приговаривают прешбургские указы, горя со стыда... А по ночам — пир и пьянство во дворце у Лефорта, где главенствует второй, ночной владыка, — богопротивный, на кого взглянуть-то зазорно, мужик Микитка Зотов, всешутейший князь-папа кукуйский.

Затем, — должно быть, уж для полнейшего разорения, по наговору иноземцев проклятых, — пригнали из Москвы с тысячу дьяков и подьячих, взяли их из приказов, кто помоложе, вооружили, посадили на коней, обучали военному делу без пощады. Фридрихус в Думе сказал:

— Скоро до всех доберемся... Не долго тараканам по щелям сидеть. Все поедят у нас солдатской каши...

Петр, стоявший у дверей (садиться при короле не смел), громко засмеялся на эти слова. Фридрихус бешено топнул на него шпорой — царь прикрыл рот... Плакать тут надо было, все грехи свои помянув, с молитвой, сообщая, пасть царю в ноги: «Руби нам головы, мучай, зверствуй, если не можешь без потехи... Но ты, наследник византийских императоров, в какую бездну влечешь землю российскую... Да уж не тень ли антихриста за плечом твоим?..» Так вот же, — духу не хватило, не смогли сказать.

Такой же двор был и у польского короля, Ваньки Бутурлина, в Семеновском. Но там хоть не нужно было ломаться, служба спокойная: бояре и окольные, сидя в потешной думе вдоль стен на лавках, зевали в рукава, покуда сумерки не засинеют в окошечках, потом ехали в Москву ночевать. Король, Ванька Каин, по злобе и озорству пытался было заставить всех говорить по-польски, но преломить боярского упрямства не смог, да и самому играть с ними надоело,— оставил их дремать, как хотят.

Не успели обвыкнуться — новая ломка: едва только зеленой дымкой покрылись леса,— Бутурлин послал к королю Фридрихусу посла объявлять войну и с полками, обозами и боярами двинулся к Прешпургу. Стрельцы шли в поход злые,— время было сеvu, дорог каждый день, а тут черт надоумил царя забавляться.

Осаду приказано было вести по всем правилам,— копать шанцы и апроши, вести подкопы, ходить на приступ. Забава получалась не легкая. Пороха не жалели. Палили из мортир глиняными горшками, взрывавшимися, как бомбы. Из крепости лили грязь и воду с дерьмом, пихались шестами с горящей на конце паклей, рубились тупыми саблями. Обжигали морды, вышибали глаза, ломали кости. Денег это стоило немногим меньше, чем настоящая война. И так длилось неделями,— всю весну. В передышках оба короля пировали с Петром и его змантами.

Проходило лето. Бутурлин, не взяв Прешпурга, ушел верст за тридцать в лес и там окопался лагерем. Фридрихус, в свой черед, стал его воевать. Стрельцы, обозленные от такой жизни, дрались не на шутку. Убитых считали уже десятками. Генералу Гордону разбило голову горшком из мортиры — едва отлежался. Петру спалило лицо и брови, и он ходил облепленный пластырями. Половина войска мучилась кровавыми поносами. И лишь когда сожжен был весь порох, поломано оружие, солдаты и стрельцы износились до лохмотьев, когда в лагерь приехал Лев Кириллович с письмом от старой царицы и со слезами умолял не тянуть больше денег, ибо казна и без того пуста,— только тогда Петр угомонился, и короли приказали войскам идти по свободам.

В народе много говорили про потешные походы: «Конечно, такие великие деньги не стали бы забивать на простую забаву. Тут чей-то умысел. Петр молод еще, глуп,— чему его научат, то и делает... Кто-то, видно, на этом разорении хочет поживиться...»

12

Жилось худо, скучно. При Софье была еще кое-какая узда, теперь сильные и сильненькие душу вытряхивали из серого человека. Было неправоe правление от судей и мздоимство великое и кража государственная. Много народу бежало в леса воровать. Иные уходили от проклятой жизни в дремучую глушь, на северные реки, чтоб не тянуть на горбе кучу воевод, помещиков, дьяков и подьячих, целовальников и губных старост, кровожаждущих без закона и жалости. Там, на севере, жили в забвении, кормясь от реки и от леса. Корчевали поляны, сеяли ячмень. Избы ставили из вековых сосен, на столбах, обширные, далеко друг от друга,— мужицкие хоромы. Из навсегда покинутых мест приносили в это уединение только сказки, былины да унывные песни. Верили в домового и лешего. Молиться ходили к суровым старцам-раскольникам, причащавшим мукой с брусникой. «В мире антихрист,— говорили им старцы,— одни те спасутся, кто убежал от царя и патриарха...»

Но случалось, что и до дремучей глуши, до этого последнего края, добирались слуги антихристовы, посланные искать неповинующихся и лающих. Тогда мужики с бабами и детьми, кинув дома и скот, собирались во дворе у старца или в церкви и стреляли по солдатам, а не было из чего стрелять,— просто лаялись и не повиновались и, чтоб не даться в руки, сжигались в избе или в церкви, с криками и вопленным пением...

Люди легкие, бежавшие от нужды и неволи в леса промышлять воровством, подавались понемногу туда, где теплее и сытнее,— на Волгу и Дон. Но и там еще пахло русским духом, залетали царские указы и воинствовали православные попы, и многие вооруженными шайками уходили еще далее — в Дагестан, в Кабарду, за Терек, или просились под турецкого султана к татарам в Крым.

На привольном юге не в сумеречного домового — верили больше в кривую саблю и в доброго коня.

Не мила, не уютна была русская земля — хуже всякой горькой неволи, — за тысячу лет исхоженная лаптями, с досадой ковыряемая сохой, покрытая пеплом разоренных деревень, непомянутыми могилами. Бездолье, дичь.

13

— Батя, что такое? Звон не тот...

— Как не тот звон?..

— Ой, батя, не тот... Нынче звонят редко, а это... Батя, как бы чего не случилось, не уйти ли...

— Постой ты, дура...

Бровкин Иван Артемьев (Ивашкой-то люди забыли, когда и звали) стоял на паперти стародавней церквенки, на Мясницкой. Новый бараний полушубок, крытый синим сукном, топорщился на нем, новые валенки — прямо с колодки, новый шерстяной шарф обмотан так, что голова задиралась. Дул пронзительный ветер, сек лицо. По черной улице с шорохом гнало снежную крупу, забивало в мерзлые колеи. Много народу стояло у лавок, слушали: по всем церквам начался звон в малые колокола, нестройный, неладный, — лупили кое-как, будто со зла...

Санька Бровкина (ей шел восемнадцатый год), хорошо одетая, красивая, сытая, заневестившаяся, опять потянула отца за рукав — уходить: в Москве бывала редко, а когда бывала, — билось очень сердце, боялась, как бы не повалили. Сегодня с отцом приехали покупать пуху на перину — приданое. Свахи так и крутились вокруг Бровкинова двора, но Иван Артемьев, чем далее шло, тем забирал выше. Сын, Алешка, был уже старшим бомбардиром и у царя на виду. Волковский управитель ездил к Бровкиным в гости на новый богатый двор. Иван Артемьев брал у Волкова в аренду луга и пашню. Промышлял и лесом. Недавно поставил мельницу. Скотина его ходила отдельным стадом. Живность возил в Преображенское к царскому столу. Вся деревня кланялась в пояс, все ему были должны, а он кому спускал, а кому и не спускал, — десяток мужиков работали у него по кабальным записям.

— Ну, чего же ждем-та? — сказала Санька.

В это время к паперти подошел рыжебородый поп Филька (за десять лет поп раздобрел, так что ряса на меху чуть не лопалась). Он толкал в спину хилого дьячка с унылым носом:

— Иди, кутейник проклятый, иди, Вельзевул...

Дьячок споткнулся, ухватился за замок, стал отмыкать церковные двери. Филька пихал его:

— Руки дрожат, пьяница прогорклый... С вечера ведь, с вечера, с вечера (бил в сутулый дьячков загорбок) сказано тебе было: иди звони... Через тебя я опять отвечай...

Дьячок просунулся в приоткрытую половину железных дверей и полез на колоколенку. Филька остался на паперти. Иван Артемьев обеими руками в новых кожаных рукавицах снял шапку, степенно поклонился.

— Вроде как праздник, что ли, сегодня? Мы с дочерью сомневаемся... Скажи, батюшка, сделай милость...

Филька прищурился вдоль улицы на ветер с крупой, мотавшей его бороду, проговорил громко, чтобы многие слышали:

— Пришествие антихриста.

Иван Артемьев так и сел на новые валенки. Санька схватилась за грудь, тут же закрестилась, побледнела, только и поняла, что страшно. От Мясницких ворот валила толпа, чего-то кричали. Слышался свист, дикий хохот. Стоявший народ глядел молча. Лавки закрывались. Откуда-то поползли рваные нищие, трясучие, по пояс обнаженные, безносые... Седой юродивый, гремя цепями и замками на груди, вопил: «Навуходоносор, Навуходоносор!»

Душа ушла в валенки у Ивана Артемича. Санька тихо, шепотом айкая, привалилась к церковному решетчатому окошечку под неугасимой лампадой. Девка была чересчур трепетная.

И вот увидели... Растянувшись по всей улице, медленно ехали телеги на свиньях — по шести штук; сани на коровах, обмазанных дегтем, обваленных перьями; низенькие одноколки на козлах, на собаках. В санях, телегах, тележках сидели люди в лыковых шляпах, в шубах из мочальных кулей, в соломенных сапогах, в мы-

шинных рукавицах. На иных были кафтаны из пестрых лоскутов, с кошачьими хвостами и лапами.

Щелкали кнуты, свиньи визжали, собаки лаяли, наряженные люди мяукали, блеяли, — красномордые, все пьяные. Посреди поезда пегие клячи с банными вениками на шеях везли золотую царскую карету. Сквозь стекла было видно: впереди сидел молодой поп Битка, Петров собутыльник... Он спал, уронив голову. На заднем месте — развалились двое: большеносый мужчина в дорожной шубе и колпаке с павлиньими перьями и — рядом — кругленькая, жирненькая женщина, накрашенная, насурмленная, увешанная серьгами, соболями, в руках — штоф. Это были Яков Тургенев — новый царский шут из Софьиных бывших стольников, променявший опалу на колпак, и — баба Шушера, дьячкова вдова. Третьего дня Тургенева с Шушерой повенчали и без отдыху возили по гостям.

За каретой шли оба короля — Ромодановский и Бутурлин и между ними — князь-папа «святейший кир Ианикита прешпургский» — в жестяной митре, красной мантии и с двумя в крест сложенными трубками в руке. Далее кучей шли бояре и окольниковые из обоих королевских дворов. Узнавали Шереметьевых, Трубецких, Долгоруких, Зиновьева, Боборыкина... Срамоты такой от сотворения Москвы не было. В народе указывали на них, дивились, ахали, ужасались... А иные подходили поближе и с озорством кланялись боярам.

За боярами везли на колесах корабль, выюжный ветер покачивал его мачты. Впереди лошадей шел Петр в бомбардирском кафтане. Выпятив челюсть, ворочая круглыми глазами на людей, бил в барабан. Боялись ему и кланяться, — а ну как не велено. Юродивый, увидя его с барабаном, завопил опять: «Навуходносор!» — но блаженного оттерли в толпу, спрятали. На корабле стояли, одетые голландскими матросами, — Лефорт, Гордон, усатый Памбург. Тиммерман и нововозведенные полковники Вейде, Менгден, Граге, Брюс, Левингстон, Сальм, Шлиппенбах... Они смеялись, поглядывая сверху, дымили трубками, притоптывали на морозе.

Когда Петр поравнялся с церковкой, Иван Артемич дернул неживую Саньку и повалился на колени.

«Дура, кланяйся,— зашептал торопливо,— не моего, не твоего ума это дело».

Поп Филька раскрыл большой рот и басом захохотал (царь даже обернулся на него), хохоча, поднял руки, повернулся спиной и так, с воздетыми руками, ушел в церковь...

Шествие миновало. Иван Артемич поднялся с колен, глубоко надвинул шапку.

— Да,— сказал раздумчиво,— конечно... Да... Все-таки... Ай, ай... Ну, ладно! — И — сердито — Саньке: — Ну, будет тебе, очнись... Пойдем, пуху-то купим...

14

Дивились,— откуда у него, у дьявола, берется сила. Другой бы, и зреее его годами и силой, давно бы ноги протянул. В неделю уже раза два непременно привозили его пьяного из Немецкой слободы. Проспит часа четыре, очухается и только и глядит — какую бы ему еще выдумать новую забаву.

На святках придумал ездить с князь-папой, обоими королями и генералами и ближними боярами (этих взял опять-таки строгим указом) по знатым дворам. Все ряженые, в машкерах. Святошным главой назначен был московский дворянин, исполненный всяких пакостей, сутяга, злой ругатель,— Василий Соковнин. Дали ему звание «пророка»,— рядился капуцином, с прорехой на задку. На тех святках происходило окончательное посрамление и поругание знатных домов, особливо княжеских и старых бояр. Вламывались со свистом и бешеными криками человек с сотню, в руках — домры, дудки, литавры. У богобоязненного хозяина волосы вставали дыбом, когда глядел на скачки, на прыжки, на ослабленные эти хари. Царя узнавали по росту, по платью голландского шкипера,— суконные штаны пузырями до колен, шерстяные чулки, деревянные туфли, круглая, вроде турецкой, шапка. Лицо либо цветным платком обвязано, либо прилеплен длинный нос.

Музыка, топот, хохот. Вся кумпанья, не разбирая места, кидалась к столам, требовала капусты, печеных яиц, колбас, водки с перцем, девок-плясиц... Дом ходил ходуном, в табачном дыму, в чаду пили до изум-

ления, а хозяин пил вдвое. — если не мог — вливали силой...

Что ни родовитее хозяин — страннее придумывали над ним шутки Князя Белосельского за строптивость раздели нагишом и голым его гузном били куриные яйца в лохани. Боборыкина, в смех над тучностью его, протаскивали сквозь стулья, где невозможно и худому пролезть. Князю Волконскому свечу забили в проход и, зажгя, пели вокруг его ирмосы, покуда все не повалились со смеха. Мазали сажей и смолой, ставили кверху ногами. Дворянина Ивана Акакиевича Мясного надували мехом в задний проход, от чего он вскоре и помер...

Святочная потеха происходила такая трудная, что многие к тем дням приуговлялись, как бы к смерти...

Только весной вздохнули полегче. Петра понесло в Архангельск. Опять в этот год приезжали голландские купцы Ван Лейден и Генрих Пельтенбург. Скупали они товаров против прошлогоднего вдвое: у казны — икру паюсную, мороженую лососину, разные меха, рыбий клей, шелк-сырец и, по-прежнему, деготь, пеньку, холст, поташ.. У ремесленников брали изделия из русской кожи и точеной кости. Лев Кириллович, купивший у иноземца Марселиса тульский оружейный завод, навязывал голландцам разное чеканное оружие, но ломил такие цены, что они уклонялись.

К весне нагружены были шесть кораблей. Ждали только, когда пройдут льды в Северном море. Неожиданно Лефорт (по просьбе голландцев) намекнул Петру, что хорошо бы прогуляться в Архангельск: взглянуть на настоящие морские суда... И уже на другой день полетели по вологодскому тракту конные подставы и урядники с грамотами к воеводам. Петр тронулся все с той же кумпанией — князь-папа Ианикит, оба короля. Лефорт, бояре обоих королей, но, кроме того, взяли и людей деловых — думного дьяка Виниуса, Бориса Голицына, Троекурова, Апраксина, шурина покойного царя Федора, и полсотни солдат под начальством удалого Алексашки Меньшикова.

Ехали лошадьми до Вологды, где за город навстречу вышло духовенство и купечество. Но Петр торопил, и в тот же день сели в семь карбасов и поплыли по Су-

хони до Устюга Великого, а оттуда Северною Двиною на Архангельск.

Впервые Петр видел такие просторы полноводных рек, такую мощь беспредельных лесов. Земля раздвигалась перед взором, — не было ей края. Хмурыми грядками плыли облака. Караваны птиц снимались перед карбасами. Суровые волны били в борта, полным ветром надувались паруса, скрипели мачты. В прибрежных монастырях звонили во сретенье. А из лесов, таясь за чащобами, недремлющие глаза раскольников следили за антихристовыми ладьями.

15

На столе, покрытом ковром, оплывали две свечи. Капли смолы ползли по свежеструганным бревенчатым стенам. На чистых половицах мокрые следы, — из угла в угол, к окну, к кровати. Башмаки с налипшей грязью валялись — один посреди комнаты, другой под столом. За окошками, в беззвездных полусумерках белой ночи, шумел незнакомый влажный ветер, плескались волны о близкий берег.

Петр сидел на кровати. Подштанники его по колена были мокры, голые ступни стояли косолапо. Опираясь локтями о колена, прижав маленький подбородок к кулакам, он невидяще глядел на окошко. За перегородкой, перегоняя друг друга, храпели оба короля. Во всем доме, — наспех к приезду царя поставленном на Масеевом острове, — спали вповалку. Петр угонял всех в этот день...

...Сегодня на рассвете подплыли к Архангельску. Почти все были на севере в первый раз. Стоя на палубах, глядели, как невиданная заря разливалась за слоистыми угрюмыми тучами... Поднялось небывалой величины солнце над темными краями лесов, лучи распались по небу, ударили в берег, в камни, в сосны. За поворотом Двины, куда, надрываясь на веслах, плыли карбасы, протянулось, будто крепость, с шестью башнями, раскатами и полисадом, длинное здание — иноземный двор. Внутри четырехугольника — крепкие амбары, чистенькие дома под черепичными кровлями, на валах — единороги и мортиры. Вдоль берега тянулись причальные стенки на сваях, деревянные набережные, навесы над горами

тюков, мешков и бочек. Свертки канатов. Бунты пиленого леса. У стенок стояло десятка два океанских кораблей да втрое больше — на якорях, на реке. Лесом поднимались огромные мачты с паутиной снастей, покачивались высокие, украшенные резьбой кормовые части. Почти до воды висели полотнища флагов — голландских, английских, гамбургских. На просмоленных бортах с широкой белой полосой в откинутые люки высывались пушки...

На правом — восточном — берегу зазвонили колокола во сретенье. Там была все та же Русь, — колокольни да раскиданные, как от ленивой скуки, избенки, заборы, кучи навозу. У берега — сотни лодок и паузки, груженные сырьем, прикрытые рогожами. Петр покосился на Лефорта (стояли рядом на корме). Лефорт, нарядный, как всегда, постукивал тросточкой, — под усиками — сладкая улыбочка, в припухших веках — улыбочка, на напудренной щеке — ямочка... Доволен, весел, счастлив... Петр засопел, — до того вдруг захотелось дать в морду сердечному другу Францу... Даже бесстыжий Алексашка, сидевший на банке у ног Петра, качал головой, приговаривая: «Ай, ай, ай». Богатый и важный, грозный золотом и пушками, европейский берег с презрительным недоумением вот уже более столетия глядел на берег восточный, как господин на раба...

От борта ближайшего корабля отлетело облако дыма, прокатившийся грохот заглушил колокольный звон. Петр кинулся с кормы, отдавливая ноги гребцам, — подбежал к трехфунтовой пушечке, вырвал у бомбардира фитиль. Выстрел хлопнул, но разве можно было сравнить с громом морского орудия? В ответ на царский салют все иноземные корабли окутались дымом. Казалось — берега затряслись... У Петра горели глаза, повторял: «Хорошо, хорошо...» Будто ожили его детские картинки... Когда дым уплыл, на левом берегу, на причальной стенке показались иностранцы, — махали шляпами... Ван Лейден и Пельтенбург... Петр сорвал треугольную шляпу, весело замахал в ответ, крикнул приветствие... Но сейчас же, — видя напряженные лица Апраксина, Ромодановского, премудрого дьяка Виниуса, — сердито отвернулся...

...Сидя на кровати, он глядел на серый полусвет за окошком. В Кукуй-слободе были свои, ручные немцы.

А здесь непонятно, кто и хозяин. И уж до того жалки показались домодельные карбасы, когда проплывали мимо высоких бортов кораблей... Стыдно! Все это почувствовали: и помрачневшие бояре, и любезные иноземцы на берегу, и капитаны, и выстроившиеся на шканцах матерые, обветренные океаном моряки... Смешно... Стыдно... Боярам (может быть, даже и Лефорту, понимавшему, что должен был чувствовать Петр) хотелось одного лишь: уберечь достоинство. Бояре раздувались спесиво, хотя бы этим желая показать, что царю Великия, Малыя и Белыя России не очень-то и любопытно глядеть на купеческие кораблишки... Будет надобность — свои заведет, дело нехитрое... А захочет, чтоб эти корабли в Белое море впредь не заходили, — ничего не поделаете, море наше.

Приплыли Петр не на длинных лодках, может быть, и он заразился бы спесью. Но он хорошо помнил и снова видел гордое презрение, прикрытое любезными улыбками у всех этих людей с Запада — от седобородого, с выбитыми зубами матроса до купца, разодетого в испанский бархат... Вон — высоко на корме, у фонаря, стоит коренастый, коричневый, суровый человек в золотых галунах, в шляпе со страусовым пером, в шелковых чулках. В левой руке — подзорная труба, прижатая к бедру, правая опирается на трость... Это капитан, дравшийся с корсарами и пиратами всех морей. Спокойно глядит сверху вниз на длинного, нелепого юношу в неуклюжей лодке, на царя варваров... Так же он поглядывал сверху вниз где-нибудь на Мадагаскаре, на Филиппинских островах, приказав зарядить пушки картечью...

И Петр азиатской хитростью почувствовал, каким он должен появиться перед этими людьми, чем, единственным, взять верх над ними... Их нужно было удивить, чтобы такого они сроду не видавали, чтобы рассказывали дома про небывалого царя, которому плевать на то, что — царь... Бояре — пусть надуваются, — это даже и лучше, а он — Петр Алексеев, подшкипер переяславского флота, так и поведет себя: мы, мол, люди рабочие, бедны да умны, пришли к вам с поклоном от нашего убожества, — пожалуйста, научите, как топор держать...

Он велел грести прямо к берегу. Первым выскочил в воду по колена, влез на стенку, обнял Ван Лейдена

и Пельтенбурга, остальным крепко жал руки, трепал по спинам. Путая немецкие и голландские слова, рассказывал про плаванье, со смехом указывал на карбасы, где еще стояли истуканами бояре... «У вас, чай, таких лодчонок и во сне не видали». Чрезмерно восхищался многопушечными кораблями, притоптывал, хлопал себя по худым ляжкам: «Ах, нам бы хоть парочку таких!..» Тут же ввернул, что немедля закладывает в Архангельске верфь: «Сам буду плотничать, бояр моих заставлю гвозди вбивать...»

И уголком глаза видел, как сползают притворные улыбочки, почтенные купцы начинают изумляться: действительно, такого они еще не видывали... Сам напросился к ним на обед, подмигнул: «Хорошо угостите,— и о делах не без выгоды поговорим...» Спрыгнул со стенки в карбас и поплыл на Масеев остров, в только что поставленные светлицы, где в страхе божием встретил его воевода Матвеев... Но с ним Петр говорил уже по-иному: через полчаса бешено вышиб его пинком за дверь. (Еще в дороге на Матвеева был донос в вымогательстве с иноземцев.) Затем, с Лефортом и Алексашкой, пошел на парусе осматривать корабли. Вечером пировали на иноземном дворе. Петр так отплясывал с англичанками и ганноверками, что отлетели каблуки. Да, такого иноземцы видели в первый раз...

И вот — ночь без сна... Удивить-то он удивил, а что ж из того? Какой была, — сонной, нищей, непроборотной, — такой и лежит Россия. Какой там стыд! Стыд у богатых, у сильных... А тут непонятно, какими силами растолкать людей, продрать им глаза... Люди вы, или за тысячу лет, истеча слезами, кровью, отчаявшись в правде и счастье, — подгнили, как дерево, склонившееся на мхи?

Черт привел родиться царем в такой стране!

Вспомнилось, как осенней ночью он кричал Алексашке, захлебываясь ледяным ветром: «Лучше в Голландии подмастерьем быть, чем здесь царем...» А что сделано за эти годы — ни дьявола: баловался! Васька Голицын каменные дома строил, хотя и бесславно, но ходил воевать, мир приговорил с Польшей... Будто ногтями схватывало сердце, — так терзали раскаяние, и злоба на своих, русских, и зависть к самодовольным

купцам,— распустят вольные паруса, поплывут домой в дивные страны... А ты — в московское убожество... Указ, что ли, какой-нибудь дать страшный? Перевешать, перепороть...

Но кого, кого? Враг невидим, неохватим, враг — повсюду, враг — в нем самом...

Петр стремительно отворил дверцу в соседнюю каморку:

— Франц! (Лефорт соскочил с лавки, тараща припухшие глаза.) Спишь? Иди-ка...

Лефорт в одной сорочке присел к Петру на постель.

— Тебе плохо, Петер? Ты бы, может, поблевал...

— Нет, не то... Франц, хочу купить два корабля в Голландии...

— Что же, это хорошо.

— Да еще тут построим.... Самим товары возить...

— Весьма хорошо.

— А еще что мне посоветуешь?

Лефорт изумленно взглянул ему в глаза и, как всегда, легче, чем сам он, разобрался в путанице его торопливых мыслей. Улыбнулся:

— Подожди, штаны надену, принесу трубки...— Из каморки, одеваясь, он сказал странным голосом: — Я давно этого ждал, Петер... Ты в возрасте больших дел...

— Каких? — крикнул Петр.

— Герои римские, с коих и поныне берем пример... (Он вернулся, расправляя завитки парика. Петр следил за ним дышащими зрачками.) Герои полагали славу свою в войне...

— С кем? Опять в Крым лезть?

— Без Черного с Азовским морем тебе не быть, Петер... Давеча Пельтенбург на ухо меня спрашивал, неужто русские все еще дань платят крымскому хану... (Зрачки Петра метнулись, остановились, как булавки, на любезном друге.) И не быть тебе, Петер, без Балтийского моря... Не сам — голландцы заставят... В десять раз, они говорят, против прежнего стали бы вывозить товару, учини ты гавани в Балтийском море...

— Со шведами воевать? С ума сошел... Смеешься, что ли? Никто в свете их одолеть не может, а ты...

— Так ведь не завтра же, Петер... Ты спросил меня, отвечаю: замахивайся на большее, а по малому — только кулак отшибешь...

«Гостям и гостиные сотни, и всем посадским, и купеческим, и промышленным людям во многих их приказных волокитах от воевод, от приказных и разных чинов людей в торгах их и во всяких промыслах чинятся убытки и разорение. Яко львы, челюстями своими пожирают нас, яко волци. Смилуйся, великий государь...»

— Опять жалоба на воевод? — спросил Петр.

Он ел на краю стола. Только что вернулся с верфи, не спустил даже по локоть закатанных рукавов холщовой, запачканной смолой рубахи. Макал куски хлеба в глиняное блюдо с жареным мясом, торопливо жуя, — поглядывал то на пенную рябь свинцовой Двины, то на русобородого, белого лицом, дородного дьяка Андрея Андреевича Винуса, сидевшего на другом конце стола.

Андрей Андреевич читал московскую почту — круглые очки на твердом носу, широко расставленные голубые глаза, холодные и умные. За последнее время он стал забирать силу, в особенности когда Петр после ночного разговора с Лефортом приказал читать себе московскую почту. Все это бумажное дело прежде шло через Троекурова. Петр не вмешивался, но теперь захотел сам все слушать. Почта читалась ему во время обеда, — другого времени не было: он весь день проводил на верфи с иноземными мастерами, взятыми с кораблей... Плотничал и кузнечничал, удивляя иноземцев, с дикарской жадностью выпытывал у них все нужное, ругался и дрался со всеми. Рабочих на верфи было уже более сотни. Их искали по всем слободам и посадам, брали честью — по найму, а если упрямились, — брали без чести, в цепях...

В обеденный час Петр, голодный, как зверь, возвращался на парусе на Масеев остров. Винус важным голосом читал ему указы, присылаемые на царскую подпись, челобитные, жалобы, письма... Древней скукой веяло от этих витиеватых грамот, рабскими сто-

нами вопили жалобы. Лгала, воровала, насильничала, отписывалась уставною вязью стародавняя служилая Русь, кряхтела съеденная вшами и тараканами непроворотная толща.

— Жалоба на воеводу,— ответил Андрей Андреевич,— опять на Степку Сухотина.

Поправив очки, он продолжал читать слезный вопль на кунгурского воеводу... Торговлю-де разоряет поборами в свой карман и торговых и посадских людей держит у себя в чулане и бьет тростью, от чего один безвинно помер. С промысловых обозов берет пошлину в свой же карман, зимой по восьми с воза, летом — со струга по алтыну. Богатого промышленника Змиева томил в сундуке, провертев, чтоб он не задохся, в крышке дырья... И берет себе земские и целовальничьи деньги и грозитя весь Кунгур разорить, если будут на него жаловаться.

— Повесить, собаку, в Кунгуре на базаре! — крикнул Петр.— Пиши!

Виниус строго — поверх очков,— взглянул на него.

— Повесить недолго,— мало их этим образумишь... Я давно говорю, Петр Алексеевич, воеводам более двух лет на месте сидеть нельзя. Привыкают, ходы узнают... А свежий-то воевода, конечно, разбойничает легче... Петр Алексеевич, торговых людей в первую голову береги. Шкуру и две тебе отдадут,— сними только с них непомерные тягости... Ведь иной две пары лаптей боится вынести на базар — хватают, бьют и деньги рвут с него... А с кого тебе и богатеть, как не с купечества... От дворян взять нечего, все сами проедают. А мужик давно гол. Вот послушай.

Поискав среди кучи бумаг, Виниус прочел:

— «...Да божьим изволением всегда у нас хлебная недорода, поля наши всегда морозом побивает, и ныне у нас ни хлеба, ни дров, ни скотины нет, погибаем голодною и озябаем студеною смертью... Воззри, государь, на нашу скудность и бедность, вели нам быть на оброке против нашей мочи... Мяса свиные и коровьи и птицу и весь столовый запас нам, нищим и беспомощным, ставить помещику нечем стало... Лебеду едим, тело пухнет... Смилуйся...»

Слушая, Петр сердито застучал огнивом об осколок кремня, до крови сбил палец. Раскурив трубку, глубоко-

ко вдыхал дым... Непроторотное бытие!.. Сквозь летящие тучи солнце волновалось на посиневшей реке. На том берегу поднимались на стапелях ребра строящегося корабля. Стучали топоры, визжали пилы. Там пахло табачком, дегтем, стружками, морскими канатами... Ветер с моря продувал сердце... Тогда ночью Лефорт сказал: «Русская страна страшная, Петер... Ее, как шубу — вывернуть, строить заново...»

— За границей не воруют, не разбойничают,— сказал Петр, щурясь на зыбь,— люди, что ли, там другой породы?..

— Люди те же, Петр Алексеевич, да воровать им не выгодно, честнее-то выгоднее... Купца там берегут, и купец себя бережет... Отец мой приехал при Алексее Михайловиче, завод поставил в Туле, хотел работать честно. Не дали,— одними волокитами разорили... У нас не вор — значит, глуп, и честь — не в чести, честь только б над другими величаться. А и среди наших есть смышленные люди... (Белые, пухлые пальцы Андрея Андреевича будто плели паутину, отблескивало солнце на очках, говорил он мягко, вязью.) Ты возвеличь торговых людей, вытащи их из грязи, дай им силы, и будет честь купца в одном честном слове,— смело опирайся на них, Петр Алексеевич...

Те же слова говорил и Сидней, и Ван Лейден, и Лефорт. Неизведанное чудилось в них Петру, будто под ногами прощупывалась станова жила... Сие уже не какие-нибудь три потешных полка, а толща, сила... Положив локоть на подоконник, он глядел на масляным солнцем сверкающие волны, на верфь, где беззвучно по свае ударяла кувалда и долго спустя долетал удар... Моргал, моргал, билось сердце, самонадеянно, тревожно-радостно.

— Вологодский купчина, Иван Жигулин, самолично привез челобитную, молит допустить перед очи,— особо внятно проговорил Андрей Андреевич.

Петр кивнул. Виниус, легко колыхаясь тучным телом, подошел к двери, кого-то окрикнул, проворно сел на место. За ним вошел широкоплечий купчина, стриженный по-новгородски — с волосами на лоб, сильное лицо, острый взгляд исподлобья. Размашисто перекрестясь, поклонился в ноги. Петр трубкой указал на стул:

— Велю — сядь... (Жигулин только шевельнул бровями, сел с великим бережением.) Чего просишь? (Жигулин покосился на Виниуса.) Говори так...

Жигулин, видимо, смекнул, что здесь не разбивать лоб, а надо показывать мошну, с достоинством разобрал усы, поглядел на козловые свои сапоги, кашлянул густо.

— Бьем челом великому государю... Как мы узнали, что ты корабли строишь на Двине, — батюшки, радость-то какая! Хотим, чтоб не велел нам продавать товар иноземцам... Ей-ей, даром отдаем, государь... Ворвань, тюленьи кожи, семга соленая, рыба кость, жемчуг... Вели нам везти на твои корабли... Совсем разорили нас англичане... Смилуйся! Уж мы постараемся, чем чужим королям, — своему послужим.

Петр блестел на него глазами; потянувшись, хлопнул по плечу, оскалился радостно:

— К осени два корабля построю, да третий в Голландии куплен... Везите товар, но без обману, — смотри!

— Да мы, господи, да...

— А сам поедешь с товаром?.. Первый коммерциентрат... Продавать в Амстердам?..

— Языкам не учен... А повелишь, так — что ж? Поторгуем и в Амстердаме, в обман не дадимся.

— Молодец!.. Андрей Андреевич, пиши указ... Первому негоцианту-навигатору... Как тебя, — Жигулин Иван, а по батюшке?..

Жигулин раскрыл рот, поднялся, глаза вылезли, борода задралась.

— Так с отчеством будешь писать нас?.. Да за это — что хошь!

И, как перед спасом, коему молился об удаче дел, повалился к царским ножкам...

.

Жигулин ушел. Виниус скрипел пером. Петр, бегая по комнате, ухмылялся. Остановился:

— Ну, что у тебя еще?.. Читай короче...

— Опять разбойные дела. На троицкой дороге обоз с казной разбили, двоих убили до смерти... По розыску взят со двора Степка Одоевский, младший сын князя Семена Одоевского, привезен в простой телеге в Разбойный приказ, и там он повинился, и учинено ему на-

казание: в приказе, в подклети бит кнутом, да отнято у него бесповоротно дом на Москве и четыреста дворов крестьянских. Отцом, князем Семеном, взят на поруки... А из дворни его, Степки, пятнадцать человек повешено...

— Андрей Андреевич, вот они князья, бояре — за кистени взялись, разбойничают...

— Истинно, разбойничают, Петр Алексеевич.

— Тунеядцы, бородачи!.. Знаю, помню... У каждого нож на меня припасен... (Свернул шею.) Да у меня на каждого — топор... (Плюясь, дернул ногой. Растопыренными пальцами вцепился, потянул скатерть. Виниус поспешно придержал чернильницу и бумаги.) У меня теперь сила есть... Столкнемся... Без пощады... (Пошел к двери.)

— Прости, Петр Алексеевич, еще два письма... От цариц...

— Читай, все одно...

Он вернулся к окну и ковырял трубку. Виниус с полупоклоном читал:

— «...Здравствуй, радость моя, батюшка, царь Петр Алексеевич, на множество лет... (Петр повернул к нему изумленную бровь.) Сынишка твой, Алешка, благословения от тебя, света моего радости, прошу. Пожалуй, радость наша, к нам, государь, не замешкав... Ради того у тебя милости прошу, что вижу государыню свою бабушку в великой печали... Не покручинься, радость мой государь, что худо письмишко: еще, государь, не выучился...»

— Чьей рукой писано?

— Великой государыни Натальи Кирилловны дрожащей рукой, невнятно.

— Ну, ты отпиши чего-нибудь... Гамбургских, мол, кораблей жду... Здоров, в море не хожу, пусть не кручинятся... Да чтоб скоро не ждали, слышишь...

Виниус проговорил с тихим вздохом:

— Царевича Алексея Петровича к письму своеручно приложен пальчик в чернилах...

— Ну, ладно, ладно — пальчик... (Фыркнул носом, взял у Виниуса второе письмо.) Пальчик!..

Письмо от жены он прочел в лодке. Свежий ветер с моря наполнял парус, утлый ботик, как живой, нырял и взносился, пенные волны били о борт, пена воды про-

летала с носа. Петр, сидя у руля, читал забрызганное, прижатое к колену письмишко...

«Здравствуй, мой батюшка, на множество лет... Прошу тебя, свет мой, милости, обрадуй меня, батюшка, отпиши о здоровье своем, чтобы мне, бедной, в печалях своих порадоваться... Как ты, свет мой, изволил уйтить и ко мне не отписал ни единой строчки... Только я, бедная, на свете несчастная, что не пожалуешь, не пишешь о здоровье своем. Отпиши, радость моя, ко мне, — как ты ко мне изволишь быть... А я с Олешенькой жива...»

Ботик черпнул бортом. Петр торопливо положил руль налево, большая волна, шумя пеной, плеснула в борт, окатила с головы до ног. Он засмеялся. Ненужное письмо, сорванное ветром у него с колена, взлетело и вдалеке пропало в волнах...

17

Наталья Кирилловна дождалась наконец сына, как раз в тот день, когда у нее будто гвоздь засел в сердце. Высоко лежа на лебяжьих подушках, глядела расширенными зрачками на стену, на золотой завиток на тисненной коже. Страшилась отвести взор, пошевелиться, хуже всякой жажды мучила пустота в груди, — не хватало воздуха, но — чуть силилась вздохнуть — глаза выкатывались от ужаса.

Лев Кириллович то и дело на цыпочках входил в опочивальню, спрашивал у комнатных боярынь:

— Ну, как?.. Боже мой, боже мой, не дай сего...

Глотая слюну, садился на постели. Заговаривал, сестра не отвечала. Ей весь мир казался маревом... Одно чувствовала — свое сердце с воткнутым гвоздем...

Когда в Кремль прискакали на взмыленных лошадях махальщики, вопя: «Едет, едет!» — и пономари, крестьясь, полезли на колокольни; открылись двери Архангельского и Успенского соборов, протопопы и дьяконы, спеша, выпрастывали волосы из-под риз; дворцовые чины столпились на крыльце, скороходы босиком дунули врассыпную по Москве оповещать высших, — Лев Кириллович, задыхаясь, наклонился над сестрой:

— Прибыло солнце красное!..

Наталья Кирилловна разом глотнула воздуху, пухлые руки начали драть сорочку, губы посинели, запроки-

нулась. Лев Кириллович сам стал без памяти разевать рот... Боярыни кинулись за исповедником. Поблизости в углах и чуланах застонали убогие люди... Переполошился весь дворец.

Но вот подал медный голос Иван Великий, затрезвонили соборы и монастыри, зашумела челядь, среди гула и криков раздались жесткие голоса немецких офицеров: «Ахтунг... Мушкет к ноге... Хальт... Так держать...» Кареты, колымаги во весь мах промчались мимо войск и народа к Красному крыльцу. Искали глазами, но среди богатых ферязей, генеральских епанчей и шляп с перьями не увидели царя.

Петр побежал прямо к матери,— в переходах люди едва успевали шарахаться. Загорелый, худой, коротко стриженный, в узкой куртке черного бархата, в штанах пузырями, он несся по лестницам,— иные из встречных думали, что это лекарь из Кукуя (и уж потом, узнав, крестились со страха). Не ждали. когда он, рванув дверь, вскочил в низенькую душную опочивальню, обитую кордовской кожей... Наталья Кирилловна приподнялась на подушках, вперила заблестевшие зрачки в этого тощего голландского матроса...

— Маменька,— крикнул он, будто из далекого детства,— миленькая...

Наталья Кирилловна протянула руки:

— Петенька, батюшка, сын мой...

Материнской жалостью преодолевала вонзающийся в сердце гвоздь, не дышала, покуда он, припав у изголовья, целовал ей плечо и лицо, и только когда смертно рвануло в груди,— разжала руки, отпустила шею...

Петр, вскочив, глядел будто с любопытством на ее закатившиеся глаза. Боярыни, страшась выть, заткнули рты платками. Лев Кириллович мелко трясся. Но вот ресницы у Натальи Кирилловны затрепетали. Петр хрипло сказал что-то,— не поняли,— кинулся к окну, затряс свинцовую раму, посыпались круглые стекла.

— За Блюментростом, в слободу! — И, когда опять не поняли, схватил за плечи боярыню.— Дура, за лекарем! — Толкнул ее в дверь.

Едва живая, кудахча, боярыня затопотала по лестнице.

— Царь велел! Царь велел!..— А чего велел,— так и не выговорила...

Наталья Кирилловна отдышалась и на третьи сутки даже стояла обедню, хорошо кушала. Петр уехал в Преображенское, где жила Евдокия с царевичем Алексеем (перебралась туда с весны, чтобы быть подалее от све-крови). Мужа ожидала только на днях и была не готова и не в уборе, когда Петр вдруг появился на песчаной дорожке в огороде, где под липовой тенью варили варенье из антоновских яблок. Миловидные, на подбор, с длинными косами, в венцах, в розовых летниках, сеньные девки чистили яблоки под надзором Воробьихи, иные носили хворост к печурке, где сладко кипел медный таз, иные на разостланном ковре забавляли царевича — худенького мальчика с большим лбом, темными не улыбающимися глазами и плаксивым ротиком.

Никто не понимал, чего ему хочется. Задастые девки мяукали по-кошачьи, лаяли по-собачьи, ползали на карачках, сами кисли от смеха, а дитя глядело на них зло,— вот-вот заплачет. Евдокия сердилась:

— У вас, дур, другое на уме... Стешка, чего задралась? Вот по этому-то месту тебя хворостиной... Васенка, покажи ему козу... Жука найдите, соломинку ему вставьте, догадайтесь. Корми вас, ораву,— дитя не могут утешить...

Евдокии было жарко, надоедали осенние мухи. Сняла кикю, велела чесать себе волосы. День был хрустальный, над липами — безветренная синева. Кабы не прошел спас,— впору побежать купаться, но уж олень в воде рога мочил,— нельзя, грех...

И вдруг на дорожке — длинный, весь в черном, смуглый человек. Евдокия схватилась за щеки. До того шибко заколотилось сердце — мысли отшибло... Девки только ахнули и — кто куда — развевая косами, кинулись за сиреневые, шиповниковые кусты. Петр подошел, взял под мышки Евдокию, надавливая зубами, поцеловал в рот... Зажмурилась, не ответила. Он стал целовать через расстегнутый летник ее влажную грудь. Евдокия ахнула, залившись стыдом, дрожала... Олешенька, один сидя на ковре, заплакал тоненько, как зайчик... Петр

схватил его на руки, подкинул, и мальчик ударился ревом...

Плохое вышло свидание. Петр о чем-то спрашивал, — Евдокия — всё невпопад... Простоволосая, неприбранная... Дитя перемазано вареньем... Конечно — муженек покрутился небольшое время, да и ушел. У дворца его обступили мастера, купцы, генералы, друзья-собутельники. Издалека слышался его отрывистый хохот. Потом ушел на речку смотреть яузский флот. Оттуда на Кукуй... Ах, Дуня, Дуня, проворонила счастье!..

Воробьиха сказала, что дело можно поправить. Взятась бодро. Погнала девок топить баньку. Мамкам велела увести Олешеньку умыть, прибрать. И шептала царице:

— Ты, лебедь, ночью не растеряйся. В баньке тебя попарим по-нашему, по-мужичьему, квасом поддадим, росным ладаном умоем, — хоть нюхай тебя где хошь... А для мужиков первое дело — дух... И ты, красавица, встречу его слов непрестанно смейся, чтоб у тебя все тряслось, хохочи тихо, мелко — грудью... Мертвый от этого обезумет.

— Воробьиха, он к немке поехал...

— Ой, царица, про нее и не заикайся... Эко диво — немка: вертлява, ум корыстный, душа черная, кожа липкая... А ты, как лебедь пышная, встрень его в постельке, нежная, веселая, — ну, где ж тут немке...

Евдокия поняла, заторопилась. Баньку ей натопили жарко. Девки с бабой Воробьихой положили царицу на полок, веяли на нее вениками, омоченными в мяте и росном ладане. Повели ее, размякшую и томную, в опочивальню, чесали, румянили, сурмили, положили в постель, задернули завесы, и Евдокия стала ждать...

Скребли мыши. Настала ночь, заглох дворец, бессонно на дворе постукивал сторож, стучало в подушку сердце... Петенька все не шел... Помня Воробьихины слова, лежала в темноте, улыбаясь, хотя от ненависти к немке живот трясся и ноги были как лед.

Вот уже сторож перестал колотить, мыши угомонились. Сенным девкам, и тем стыдно будет завтра на глаза показаться!.. Все же Евдокия крепилась, но вспом-

нила, как они с Петрушей ели курицу в первую ночь, и завывала, уткнувшись, — слезами замочила подушку...

Разбудило ее жаркое дыхание. Подкинулась: «Кто тут, кто тут?..» Спросонок не поняла — кто навалился... Разобрав, застонала от еще живой обиды, прижала кулаки к глазам... Петруша на человека не был похож, пьяный, табачный, прямо от девки немки — к ней, заждавшейся... Не ласкал, насильничал, молча, страшно... Стоило росным ладаном мыться!

Евдокия отодвинулась к краю постели. Петруша пробормотал что-то, заснул, как пьяный мужик в канаве... Меж занавесей синело. Евдокия, стыдясь Петрушиных длинных голых ног, прикрыла его, тихо плакала, — Воробьишины слова пропали даром...

.

Из Москвы прискакал гонец: Наталье Кирилловне опять стало хуже. Кинулись искать царя. Он сидел в новой Преображенской слободе в избе у солдата Бухвостова на крестинах. Ели блины. Никого, кроме своих, не было: поручик Александр Меньшиков, Алешка Бровкин, недавно взятый Петром в денщики, и князь-папа. Балагурили, веселились Меньшиков рассказывал, как двенадцать лет назад он с Алешкой убежал из дому, жили у Зайца, бродяжничали, воровали, как встретили на Яузе мальчишку Петра и учили его протаскивать иголку сквозь щеку.

— Так это ты был?.. Ты?.. — изумясь, кричал Петр. — Ведь я потом тебя полгода искал... За эту иголку люблю, Алексашка! — И целовал его в рот и в десны.

— А помнишь, Петр Алексеевич, — грозя пальчиком, спрашивал князь-папа, — припомни-ка мою плетку, как бивал тебя за проделки?.. И баловник же был... Бывало...

И Никита Зотов принимался рассказывать, как Петр, — ну, титешный мальчоночка, от земли не видно, а уж государственный имел ум... Бывало, вопрос задаст боярам, и те думают, думают — не могут ответить, а он вот так махнет ручкой и — на тебе — ответ... Чудо...

Все за столом, разиня рот, слушали про эти чудеса, и Петр, хотя и не припоминал за собой такого, но — раз другие верят — и сам поддакивал...

Бухвостов подливал в чарки. Мужик он был хитроватый, видом прост и бескорыстен, Петра понимал и пьяного и трезвого, но за Алексашкой, конечно, угнаться не мог,— и года были не те, и ум косный... Улыбался, потчевал радушно, в беседу не лез.

— А вот,— говорил Меньшиков, царапая шитыми золотом малиновыми обшлагами по скатерти (сидел прямо, ел мало, вино его не брало, только глаза синели),— а вот узнали мы, что у царского денщика, Алексея Бровкина, красавица сестра на выданье... В сие дело надо бы вмешаться...

Степенный Алешка заморгал и вдруг побледнел... К нему пристали,— сильнее всех Петр, и он подтвердил: верно, сестра Александра на выданье, но жениха подходящего нет. Батя Иван Артемич до того сделался гордый — и на купцов средней руки глядеть теперь не хочет. Завел медецинских кобелей, люди пугаются — мимо двора ходят. Свах гонит взашею. Саньку до того довел — ревет день и ночь: года самые у нее сочные, боится — вместо венца — монашкиным клубуком все это кончится из-за батиной спеси...

— Как нет жениха? — разгорячился Петр. — Поручик Меньшиков, извольте жениться...

— Не могу, молод, с бабой не справлюсь, мин херц...

— А ты, святейший кир Аникита? Хочешь жениться?

— Староват, сынок, для молоденькой-то! Я все больше с бл...ми...

— Ладно, дьяволы пьяные... Алешка, отписывай отцу, я сам буду сватом..

Алешка снял черный огромный парик и степенно поклонился в ноги. Петр захотел тотчас же ехать в деревню к Бровкиным, но вошел гонец из Кремля, подал письмо от Льва Кирилловича. Царица кончилась. Все поднялись от стола и тоже сняли парики, покуда Петр читал письмо. У него опустились, задрожали губы... Взял с подоконника шляпу, нахлобучил на глаза. По щекам текли слезы. Молча вышел, зашагал по слободе, пыля башмаками. На полдороге его встретила карета,— влез и вскачь погнал в Москву.

Пока другие судили и рядили, что ж теперь будет,— Александр Меньшиков был уже у Лефорта с ве-

ликой вестью: Петр-де становится единовластным хозяином. Обрадованный Лефорт обнял Алексашку, и они тайно шептались о том, что Петру теперь надо бросить увилывать от государственных дел,— в руках его вся казна и все войско, и никто в его волю встреть не должен, кроме как свои, ближайшие. Большой двор надо переводить в Преображенское. И Анне Монс надо сказать, чтоб более не ломалась, далась бы царю беззаветно... Так надо...

.

До прибытия царя Наталью Кирилловну не трогали. Она лежала с изумленным, задушевно-синим лицом, веки крепко зажмурены, в распухших руках — образок.

Петр глядел на это лицо... Казалось — она так далеко ушла, что все забыла... Искал,— хоть бы в уголке рта осталась любовь... Нет, нет... Никогда так чуждо не были сложены эти губы... А ведь утром еще звала сквозь задыхание: «Петрушу... благословить...» Почувствовал: вот и один, с чужими... Смертно стало жалко себя, покинутого...

Он поднял плечи, нахохлился... В опочивальне, кроме искисших от слез боярынь, были новый патриарх Адриан — маленький, русоволосый, с придурковатым любопытством глядевший на царя, и сестра, царевна Наталья Алексеевна, года на три старше Петра,— ласковая и веселая девушка. Она стояла, пригорюнясь по-бабьи — щеку на ладонь, в серых глазах ее светилась материнская жалость.

Петр подошел.

— Наташа... Маманю жалко...

Наталья Алексеевна схватила его голову, прижала к груди. Боярыни тихо завывали. Патриарх Адриан, чтобы лучше видеть, как царь плачет, повернулся спиной к покойной, приоткрыл рот... Шатаясь, вошел Лев Кириллович, с бородою совсем мокрой, с распухшими, как сырое мясо, щеками, упал перед покойницей, замер, только вздрагивал задом.

Наталья Алексеевна увела брата наверх к себе в светелку, покуда покойницу будут обмывать и убирать. Петр сел у пестрого окошечка. Здесь ничто почти не

изменилось с детства. Те же сундучки и коврики, на поставцах серебряные, стеклянные, каменные звери, зеркальце сердечком в веницейской раме, раскрашенные листы из священного писания, заморские раковины...

— Наташа,— спросил тихо,— а где, помнишь, турок был у тебя со страшными глазами?.. Еще голову ему отломали

Наталья Алексеевна подумала, открыла сундучок, со дна вынула турка и его голову. Показала, брови у нее заломились. Присела к брату, сильно обняла, оба заплакали.

К вечеру Наталью Кирилловну, убранную в золотые ризы, положили в Грановитой палате. Петр у гроба, сгибаясь над аналоем меж свечей, читал глуховатым баском. У двух дверей стояли по двое белые рынды с топориками на плечах, неслышно переминались. В ногах гроба на коленях — Лев Кириллович... Все во дворце, умаявшись, спали...

Глухой ночью скрипнула дверь, и вошла Софья, в черной жесткой мантии и черном колпачке. Не глядя на брата, коснулась губами синеватого лба Натальи Кирилловны и тоже стала на колени. Петр перевертывал склеенные воском страницы, басил вполголоса. Через долгие промежутки слышались куранты. Софья искоса поглядывала на брата. Когда стало синеть окно, Софья мягко поднялась, подошла к аналою и — шепотом:

— Сменю... Отдохни...

У него невольно поджались уши от этого голоса, запнулся, дернул плечом и отошел. Софья продолжала с полуслова, читая — сняла пальцами со свечи. Петр прислонился к стене, но голове стало неудобно под сводом. Сел на сундук, уперся в колени, закрыл лицо. Подумал: «Все равно, не прощу...» Так прошла последняя старозаветная ночь в кремлевском дворце...

На третий день прямо с похорон Петр уехал в Преображенское и лег спать. Евдокия приехала позже. Ее провожали поездом боярыни,— их она и по именам не знала. Теперь они называли ее царицей-матушкой, лебезили, величали, просили пожаловать — поцеловать ручку... Едва от них отвязалась. Прошла к Олешеньке,

потом — в опочивальню. Петр, как был — одетый, лежал на белой атласной постели, только сбросил пыльные башмаки. Евдокия поморщилась: «Ох, уж кукуйские привычки, как пьют, так и валяются...» Присев у зеркала, стала раздеваться — отдохнуть перед обедом... Из ума не шли дворцовые боярыни, их льстивые речи. И вдруг поняла: теперь она полновластная царица... Зажмурилась, сжала губы по-царичьи... «Анну Монс — в Сибирь навечно, — это первое. За мужа — взяться... Конечно, покойная свекровь, ненавистница, только и делала, что ему наговаривала. Теперь по-другому повернется. Вчера была Дуня, сегодня государыня всяя Великия и Малыя и Белья... (Представила, как выходит из Успенского собора, впереди бояр, под колокольный звон к народу, — дух перехватило.) Платье большое царское надо шить новое, а уж с Натальи Кирилловны обносы не надену... Петруша всегда в отъезде, самой придется править... Что ж, — Софья правила — не многим была старше. Случится думать, — бояре на то, чтоб думать... (Вдруг усмехнулась, представила Льва Кирилловича.) Бывало — едва замечает, глядит мимо. а сегодня на похоронах все под ручку поддерживал, искал глазами милости... У, дурак толстый».

— Дуня... (Она вздрогнула, обернулась.) — Петр лежал на боку, опираясь на локоть. — Дуня... Мама ня умерла... (Евдокия хлопала ресницами.) Пусто... Я было заснул... Эх... Дунечка...

Он будто ждал от нее чего-то. Глаза жалкие. Но она раскатилась мыслями, совсем осмелела:

— Значит, так богу было нужно... Не роптать же... Поплакали и будет. Чай — цари... И другие заботы есть... (Он медленно выпростал локоть, сел, свесив ноги. На чулке против большого пальца — дыра...) Вот что еще, неприлично, нехорошо — в платье и на атласное одеяло... Все с солдатами да с мужиками, а уж пора бы...

— Что, что? — перебил он, и глаза ожили. — Ты грибов, что ли, поганых наелась, Дуня?..

От его взгляда она струсила, но продолжала, хотя уже иным голосом, тот же вздор, ему не понятный. Когда брякнула: «Мамаша всегда меня ненавидела, с самой свадьбы, мало я слез пролила», — Петр резко оскалится и начал надевать башмаки...

— Петруша, дырявый — гляди, перемени чулки, господи...

— Видал дур, но такой... Ну, ну... (У него тряслись руки.) Это я тебе, Дуня, попомню — маменькину смерть. Раз в жизни у тебя попросил... Не забуду...

И, выйдя, так хватил дверью, — Евдокия съежилась. И долго еще дивилась перед зеркалом... Ну, что такое сказала?.. Бешеный, ну просто бешеный...

.

Лефорт давно поджидал Петра в сенях у опочивальни. (На похоронах они виделись издали.) Стремительно схватил его руки:

— О Петер, Петер, какая утрата... (Петр все еще топорщился.) Позволь сочувствовать твоему горю... Их кондолире, их кондолире... Мейн херц ист фолль, шмерцен... О!.. Мое сердце полно шмерцен... (Как всегда, волнуясь, он переходил на ломаный язык, и это особенно действовало на Петра.) Я знаю — утешать напрасно... Но — возьми, возьми мою жизнь, и не страдай, Петер...

Со всею силой Петр обнял его, прилег щекой к его надушенному парику. Это был верный друг... Шепотом Лефорт сказал:

— Поедем ко мне, Петер... Развей свой печаль... Мы будем тебя немного смешить, если хочешь... Или — цузамен вейнен... Совместно плакать.

— Да, да, едем к тебе, Франц...

У Лефорта все было приготовлено. Стол на пять персон накрыт в небольшой горнице с дверями в сад, где за кустами спрятаны музыканты. Прислуживали два карлика в римских кафтанах и венках из кленовых листьев: Томос и Сека. Розами, связанными в жгуты, была убрана вся комната. Сели за стол — Петр, Лефорт, Меньшиков и князь-папа. Ни водки, ни обычной к ней закуски не стояло. Карлы внесли на золоченых блюдах, держа их над головами, пирог из воробьев и жареных перепелок.

— А для кого пятая тарелка? — спросил Петр.

Лефорт улыбался приподнятыми уголками губ.

— Сегодня римский ужин в славу богини Цереры, столь знаменитой утешительной историей с дочерью своей Прозерпиной...

— А что за гиштория? — спросил Алексашка. Сидел он в шелковом кафтане, в парике — космами до пояса — до крайности томный. Так же был одет и Аникита.

— Прозерпина утащена адским богом Плутоном, — говорил Франц. — мать горюет... Кажись, и конец бы гиштории. Но нет, — смерти нет, но вечное произрастание.. Злосчастная Прозерпина проросла сквозь землю в чудный плод гранат и тем объявилась матери на утешение..

Петр был тих и грустен. В саду — черно и влажно. Сквозь раскрытую дверь — звезды. Иногда падал, в полосе света из комнаты, сухой лист.

— Для кого же прибор? — переспросил Петр.

Лефорт поднял палец. В саду хрустел песок. Вошла Анхен, в пышном платье, в левой руке — колосья, правой прижимала к боку блюдо с морковью, салатом, редькой, яблоками. Волосы собраны в высокий узел, и в нем — розы. Лицо ее было прелестно в свете свечей.

Петр, не встал, только вытянулся, схватясь за подлокотник стула. Анна поставила перед ним блюдо, присела, кланяясь, видимо ее учили что-то сказать при этом, но ничего не сказала, смешалась, и так вышло даже лучше...

— Церера тебе плоды приносит, сие означает: смерти нет... Прими и живи! — воскликнул Лефорт и подвинул Анне стульчик. Она села рядом с Петром. Налили пенящегося французского секту. Петр не отрывал взгляда от Анны. Но все еще было стеснительно за столом. Она положила пальцы на его руку:

— Их кондолире, герр Петер. (Большие глаза ее заволокло слезами.) Отдала бы все, чтобы утешить вас...

От вина, от близости Анхен разливалось тепло. Князь-папа уже подмигивал. Алексашку распирало веселиться. Лефорт послал карлика в сад, и там заиграли на струнах и бубнах. Аннушкино платье шуршало. Глаза ее просохли, как небо после дождя. Петр стряхнул с себя печаль.

— Секту, секту, Франц!..

— То-то, сынок, — лучась морщинами, сказал Аникита, — с грецкими да с римскими богами сподручнее..

В дремучих лесах за Окой (где прожили все лето) убогий Овдоким оказался, как рыба в воде, — удачлив и смел. Он подобрал небольшую шайку из мужиков опытных и пытаных: смерти и крови не боялись, зря не шалили. Стан был на болоте, на острове, куда ни человеку, ни зверю, кроме как одною зыбкой тропкой, пробраться нельзя. Туда сносили весь дуван: хлеб, живность, вино, одежду, серебро из ограбленных церквей. Жили в ямах, покрытых ветвями. На вековой сосне — сторожа, куда влезал Иуда оглядывать окрестность.

Всего разбойничков находилось на острове девять человек, да двое самых отчаянных бродили разведчиками по кабакам и дорогам. Едет ли купецкий обоз из Москвы в Тулу, или боярин собирается в деревеньку, или целовальник спьяна похвалился зарытой кубышкой, — сейчас же деревенский мальчонка, с кнутом или с лукошком, шел к темному лесу и там что есть духу бежал к острову. Свистел. Со сторожи в ответ свистел Иуда. Из землянки выползал согнутый Овдоким. Мальчонку вели через болото на остров и там расспрашивали. Во всех поселениях близ большой дороги были у Овдокима такие пересыльщики. Их хоть на части режь, — будут молчать... Овдоким их ласкал, покормит, подарит копейку, спросит о бате с мамой, но и дети и взрослые его боялись: ровен и светел, но и приветливость его наводила ужас.

Угрюмо было жить на болоте. С вечера поднимался туман, как молоко. Сырели кости, болели раны. Огня по ночам Овдоким разводить не велел... Однажды один разбойничек расшумелся, — ночь была, как в погребе: «Мало, мол, над нами воевод да помещиков, еще одного черта посадили», — да и стал раздувать костер. Овдоким ласковенько подошел к нему, переложил костыльки в левую руку и взял за горло. У того язык и глаза вывалились, — бросили его в болото.

Солнце вставало желтое, не греющее, вершины деревьев стояли по пояс в туманном мареве. Разбойнички кашляли, чесали поротые задницы, переобувались, грели котелки.

Настоящего дела нет. Хорошо, если свистнет из лесу пересыльщик. А то весь день — на боку, до одури. От



«ПЕТР ПЕРВЫЙ» (Книга первая)



«ПЕТР ПЕРВЫЙ» (Книга первая)

скуки рассказывали сказки, пели каторжные песни, томившие сердце. Про себя вспоминали редко, мало. Кроме Иуды и Жемова, все были беглые от помещиков,— их ловили, ковали в цепи, и снова они уходили из острогов.

Нередко Овдоким, садясь на мшистый камень, заводил рассказы. Слушали его угрюмо в дремотной лесной тишине,— Овдоким гнул непонятную линию. Лучше бы явно врал, как иные, скажем: вот, мол, ребята, скоро найдут золотую царскую грамоту, и будет всем воля,— живи, как хочешь, тихо, сытно, в забвении... Сказка, конечно, но сладко о ней было думать под влажный шум сосен... Нет, он никогда про утешение не говаривал...

— Было, ребятушки, одно времечко, да минуло,— сроки ему не вышли... Гулял я в суконном кафтане, на бочку — острая сабля, в шапке прелестные письма... Это время вернется, ребятушки, для того вас и в лесу держу... Собиралась голь, беднота перекатная, как вороны слетались,— тучами, несчетно... Золотую грамоту с собой несли, в кафтане защита у казака Степана Тимофеевича... Грамота кровью написана, брали кровь из наших ран, писали острым ножом... Сказано в ней: пощады чтобы не было,— всех богатеньких, всех знатеньких с поместьями, городами и посадами, со стольным градом Москвой — сделать пусто... И ставить на пустых местах казачий вольный круг... Ах, не удалось это, голуби... А быть и быть сему... Так в Голубиной книге написано...

Упершись бородкой о клюку, глядел водянистыми глазами на болотную дрябь, тихо давил на щеке комара, улыбался кротко.

— До покрова доживем, грибов здесь много... А посыпет первая крупа — поведу я вас, ребятушки, да не в Москву теперь... Там трудно стало. В Разбойный приказ посажен князь Ромодановский, а про него говорят: которого-де дни крови он изопьет, того дни и в те часы и весел, а которого дни не изопьет,— и хлеба ему не естся... А поведу я вас на реку Выгу, в дебрях, в раскольничье пристанище. Стоит там великая келья с полатями, и в ней устроены окна, откуда от присыльных царских людей борониться. Пищалей и пороху много. Живет в той келье чернец, не велик, седат и стар. В сборе у него раскольников, кои вразброс по Выге, душ двести... Сто-

ят у них хороминки на столбах, и пашут они без лошадей, и что им скажет чернец, то и делают, и беспрестанно число их множится. И никто ничего таить про себя не может, каждую неделю исповедуются у него, и он, взяв ягоду бруснику и муку ржаную или ячменную и смешав вместе, тем причащает. Проведу вас в тот сумеречный вертоград потайными дорогами, и там мы, ребята, отдохнем от злодейства...

Слушая про Выгу, разбойнички вздыхали, но мало кто верил, что живыми туда доберутся. Тоже — сказка.

На работе Овдоким бывал не часто, — оставаясь один на острове, варил кашу, стирал портки, рубашки. Но, когда выходил сам, заткнув сзади за кушак чеканный кистень, знали, что дело будет тяжелое. При убожестве был он, как паук, проворный, когда ночью, за свистев, так что волосы вставали дыбом, кидался к лошадям и бил их в лоб кистенем. Если ехали знатный и богатый, — он пощады не знал, сам кончал с людьми. Подневольных, попугав, отпускал, но плохо было тем, кто его признавал в лицо.

В Москве про эти шалости на тульской дороге знали и несколько раз посылали солдат с поручиком — истребить шайку. Но никто из них из лесу не вернулся, про солдатское злосчастье знали одни зыбучие дряби, куда заводил Овдоким...

Так жили ничего себе — сытно. В конце лета Овдоким собрал кое-какую рухлядь и послал Цыгана, Иуду и Жемова на большой базар в Тулу — продуванить.

— Уж вы, голуби, вернитесь с деньгами, не берите на душу греха... А то все равно живыми вам не быть, нет... Найду...

Через неделю вернулся один Иуда с разбитой головой, без вещей, без денег. На острове было пусто, — холодный пепел от костра да разбросанное тряпье. Ждал, звал. Никого. Стал искать место, где Овдоким зарывал деньги и слитки серебра, но клада не нашел.

Желтый и красный стоял лес, летели паутиновые нити, опадали листья. Затосковала Иудина душа, подобрал сухие корки и пошел куда-нибудь, — может, в Москву. И сразу же за болотом в красном полосатом сосновом лесу наткнулся на одного из товарищей, на рышкинского кабального крестьянина Федора Федорова.

Был Федор тихий, многосемейный и безропотный, как лошадь, жил на тяжком оброке и, можно сказать, телом своим кормил многочисленных детей. Одно попутало,— от вина обида кидалась ему в голову, ходил по деревне с колом, грозил нарышкинского управителя разбить на полы. Он ли убил управителя, или кто другой, только Федор побожился детям, что чист перед богом, и убежал. Сейчас он висел на сосновом суку, локти скручены, голова свернута набок, а в лицо Иуда и смотреть не стал... «Эх! товарищ, товарищ»,— заплакал и глушью пошел из этих мест...

Если верхние бояре, думавшие в кремлевском дворце государеву думу, все еще надеялись жить, как бог пошлет,— «молодой-де царь перебесится, дела образуются, тревожиться незачем, что бы ни стряслось,— мужики всегда прокормят»; если в Преображенском Петр со всякими новыми алчущими людишками, с купцами и дворянами, променявшими дедовскую честь на алонжевый парик,— теперь, безо всякого удержу, истощал казну на воинские и другие потехи, на постройку кораблей, солдатских слобод и дворцов для любимцев, бесстыдничал, веселился беспечно; если государство по-прежнему кряхтело, как воз в трясине,— на западе (в Венеции, в Римской империи, в Польше) так поворачивались дела, что терпеть московскую дремоту и двоедушие более не могли. В Северном море хозяйничали шведы, в Средиземном — турки, их тайно поддерживал французский король. Турецкий флот захватывал венецианские торговые корабли. Турецкие янычары разоряли Венгрию. Подданные султану крымские татары гуляли по южным польским степям. А Московское государство, обязанное по договору воевать татар и турок, только отписывалось, медлило и виляло: «Мы-де посылали два раза войска в Крым, а союзники-де нас не поддерживали, а ныне урожай плох,— надо бы подождать до другого года, воевать не отказываемся, но ждем, чтобы вы сами начали, а мы-де, ей-богу, подсобим».

В Москве сидели послы крымского хана, на подарки боярам не скупились, уговаривали заключить с Крымом

вечный мир, клялись русских земель не разорять и прежней, стыдной, дани не требовать. Лев Кириллович писал в Вену, Краков и Венецию к русским великим послам, чтобы цезарским, королевским и дожеским обещаниям не верить и самим — обещать уклончиво. Третий уже год шла эта волокита. Турки грозили огнем пройти всю Польшу, в Вене и Венеции воздвигнуть полумесяц. И вот из Вены в Москву прибыл цезарский посол Иоганн Курций. Бояре испугались, — надо было решаться. Посла встретили с великой пышностью, провезли через Кремль, поместили в богатых палатах, кормовые ему определили вдвое против иных послов и начали путать, лгать и тянуть дело, отговариваясь тем, что царь-де в потешном походе, а без него решить ничего не могут.

Все же говорить пришлось. Иоганн Курций припер бояр старым договором, добился, что приговорили: быть войне, и на том поцеловали крест. Курций, обрадованный, уехал. В Москву прислали благодарственные письма от римского цезаря и польского короля, где именовали царя «величеством» со всем полным титулом вплоть до «государя земель Иверской, Грузинской и Кабардинской и областей Дедич и Отчич». После сего удалось протянуть еще некоторое время. Но уже было ясно, что войны не миновать...

20

После масленой недели, когда великопостный звон поплыл над засмиревшей в мягком рассвете Москвой, про войну заговорили сразу на всех базарах, в слободах, на посадах. Будто в одну ночь нашептали людям: «Будет война — чего-нибудь да будет. А будет Крым наш, — торгуй со всем светом... Море великое, там ярыжка за копейкой за щеку не полезет».

Приходившие с обозами пшеницы из-под Воронежа, Курска, Белгорода мужики-хуторяне и омужичившиеся помещики-однодворцы рассказывали, что в степях войны с татарами ждут не дождутся... «Степи нашей на полдень и на восток — на тысячи верст. Степь как девка ядреная, — над ней только портками потряси, — в зерне по шею бы ходили... Татарва не допускает... Сколько нашего брата в плен в Крым угнали, — эх!.. А воля в степях, а уж воля! — не то, что у вас, москали...»

Более всего споров о войне было на Кукуе. Многие не одобряли: «Черное море нам ненадобно, к туркам, в Венецию лес да деготь, да ворвань не повезешь... Воевать надо северные моря...» Но военные, в особенности молодые, горячо стояли за войну. Этой осенью ходили двумя армиями под деревню Кожухово и там, не в пример прочим годам, воевали по всей науке. Про полки Лефортов и Бутырский, про потешных преображенцев и семеновцев, наименованных теперь лейбгвардией, иностранцы отзывались, что не уступят шведам и французам. Но славой кожуховского похода гордиться можно было разве что на пирах под задравные речи, шум литавров и залпы пушек. Офицеры, в воронных париках, шелковых шарфах до земли и огромных шпорах, не раз слыхивали вдогонку: «Кожуховцы! — храбры бумажными бомбами воевать, татарской пульты попробуйте...»

Колебались только самые ближние, — Ромодановский, Артамон Головин, Апраксин, Гордон, Виниус, Александр Меншиков: предприятие казалось страшным... «А вдруг — поражение? Не спастись тогда никому, всех захлестнут возмущенные толпы... А не начинать войны — того хуже, и так уже ропот, что царей опутали немцы — душу подменили, денег уйма идет на баловство, люди страдают, а дел великих не видно».

Петр помалкивал. На разговоры о войне отвечал двусмысленно: «Ладно, ладно, пошутили под Кожуховым, к татарам играть пойдем...» Один только Лефорт да Меншиков знали, что Петр затаил страх, тот же страх, как в памятную ночь бегства в Троицу. Но и знали, что воевать он все же решится.

Из Иерусалима два черноликих монаха привезли письмо от иерусалимского патриарха Досифея. Патриарх слезно писал, что в Адрианополь прибыл посол французский с грамотой от короля насчет святых мест, подарил де великому визирю семьдесят тысяч золотых червонных, а случившемуся в то же время в Адрианополе крымскому хану — десять тысяч червонных и просил, чтоб турки отдали святые места французам... «И турки отняли у нас, православных, святой гроб и отдали французам, нам же оставили только двадцать четыре лампы. И взяли французы у нас половину Голгофы, всю церковь

вифлеемскую, святую пещеру, разорили все деисусы, раскопали трапезу, где раздаем святой свет, и хуже наделали в Иерусалиме, чем персы и арабы. Если вы, божественные самодержавцы московские, оставите святую церковь, то какая вам похвала будет?.. Без этого не заключайте с турками мира, — пусть вернут православным все святые места. А буде турки откажутся, — начинайте войну. Теперь время удобное: у султана три больших войска ратуют в Венгрии с императором. Возьмите прежде Украину, потом Молдавию и Валахию, также и Иерусалим возьмите и тогда заключайте мир. Ведь вы ж упросили бога, чтоб у турок и татар была война с немцами, — теперь такое благополучное время, и вы не радуете! Смотрите, как мусульмане смеются над вами: татары-де, — горсть людей, — и хвалятся, что берут у вас дань, а татары — подданные турецкие, то и выходит, что и вы — турецкие подданные...»

Обидно было читать в Москве это письмо. Собралась большая боярская Дума. Петр сидел на троне молча, угрюмый, — в царских ризах и бармах. Бояре отводили душу витиеватыми речами, ссылались на древние летописи, плакали о попрании святынь. Уж и вечер засинел в окнах, на лица полился из угла свет лампад, — бояре, вставая по чину и месту, отмахивали тяжелые рукава и говорили, говорили, шевелили белыми пальцами, — гордые лбы, покрытые потом, строгие взоры, холеные бороды и пустые речи, крутившиеся как игрушечное колесо по ветру, оскоминой вязли в мозгу у Петра. Никто не говорил прямо о войне, а, косясь на думного дьяка Виниуса, записывающего с двумя подьячими боярские речи, плели около... Страшились вымолвить — война! — разворотить покойное бытие. А вдруг да снова смута и разорение? Ждали царского слова, и, очевидно, как бы он сказал, так бы и приговорили.

Но и Петру жутко было взваливать на одного себя такое важное решение: молод еще был и смолоду пуган. Выжидал, щурил глаза. Наконец заговорили ближайšie и уже по-иному — прямо к делу. Тихон Стрешнев сказал:

— Конечно, воля его, государева... А нам, бояре,ivotы должно положить за гроб господень поруганный да государеву честь... Уж в Иерусалиме смеются, — куда же

позору-то глыбше?.. Нет, бояре, приговаривайте созывать ополчение...

Лев Кириллович по тихости ума понес было издали — с крещения Руси при Владимире, но, взглянув на кисло сморщившееся лицо Петра, развел руками:

— Что ж, нам бояться нечего, бояре... Василий Голицын ожегся на Крыме. А чем ополчение-то его воевало? Дрекольем... Ныне, слава богу, оружия у нас достаточно... Хотя бы мой завод в Туле, — пушки льем не хуже турецких... А пищали и пистолы у меня лучше... Прикажет государь, — к маю месяцу наконечников копий да сабелек поставлю хоть на сто тысяч... Нет, от войны нам пятиться не можно...

Ромодановский, посипев горлом, сказал:

— Мы б одни жили, мы бы еще подумали... А на нас Европа смотрит... На месте нам не топтаться, — сие нам в неминуемую погибель... Времена не Гостомысла, жестокие времена настают... И первое дело — побить татар...

Тихо стало под красными низкими сводами. Петр грыз ногти. Вошел Борис Алексеевич Голицын, обритый наголо, но в русском платье, веселый, — подал Петру развернутый лист. Это была челобитная московского купечества; просили защитить Голгофу и гроб господень, очистить дороги на юг от татар, и если можно, то и города рубить на Черном море. Виниус, подняв на лоб очки, внятно прочел бумагу. Петр поднялся — мономаховой шапкой под шатер.

— Что ж, бояре, — как приговорите?

И глядел зло, рот сжал в куриную гузку. Бояре восстали, поклонились:

— Воля твоя, великий государь, — созывай ополчение...

21

— Цыган... Слушай меня.

— Ну?

— Ты ему скажи, — подручным, скажи, был у меня в кузне... И крест на том целуй...

— Стоит ли?

— Конечно... Еще поживем... Ведь эдакое счастье...

— Надоело мне, Кузьма. Скорее бы уж кончили...

— Кончат! Дождись... Вырвут ноздри, кнутом обдерут до костей и в Сибирь...

— Да, это... пожалуй... Это отчаянно...

— Льва Кирилловича управитель был в Москве и взял грамоту, чтоб искать в острогах нужных людей — брать на завод. А это как раз мое дело, — я и разговаривался... Они меня помнят... Э, милый, Кузьму Жемова скоро не забудешь... Есть мне дали, щи с говядиной... И обращение — без битья.. Но — строго... Позовут, ты так и говори — был у меня молотобойцем...

— Щи с говядиной? — подумав, повторил Цыган.

Разговаривали Цыган с Жемовым в тульском остроге, в подполье. Сидели они вот уже скоро месяц. Били их только еще один раз, когда поймали на базаре с краденой рухлядью. (Иуде тогда удалось убежать.) Они ждали розыска и пытки. Но тульский воевода с дьяками и подьячими сам попал под розыск. Про колодников забыли. Осторожный сторож водил их каждое утро, забитых в колодки, на базар просить милостыню. Тем питались да еще кормили и сторожа. И вот нежданно — вместо Сибири — на оружейный завод Льва Кирилловича. Все-таки ноздри останутся целы.

.

Цыган сказал про себя так, как учил его Жемов. Из острога их в колодках погнали за город на реку Упу, где по берегу стояли низкие кирпичные постройки, обнесенные тыном, и в отведенной из реки канаве скрипели колеса водяных мельниц. Было студено, с севера волоклись тучи. У глинистого берега толпа острожников выгружала со стругов дрова, чугун и руду. Кругом — пни да оголенные кусты, омертвевшие поля. Осенний ветер. Тоской горел единый глаз у Цыгана, когда подходили к окопанным воротам, где стояли сторожа с бердышами... Мало того, что и били, и гоняли, как дикого зверя по земле, душу вытряхивали, — мало им этого!.. Работай на них, работай... Сдохнуть не дают...

Ввели в ворота на черный, заваленный железом двор... Грохот, визг пилы, стукотня молотков. Сквозь закопченные двери видно — летят искры из горна, там — люди, голые по пояс, размахиваясь кругом, куют полосу,

там — многопудовый молот от мельничного колеса падает на болванку, и брызжет нагар в кожаные фартуки, там у верстаков — слесаря... Из ворот по доскам на крышу приземистой печи тянутся тачки с углем, огонь и черный дым выбрасываются из домны. Жемов толкал локтем Цыгана:

— Узнают они Кузьму Жемова...

В стороне от кузниц в опрятном кирпичном домике в окно глядело розовое, как после бани, бритое лицо в колпаке. Это был управляющий заводом — немец Клейст. Он постучал о стекло табачной трубкой. Сторож торопливо подвел Жемова и Цыгана, объяснил — кто они и откуда. Клейст поднял нижнюю часть окошечка, высунулся, поджав губы. Колпачная кисточка качалась впереди полного лица. Цыган с враждой, со страхом глядел на кисточку... «Ох, душегуб!» — подумал.

Позади Клейста на чистом столе стояла жареная говядина, румяные хлебцы и золоченая чашка с кофеем. Приятный дымок от трубки полз в окно. Глаза его, бездушные, как лед, проникали в самое нутро русское. Достаточно оглядев обоих колодников, проговорил медленно:

— Кто обманывает — тому плёхо. Присылают негодных мужикофф, свинячьих детей... Ничего не умеют — о, сволочь. Ты добрый кузнец — хорошо... Но если обманываешь — я могу повесить... (Постучал трубкой о подоконник.) Да, повесить я тоже могу, мне дан закон... Сторож, отведи дуракофф под замок...

По дороге сторож сказал им вразумительно:

— То-то, ребята, с ним надо сторожко... Чуть упущение, проспал али поленился, он без пощады.

— Не рот разевать пришли! — сказал Жемов. — Мы еще и немца вашего поучим...

— А вы кто будете-то? Слышно — воры-разбойнички? За что вас, собственно?

— Мы, божия душа, с этим кривым в раскол пробирались на святую жизнь, да черт попутал...

— А, ну это другое дело, — ответил сторож, отмыкая замок на низенькой двери. — У нас порядки, чтобы знать, вот какие... Идите, я свечу вздую.. (Спустились в подклеть. Лучики света сквозь дырки железного фо-

наря ползуче осветили нары, дощатые столы, закопченную печь, на веревках — лохмотья.) Вот какие порядки... Утром в четыре часа я бью в барабан,— молитва и — на работу. В семь — барабан,— завтрак,— полчаса... Часы при мне, видел? (Вытащил медные, с хорошую репу, часы, показал.) Опять, значит, на работу. В полдень — обед и час спать. В семь ужин — полчаса и в десять — шабаш...

— А не надрываются? — спросил Цыган.

— Которые, конечно, не без этого. Да ведь, милый,— каторга: кабы ты не воровал, на печи бы лежал, дома... Есть у нас пятнадцать человек с воли, наемных,— те в семь шабашут и спят отдельно, в праздники ходят домой.

— И что же,— еще хрипче спросил Цыган, сидя на нарах,— нам это навечно?

Жемов, уставясь на светлые дырки круглого фонаря, мелко закашлялся. Сторож буркнул что-то в усы. Уходя, захватил фонарь.

22

Почтенная, с пегой проседью борода расчесана, волосы помазаны коровьим маслом, шелковый пояс о сорока именах святителей повязан под соски по розовой рубашке... И не на это даже, а на круглый, досыта сытый живот Ивана Артемича Бровкина глядели мужики — бывшие кумовья, сватья, шабры... То-то и дело, что — бывшие... Иван Артемич сидел на лавке, руки засунул под зад. Очи — строгие, без мигания, портки тонкого сукна, сапоги пестрые, казанской работы, с носками — крючком. А мужики стояли у двери на новой рогоже, чтоб не наследили лаптями в чистой горнице.

— Что ж,— говорил им Иван Артемич,— я вам, мужички, не враг. Что могу — то могу, а чего не могу — не прогневайтесь...

— Куренка некуда выпустить, Иван Артемич.

— Скотине-то ведь не скажешь, она и балует, ходит на твой покосик-то.

— А уж пастуха всем миром посечем на твое здоровье.

— Так, так,— повторил Иван Артемич.

— Отпусти скотинку-то...

— Уж так стеснились, так стеснились...

— Мне от вас, мужички, прибыль малая,— ответил Иван Артемич и, высвободив руки из-под зада, сложил их — пальцы в пальцы — наверху живота.— Порядок мне дорог, мужички... Денег я вам роздал,— ой-ой сколько...

— Роздал, Иван Артемич, помним, помним...

— По доброте... Как я уроженец этой местности, родитель мой здесь помер. Так что — бог мне благодетель, а я вам. Из какого роста деньги вам даю,— смех... Гривна с рубля в год,— ай-ай-ай... Не для наживы, для порядку...

— Спасибо тебе, Иван Артемич...

— Скоро от вас совсем уеду... Большие дела начинаю, большие дела... В Москве буду жить... Ну, ладно... (Вздохнув, закрыл глаза.) Кабы с вас одних мне было жить, плохо бы я жил, плохо... По старой памяти, для души благодетельствую... А вы что? Как вы меня благодарите? Потравы. Кляузы. Ах, ах... Ну уж, бог с вами... По алтыну с коровенки, по деньге с овцы,— берите скотину...

— Спасибо, дай бог тебе здоровья, Иван Артемич...

Мужики кланялись, уходили. Ему хотелось еще поговорить. Добер был сегодня. Через сына Алешу удалось ему добратся до поручика Александра Меньшикова и поклониться двумястами рублями. Меньшиков свел его с Лефортом. Так высоко Бровкин еще не хаживал,— оробел, когда увидел небольшого человека в волосах до пояса, всего в шелку, в бархате, в кольцах, переливающихся огнями... Строг, нос вздернут, глаза — иглами... Но когда Лефорт узнал, что перед ним отец Алешки да с письмом от Меньшикова,— заиграл улыбкой, потрепал по плечу... Так Иван Артемич получил грамоту на поставку в войско овса и сена...

— Саня,— позвал он, когда мужики ушли,— убери-ка рогожу... Кумовья наследили...

У глаз Ивана Артемича лучились смешливые морщинки. Богатому можно ведь и посмеяться,— с титешных лет до седой бороды не приходилось. Вошла Санька в зеленом, как трава, шелковом летнике с пуговицами. Темно-русая коса,— в руку толщины,— до подколенок,

живот немного вперед,— уж очень грудь у нее налилась, стыдно было. Глаза синие, глупые...

— Фу, лаптями нанесли! — отвернула красивое лицо от рогожи, взяла ее пальчиками за угол, выбросила в сени. Иван Артемич лукаво глядел на дочь. Эдакую за короля отдать не стыдно.

— Двор каменный хочу ставить на Москве... В первую купецкую сотню выходим... Саня, ты слушай... Вот и хорошо, что с тобой не поторопились... Быть нам с большой родней... Ты что воротисься?.. Дура!..

— Да — ай! — Санька мотнула косою по горнице, сверкнула на отца глазами.— Не трожьте меня...

— То есть,— как не трожьте? Моя воля... Огневаюсь — за пастуха отдам.

— Лучше свиней с кем-нибудь пасти, чем угасать от вашей дурости...

Иван Артемич бросил в Саньку деревянной солонкой. Побить,— вставать не хотелось... Санька завывала без слез. В это время застучали в ворота так громко, что Иван Артемич разинул рот. Завыли медецинские кобели.

— Саня, посмотри...

— Боюсь. Сами идите.

— Ну, я этих стукунов...— Иван Артемич взял в сенях метлу, спустился на двор.— Вот я вас, бесстыдники... Кто там? Собак спущу...

— Отворяй! — бешено кричали за воротами, трещали доски.

Бровкин оробел. Сунулся к калитке,— руки тряслись. Едва отвалил засов,— ворота раскинулись, и въехали верхоконные, богато одетые, с саблями наголо. За ними четвериком золоченая карета,— на запятках арапы — карлы. За каретой в одноколке — царь Петр и Лефорт, в треугольных шляпах и в чапанах от дорожной грязи... Топот, хохот, крики...

У Бровкина подсеклись ноги. Покуда он стоял на коленях, всадники спешили, из кареты вылез князь-папа, опухший, сонный, одетый по-немецки, и за ним — молодой боярин в серебряном кафтане. Петр, взойдя с Лефортом на крыльцо, закричал басом:

— Где хозяин? Подавай сюда живого или мертвого!

Иван Артемич замочил портки. Тут его заметили, подскочили,— Меньшиков и сын Алеша,— подняли под

руки, потащили к крыльцу. И держали, чтобы на колени не вставал. Вместо битья, или еще чего хуже,— Петр снял шляпу и низко поклонился ему:

— Здравствуй, сват-батюшка... Мы прослышали — у тебя красный товар... Купца привезли... За ценой не постоим...

Иван Артемич разевал рот без звука... Косяком пронеслись безумные мысли: «Неужто воровство какое открылось? Молчать, молчать надо...» Царь и Лефорт захохотали, и остальные — кашляли от смеха. Алешка успел шепнуть отцу: «Саньку сватать приехали». Хотя Иван Артемич уже по смеху угадал, что приехали не на беду, но продолжал прикидываться дурнем.. Мужик был великого ума... И так, будто без памяти от страху, вошел с гостями в горницу. Его посадили под образа: по правую руку — царь, по левую — князь-папа. Щелкой глаз Бровкин высматривал, кто жених? И вдруг действительно обмер: между дружками,— Алешкой и Меньшиковым,— сидел в серебряном кафтане его бывший господин, Василий Волков. Давно уже Иван Артемич заплатил ему по кабальным записям и сейчас мог купить его всего с вотчиной и холопями... Но не умом,— заробел поротой задницей.

— Жених, что ли, не нравится? — вдруг спросил Петр.

Опять — хохот... У Волкова покривились губы под закрученными усиками. Меньшиков подмигнул Петру:

— Может, он какие старые обиды вспомнил? (Мигнул Бровкину.) Может, жених когда тебя за волосы таскал? Али кнутовище ломал об тебя? Прости его, Христа ради... Помиритесь...

Что на это ответить? Руки, ноги дрожали... Он глядел на Волкова,— тот был бледен, покорно смирен... И вдруг вспомнил, как на дворе в Преображенском Алеша вступился за него и как Волков бежал по снегу за Меньшиковым и умолял, цеплялся, чуть не плакал...

«Эге,— подумал Иван Артемич,— главный-то дурень, видно, не я тут...» Взглянул на Волкова и до того обрадовался,— едва не испортил все дело... Но уже знал, чего от него ждут: опасной потехи — по жердочке над пропастью пройти... Ну, ладно!

Все глядели на него, Иван Артемич тайно под столом перекрестил пупок, поклонился Петру и князь-папе:

— Спасибо за честь, сватушки... Простите нас, Христа ради, дураков деревенских, если мы вас чем невзначай обидели... Мы, конечно, люди торговые, мужики грубые, неученые. Говорим по-простому. Девка у нас засиделась — вот горе... За последнего пьяницу рады бы отдать... (В ужасе покосился на Петра, но ничего — царь фыркнул по-кошачьи смехом.) Ума не приложим, почему женихи наш двор обходят? Девка красивая, только что на один глазок слеповата, да другой-то целый. Да на личике черти горох молотили, так ведь личико можно платком закрыть... (Волков темным взором впился в Ивана Артемича.) Да ножку волочит, головой трясет и бок кривоватый... А больше нет ничего... Берите, дорогие сваты, любимое детище... (Бровкин до того разошелся — засопел, вытер глаза.) Чадо, Александра; — позвал он жалобным голосом, — выдь к нам... Алеша, сходи за сестрой... Не в нужном ли она чулане сидит, — животом скорбная, это забыл, простите... Приведи невесту...

Волков рванулся было из-за стола. Меньшиков силой удержал. Никто не смеялся, — только у Петра дрожал подбородок.

— Спасибо, дорогие сватушки, — говорил Бровкин, — жених нам очень понравился. Будем ему отцом родным: по добру миловать, за вину учить. Кнутовищем вытянули за волосы ухвачу, — уж не прогневайся, зятек, — в мужицкую семью берем...

Все за столом грохнули, хватались за бока от смеха. Волков стиснул зубы, стыд зажег ему щеки, — налились слезы. Алеша втащил из сеней упирающуюся Саньку. Она закрывалась рукавом. Петр, вскочив, отвел ей руки. И смех затих, — до того Санька показалась красивой: брови стрелами, глаза темные, ресницы мохнатые, носик приподнятый, ребячьи губы тряслись, ровные зубы постукивали, румянец — как на яблоке... Петр поцеловал ее в губы, в горячие щеки. Бровкин прикрикнул:

— Санька, сам царь, терпи...

Она закинула голову, глядя Петру в лицо. Было слышно, как у нее стучало сердце. Петр обнял ее за плечи, подвел к столу и — пальцем на Василия Волкова.

— А что, — худого тебе жениха привезли?

Санька одурела: надо было стыдиться, она же, как безумная, устала дышащие зрачки на жениха. Вдруг вздохнула и — шепотом: «Ой, мама, родная...» Петр опять схватил ее — целовать...

— Эй, сват, не годится,— сказал князь-папа.— Отпусти девку...

Санька уткнулась в подол. Алеша, смеясь, увел ее. Волков щипал усы,— видимо, на сердце отлегло. Князь-папа гнусил:

— Сущие в отце нашем Бахусе возлюбим друг друга, братие... Вина, закуски просим...

Иван Артемич спохватился, захлопотал. На дворе работники ловили кур. Алеша, виновато улыбаясь, накрывал на стол. Донесся Санькин надломанный голос: «Матрена, ключи возьми,— в горнице под сорока мучениками...» Петр крикнул Волкову: «За девку благодари, Васька». И Волков, поклонясь, поцеловал ему руку... Иван Артемич сам внес сковороду с яичницей. Петр сказал ему без смеха:

— За веселье спасибо,— потешил... Но, Ванька, знай, место, не зарывайся...

— Батюшка, да разве бы я осмелел — не твоя бы воля... А так-то у меня давно и души нет со страху...

— Ну, ну, знаем вас, дьяволов... А со свадьбой поторопись,— жениху скоро на войну идти. К дочери найми девку из слободы — учить политесу и танцам... Вернемся из похода,— Саньку возьму ко двору...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В феврале 1695 года в Кремле с постельного крыльца думным дьяком Виниусом объявлено было всем стольникам, жильцам, стряпчим, дворянам московским и дворянам городовым, чтоб они со своими ратниками и дружинами собирались в Белгороде и Севске к боярину Борису Петровичу Шереметьеву для промысла над Крымом.

Шереметьев был опытный и осторожный воевода. К апрелю месяцу, собрав сто двадцать тысяч служилого войска и соединившись с малороссийскими казаками, он

медленно пошел к низовьям Днепра. Там стояли древняя крепость Очаков и укрепленные турецкие городки: Кизикерман, Арслан-Ордек, Шахкерман и в устье Днепра на острове — Соколиный замок, от него на берега протянуты были железные цепи, чтобы заграждать путь в море.

Огромное московское войско, подойдя к городкам, промышляло над ними все лето. Мало было денег, мало оружия, не хватало пушек, длительна переписка с Москвой из-за всякой мелочи. Но все же в августе удалось взять приступом Кизикерман и два другие городка. По сему случаю в стане Шереметьева был великий пир. С каждой заздравной чашей стреляли пушки в траншеях, наводя страх на турок и татар. Когда о победе написали в Москву, там с облегчением заговорили: «Наконец-то — хоть кус отхватили у Крыма, и то — честь!..»

.

Тою же весной, тайно без объявления, двадцать тысяч лучшего войска — полки Преображенский, Семеновский и Лефортов, стрельцы, городовые солдаты и роты из дьяков — были посажены у Всехсвятского моста на Москве-реке на струги, каторги и лодки, и караван, растянувшись на много верст, под музыку и пушечную пальбу поплыл в Оку и оттуда Волгой до Царицына.

Генерал Гордон с двенадцатитысячным отрядом двинулся степью на Черкасск.

Оба войска направлялись под турецкую крепость Азов на Азовском море. Здесь турки держали торговые пути на восток и на хлебные кубанские и терские степи. Диверсия под Азов решена была на военном совете, или консилие, — Лефортом, Гордоном, Автономом Головинным и Петром. Чтобы не было огласки да туркам не было бы много чести, — Петра при войске приказано именовать бомбардиром Петром Алексеевым... (Да и позора меньше — буде неудача.) На консилие много думали, — на кого оставить Москву? Народ был неспокоен. Под самой столицей рыскали разбойничьи шайки, — дороги зарастали травой — до того опасно стало ездить. Страшный враг, Софья, сидела в Новодевичьем, правда — тихо, молча... Но надолго ли?

На одного человека можно было положиться без раздумья, один был верен без лукавства, один только мог пугать народ — Федор Юрьевич Ромодановский, князь-кесарь потешных походов и всешутейшего собора. На него и оставили Москву. А чтобы над ним не хихикали в рукав за прежнее, — велено было без шуток именовать его князь-кесарем и величеством. Бояре вспомнили, что такой же случай был сто лет назад, когда Иван Грозный, отъехав в Александровскую слободу, посадил в Москве полушута-полупугало, татарского князя Симеона Бекбулатовича, «царем всеа России». Вспомнили и покорились. А народу было все равно, что князь-кесарь и что черт, дьявол, знали только, что Ромодановский беспощаден и крови не боится.

Бомбардир Петр Алексеев плыл во главе каравана на Лефортовой многовесельной каторге. По пути хлебнули горя. Лодки, струги и паузки, построенные купечеством и государевыми гостями, текли и тонули. В туманные весенние ночи блуждали в разливах, на мели. В Нижнем-Новгороде пришлось пересесть на волжские барки. Петр писал Ромодановскому:

«Мин хер кениг... За которую вашу государскую милость должны мы до последней капли кровь свою пролить, для чего и посланы... О здешнем возвещаю, что холопи ваши, генералы Автоном Михайлович и Франц Яковлевич, со всеми войсками, дал бог здорово... И намерены завтрашнего дни идтить в путь... А мешкалы для того, что иные суды в три дни насилу пришли... Суды, которые делали гости, гораздо худы, иные и насилу пришли... А из служилых людей по се число умерло небольшое число... За сим отдаюсь в покров щедрот ваших... Всегдашний раб пресветлейшего вашего величества Бом Бор Дир Петер».

Не останавливаясь, проплыли мимо Казани, где разлив омывал белые стены. Миновали высокобережный Симбирск и городок Самару, в защиту от кочевников обнесенный деревянным частоколом на земляных раскатах. За Саратовом травянистые берега утонули в солнечном мареве, голубая река текла лениво, степной зной дышал, как из печи.

Петр, Лефорт, Алексашка и князь-папа, взятый в поход для шумства и пьянства, — целыми днями курили

трубки на высокой корме каторги. Казалось,— когда поглядывали на многоверстный караван судов, поблескивающих ударами весел,— что продолжается все та же веселая военная потеха. Что за крепость Азов? И как ее воевать? Про то хорошо не знали: на месте будет виднее. Князь-папа, пьяненький и ласковый, говаривал, сдирая ногтями шелуху с сизого носа:

— Дожили мы, сынок... Давно ли я тебя цифири-то учил... На войну поплыли... Ах ты, мой красавец...

Лефорт дивился роскоши и величию реки — без конца и без краю.

— Что король французский, что император австрийский,— говорил он,— о, если бы побольше у тебя денег, Петер... Нанять побольше инженеров в Европе, побольше офицеров, побольше умных людей... Какой великий край, дикий и пустынный край!..

В Царицыне караван остановился. И здесь начались беды. Лошадей оказалось всего пятьсот голов. Солдаты, отмотавшие руки на веслах, должны были на себе тащить пушки и обозы. Не хватало хлеба, пшена, масла. Усталые и голодные войска три дня шли степью на городок Паншино, к Дону, где находились главные склады продовольствия. Много людей надорвалось, попадало. Думали отдохнуть в Паншине. Но оттуда, навстречу прибыло письмо от боярина Тихона Стрешнева, ведавшего кормом для всей армии:

«Господин бомбардир... Печаль нам слезная из-за воров-подрядчиков. Гости Воронин, Ушаков и Горезин взяли поставить 15 000 ведер сбитню, 45 000 ведер уксусу да столько же водки, 20 000 осетров соленых да столько же лещей, судаков и щук, 10 000 пуд ветчины, масла и сала — 5 000 пуд, соли — 8 000 пуд... Дано подрядчикам тридцать три тысячи рублей. Из тех денег половину они украли. Соли вовсе нет ни фунта. Рыба вонючая, — в амбар нельзя взойти... Хлеб лежалый весь. Одно — овес добрый и сено доброе ж, а ставил купчина Иван Бровкин... От сего воровства тебе, милостивому нашему, печаль, а ратным людям оскудение... Теперь только бог может сделать, чтоб в том ратном деле вас не задержать...»

Петр и Лефорт, оставив войско, поскакали в Паншино. Небольшая станица на острову посреди Дона была окружена, как горелым лесом, оглоблями обозов. Повсю-

ду лежали большерогие волы, паслись стреноженные лошади. Но— ни живой души: в послеобеденный час спали часовые, караульщики, извозные, солдаты. Одинокó простучали по-над Доном копыта всадников. На бешеный окрик Петра чья-то взлохмаченная голова вылезла из-за плетня, из конопли. Почесываясь, мужик повел к хате, где стоял боярин... Петр рванул дверь, загудели потревоженные мухи. На двух сдвинутых лавках, покрывшись с головой, спал Стрешнев. Петр сорвал одеяло. Схватил за редкие волосы перепуганного боярина,— не мог говорить от ярости,— плюнул ему в лицо, стащил на земляной пол, бил ботфортом в старческий мягкий бок...

Часто дыша, присел к столу, велел открыть ставни. Глаза выпучены. Под загаром гневные пятна на похудевшем лице.

— Докладывай... Встань! — крикнул он Стрешневу.— Сядь. Подрядчиков повесил? Нет? Почему?

— Государь... (Петр топнул ногой.) Господин бонбандир... (Тихон Стрешнев и кряхтеть боялся и кланяться боялся.) Подрядчики пускай доставят сначала, что должны по записи, а то что же с мертвых-то нам спрашивать...

— Не так... Дурак!.. А почему Иван Бровкин не ворует? Мои люди не воруют, а ваши все воруют?.. Подряды все передать Бровкину... Ушакова, Воронина — в железо, в Москву, к Ромодановскому...

— Так гут,— сказал Лефорт.

— Что еще? Суда не готовы?

— Господин бонбандир, суда все готовы... Давеча последние пригнали из Воронежа.

— Идем на реку...

Стрешнев в одних домашних сафьяновых чоботах, в распоясанной рубахе пошел дряблой рысью за царем, шагающим как на ходулях. На зеркальной излучине Дона стояли в несколько рядов бесчисленные суда: лодки, паузки, узкие с камышовыми поплавками казачьи струги, длинноносые галеры, с веслами только на передней части, с прямым парусом и чуланом на корме... Все — только что с верфи. Течением их покачивало. Многие полузатонули. Лениво висели флаги. Под жарким солнцем трескалось некрашеное дерево, блестели осмоленные борта.

Лефорт, оставив ногу в желтом ботфорте, глядел в трубу на караван.

— Зер гут... Посуды достаточно...

— Гут,— отрывисто повторил Петр. Чумазые руки его дрожали. И, как всегда, Лефорт высказал его мысль:

— Отсюда начинается война.

— Тихон Никитьевич, не сердись,— Петр клюнул всхлипнувшего Стрешнева в бороду.— Войска прямо грузить на суда. Не мешкая... Азов возьмем с налету...

.

На шестые сутки на рассвете в хате Стрешнева в табачном дыму написали письмо князю-кесарю:

«Мин хер кениг... Отец твой великий господин святейший кир Аникита, архиепископ прешпургский и всеа Яузы и всего Кукуя патриарх, такожде и холопи твои генералы Автоном Михайлович и Франц Яковлевич с товарищи — в добром здравии, и нынче из Паншина едем в путь в добром же здравии... В марсовом ярме непрестанно труждаемся. И про твое здравье пьем водку, а паче — пиво...» При сем стояли с малой разборчивостью подписи: «Франчишка Лефорт... Олехсашка Меньшиков... Фетка Троекуров... Петрушка Алексеев... Автомошка Головин... Вареной Мадамкин...»

Неделю плыли мимо казачьих городков, стоявших на островах посреди Дона, миновали — Голубой, Зимовейский, Цимлянский, Раздоры, Маныч... На высоком правом берегу увидели раскаты, плетни и дубовые стены Черкаска. Здесь бросили якоря и три дня поджидали отставшие паузки.

Стянув караван, двинулись к Азову. Ночь была мягкая, непроглядная, пахло дождем и травами. Трещали кузнечики. Странно вскрикивали ночные птицы. На головной галере Лефорта никто не спал, трубок не курили, не шутили. Медленно всплескивали весла.

В первый раз Петр всею кожей ощутил жуть опасности. Ближе по берегу двигалась темнота, какие-то очертания. Вглядываясь, слышал шорох листвы. Оттуда из тьмы вот-вот зазвенит тетива татарского лука! Поджимались пальцы на ногах. Далеко на юге полыхнул в тучах грозный свет. Грома не донесло. Лефорт сказал:

— Утром услышим пушки генерала Гордона.

Под утро небо очистилось. Казак-кормчий направил галеру,— за ней весь караван,— рекой Койсогой. Дон остался вправо. Поднялось жаркое солнце, река будто стала полноводнее, берега отодвинулись, растаяла мгла над заливными лугами. Впереди за песками опять появилась сияющая полоса Дона. На косогорах виднелись полотняные палатки, телеги, лошади. Вились флаги. Это был главный военный лагерь, поставленный Гордоном,— Митишева пристань,— в пятнадцати верстах от Азова.

Петр сам выстрелил из носовой пушки,— ядро мячиком поскакало по воде. Поднялась стрельба из ружей и пушек по всему каравану. Петр кричал срывающимся баском: «Греби, греби...» Весла гнулись дугой, солдаты гребли, уронив головы.

В Митишевой пристани войска выгрузились. Усталые солдаты засыпали прямо на песке, унтер-офицеры поднимали их палками. Скоро забелели палатки, дымки костров потянуло на реку. Петр, Лефорт и Головин с тремя казачьими сотнями поскакали за холмы в укрепленный лагерь Гордона — на половине пути до Азова. Пестрый шатер генерала издали виднелся на кургане.

По пути валялись лошади, пронзенные стрелами, сломанные телеги. Уткнулся в полынь маленький, голый по пояс татарин, с запекшимся затылком. Конь под Петром захрапел, косясь. Казаки рассказывали:

— Как выйдут наши обозы из Митишей,— татарва и напускает тучей. Эти места самые тяжелые... Вона,— указывали нагайками,— за холмами-то маячат... Они... Гляди, сейчас напустят...

Всадники погнали лошадей к кургану. У шатра стоял Гордон в стальных латах, в шлеме с перьями, подзорная труба уперта в бок. Морщинистое лицо — строгое и важное. Заиграли рожки, ударили пушки. С кургана, как на ладони, был виден залив, озаренный закатным солнцем, тонкие минареты и серо-желтые стены Азова; пожарище на месте слободы, сожженной турками в день подхода русских; перед крепостью по бурым холмам тянулись изломанные линии траншей и пятиугольники редутов. В дали безветренного залива стояли с упавшими парусами многопушечные высокие корабли. Гордон указал на них:

— На прошлой неделе турки подвезли морем из Кафы полторы тысячи янычар. Нынче эти корабли подошли с войсками ж... Мы вчера взяли языка,— врет ли, нет,— в крепости тысяч шесть войск да татарская конница в степи. Недохвачи у них ни в чем — море ихнее... Голодом крепость не возьмешь.

— Возьмем штурмом,— сказал Лефорт, взмахнув перчаткой.

Головин уверенно поддакнул:

— На ура возьмем... Эко диво...

Петр очарованно глядел на пелену Азовского моря, на стены, на искры полумесяцев на минаретах, на корабли, на пышный свет заката. Казалось,— ожили любимые в детстве картинки, в яви вот она — неведомая земля!

— Ну, а ты как, Петр Иванович? Чего молчишь? Возьмем Азов?

— Нужно взять,— ответил Гордон, жестко собирая морщины у рта.

Из шатра принесли карту, положили на барабан. Генералы нагнулись. Петр отчертил ногтем места, где стоять войскам: Гордону посреди — шагах в пятистах от крепости, Лефорту — по левую руку, Головину — по правую.

— Здесь — ломовая батарея, тут — мортиры... Отсюда поведем апроши... Ведь так, Петр Иванович?

— Можно и так, отчего же,— отвечал Гордон.— Но позади нас останется татарская конница.

— Нужно разбить... Бросим на них казаков...

— Да, можно и разбить... Я говорю — трудно будет доставлять продовольствие с Митишевой пристани, с каждым обозом посылать большое войско,— это трудно...

— Слышь-ка, генералы, а отчего бы нам не доставлять припасы на лодках?

Генералы свесили парики над картой. Гордон сказал:

— На лодках еще труднее,— Дон заперт цепями. В устье — две каланчи с очень великой артиллерией...

— Каланчи взять! Господа генералы?

— Эка — две каланчи! — засмеялся Головин и прищурил красивые глуповатые глаза на видневшуюся на западе за холмами верхушку круглой зубчатой башни. Гордон ответил, подумав:

— Отчего же, можно взять каланчи...

— Ну, с богом, Петр Иванович.— Петр притянул Гордона за щеки, поцеловал.— Завтра снимайся и подступи к крепости. А мы, не мешкая, пойдем всем войском. День-два покидаем бомбы, и — на приступ...

С турецких судов донесся слабый звук рожка: играли зорю. Вечерняя тень покрывала залив. Еще краснели верхушки минаретов, но и они погасли. В воздухе только слышался сухой треск кузнечиков. Петр вошел в шатер, где две свечи горели на пышно накрытом столе. Сели на барабаны. Задымилось блюдо с бараниной. Петр жадно опустил в него обе руки. Лефорт, снявший латы, чтобы способнее было веселиться, наливал венгерское в оловянные кубки. Когда багровый Головин гаркнул: «За первого бонбардира!» — от шатра вниз в темноту по редкой цепи солдат побежало: «Заздравная! Заздравная!..» От пушечных выстрелов заколебались свечи. «Хорошо!» — крикнул Петр. Лефорт смеялся, наполняя кубки:

— Это хорошая жизнь, Петер...

— Маркитантки-девки есть у тебя при лагере, господин генерал? — спросил Головин, тоже отстегивая латы. Лефорт и Петр захохотали:

— По этой части Вареной Мадамкин ходок...

— Послать верхового за Вареным...

.

Наутро Гордон, подкрепленный двумя стрелецкими полками, двинулся к Азову. Передовые казачьи сотни на рысях поднялись на бурую возвышенность перед крепостью, — и тотчас начали осаживать. Несколько казаков поскакало назад к пехоте, идущей четырьмя колоннами, закричали: «Татары!.. Берегись! Выноси пушки!» С левой руки от возвышенности развернулась полумесяцем татарская конница. Их было тысяч до десяти. Они двигались все быстрее, все гуще поднималась пыль. Летели стрелы. Казачьи сотни смешались. Отдельные всадники, пригибаясь к коням, кинулись назад. Напрасно полковники приказывали махать бунчуками, — вся казачья лава, не вынимая шашек, поскакала вниз. Но татары уже обходили справа, косматые их лошаденки стлались, кривые сабли крутились над головами. Визг. Пыль. Часть казаков повернула — рубиться. Смешались, сбились.

Подбегала пехота, строилась четырехугольниками. Стрельцы на веревках втаскивали пушки. Полумесяц татар смыкался. Нестройно раздались залпы. Слойми дыма затянуло возвышенность. Пролетела взбешенная лошадь. По земле катился татарин. Свистело ядро. Разрывались залпы. Люди, обезумев, стреляли, кричали. Метались офицеры. Весь шум покрыли грохотом ломовые пушки. Никто ничего не мог разобрать, — кто кого бьет? И что-то случилось, стало вдруг легче. Дым отнесло, ни татар, ни турок не было видно. Только бились упавшие лошади, и множество человеческих тел, неподвижных и дергающихся, разбросано по бурой земле. Впереди на холме стоял верхом на вороной лошади генерал Гордон. Железная спина его поблескивала. Подзорная труба уперта в бок. Маленькая седая голова шариком торчала из лат, — шлем сбили с него. Медленно взмахнул шпагой и шагом стал спускаться с холма к Азову. По войскам закричали:

— Вперед, вперед, смелее!..

Отряд Гордона окапывался шанцами, обставлялся рогатками вблизи крепости. Турки со стен стреляли из пушек по лагерю, наводя великий страх. Когда бомба, упав, шипела и крутилась, полковники, офицеры, стольники, дворцовые разные люди ложились ничком, закрывались обшлагами... Эти бомбы, — не потешные горшки с горохом, — рвались с таким грохотом, столбом взлетала земля, что побледневшие воины только крестились, ни на что не способные... Один Гордон, суровый и спокойный, похаживал по лагерю, не оборачиваясь на злой посвист снарядов, покрикивал на солдат, чтобы не кланялись турецким мячикам:

— За поклоны буду наказывать... Нехорошо бывать трусом... Шанде, шанде, стыдно!.. А еще русский зольдат...

Как он и предсказывал, плохо получилось с продовольствием, в особенности — питьевой водой: татары жестокими напусками разбивали обозы, тянущиеся из Митишевой пристани. Одолеть легкоконных татар не было возможности, — не принимая боя, засыпали русских стрелами, уносились в степь. Наконец лагерь был окончен, в глубоких окопах люди прятались от снарядов. Войска Лефорта и Головина только на четвертые сутки

подошли к позициям — с музыкой, барабанами, развернутыми знаменами.

Петр важно шагал перед бомбардирской ротой. В ней рядовыми шли Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков, недавно взятый на службу искусный пушкарь — голландец Яков Янсен. Впереди Петра выковыривал ногами, бил в медные тарелки огромный человек с медвежьим носом и толстыми губами — новый собутыльник царя — литавщик, по прозвищу Вареной Мадамкин, ерник и пьяница, каких еще не бывало.

Петр с частью бомбардиров прошел в Гордонов лагерь. (Войска Лефорта на левом крыле, Головина — на правом — спешно окапывались.) Редуты, обнесенные фашинами и мешками с землей, были вынесены шагов на пятьсот к каменным стенам крепости. Там между зубцами виднелись фески и острые глаза турецких стрелков. Опершись об Алексашкино плечо, Петр вспрыгнул на фашины. Гордон стремительно схватил его:

— Ахтунг! Берегись!

Длинный ствол ружья между зубцами пыхнул дымком, подзорная труба вылетела из рук Петра. Он соскочил в окоп, пригнулся. К нему кинулись. Он обнажил зубы запекшейся улыбкой.

— Черт! Собаки! — проговорил с трудом. — Дай фитиль...

Бомбардиры откатили медную короткую мортиру, глядящую дулом в небо. Петр умело (бегая зрачками на людей) вложил картуз пороху, покидал на руках двадцатифунтовое ядро, поправил запал, вкатил в мортиру. Присев, навел прицел:

— С богом, первая... Отойди!

Мортира рыгнула пламенным облаком. Круглая бомба крутою дугой понеслась и упала близ крепостной стены. Турки, высунувшись между зубцами, кричали что-то обидное. Петр побагровел. Ему откатили вторую мортиру...

.

Под высокими стенами Азова стыдно было и вспоминать недавнее молодечество — взять крепость с налету. Обложившая армия, возведя батареи и редуты, две недели кидала бомбы. В городе занимались пожары. Рух-

нула одна из караульных башен. (По сему случаю в землянке у Петра было большое шумство.) Но к туркам снова подошли с моря двадцать галер с подкреплением. Пожары тушились. По ночам янычары, как змеи, подползали с кривыми ножами к русским окопам и резали часовых. А стены продолжали стоять отчаянно неприступными. Хуже всего было с доставкой продовольствия. На консилие генералы решили крикнуть охотников, обещали по десяти рублей за взятие каланчей. Вызвалось до двухсот донских казаков, в подкрепление им дали солдатский полк, и ночью казаки, подобравшись к каланче, что на левом берегу, попробовали взорвать ворота,— не удалось, тогда ломами разворочали стену, ворвались. Турок было около тридцати человек. Четверых зарубили, остальным скрутили руки. Захватили пятнадцать пушек. И так палили из них через Дон по другой каланче, что турки ушли и оттуда. Дело было великое: Дон свободен. В лагерях служили молебны, на пиrowание прибыл князь-папа из Митишей.

Но неожиданно стряслась большая беда. Дни стояли знойные. К полудню люди бродили, как вареные, ища тени. Не хотелось драться, никакой не было злобы. В котелках разносили щи с вяленой рыбой, выдавалось по чарке водки. Косматое солнце заливало нестерпимым жаром, звенели кузнечики, липли мухи, воняло дерьмо, от зноя зыбкими казались азовские стены и башни. По стародавнему обычаю, после обеда все в лагере ложились отдыхать — засыпали, храпела русская армия от генерала до кашевара. Клевали носом часовые.

В такой сонный час пропал бомбардир голландец Яков Янсен. Первым хватился его Петр, когда во втором часу вылез из землянки, зевая и щурясь от белого света. Давеча собирались сшибить тремя бомбами минарет. Янсен поспорил, что сшибет... Петр гаркнул:

— Дьявол, что ли, его унес!

Обыскали весь лагерь. Один солдат сказал, будто видел, как один человек в красном кафтане, с мешком, с вещами, бежал к крепости. Петр сгоряча дал солдату в зубы. Но действительно в землянке вещей Янсена не оказалось. Перекинулся к туркам? Велено было наутро по всем полкам сказать анафему проклятому голландцу. Гордон, весьма обеспокоенный предательством, потребо-

вал созвать консилий и заявил, что в лагерях Головина и Лефорта оборонительные работы ведутся спустя рукава, беспечно, между лагерями ходов сообщения нет, и, буде турки сделают вылазку,— кончится это бедой.

— Война не шутка, господа генералы... Мы отвечаем за жизнь людей. А у нас все будто играют да шутят...

У Лефорта побледнели губы от гнева. Головин, обидясь, как бык, глядел на Гордона. Но тот настаивал на немедленном приведении в порядок оборонительной линии:

— На войне нужно прежде всего бояться врага, господа генералы...

— Нам их бояться?

— Как муху их раздавим...

— О нет, господа генералы, Азов — не муха...

Генералы начали ругать Гордона трусом и собакой. Не будь Петра,—сорвали бы с него парик. В тот же день, в час, когда все войско крепко спало после обеда, турки растворили крепостные ворота и без шума кинулись как раз к неоконченным траншеям в стыке между лагерями.

Половина стрельцов были зарезаны сонными. Другие, бросая алебарды и ружья, бежали к шестнадцатипушечной батарее, тоже кое-как укрепленной. Из пушек не успели и выстрелить: турки перегоняли бегущих стрельцов, лезли с кривыми ятаганами на редут, с визгом, нагнув головы, кидались в сбившуюся кучу пушкарей, где сын Гордона, полковник Яков, размахивал банником...

В лагерях поднялась суматоха, стрельба. Петр стоял на крыше землянки, сжав кулаки,—всхлипывал от возбуждения... Кричать, командовать — бесполезно. Спросонок люди металась, как очумелые. Он увидел: через лагерный вал перелез Гордон с поднятыми пистолетами, старческой рысью побежал к редуту — спасти сына. За ним хлынула беспорядочная толпа зеленых, красных, синих кафтанов. На валу Лефортова лагеря отчаянно размахивали знаменем, оттуда тоже густо побежали на выручку. Все поле покрылось солдатами. Захваченный редут окутался дымом,— турки стреляли, прикрывая отступление: они увозили пушки, бегом по склону к крепости. Скатывались с валов редута, отмахиваясь, отстреливаясь,— мелькали красными шароварами. Разбросан-

ные по полю русские теперь стягивались в неровную линию, и она быстро задвигалась за турками к крепости. С землянки, откуда смотрел Петр, все это походило на игру... Наша берет!.. Турки, за ними русские — скатились в крепостной ров.

-- Лошадь! — закричал Петр. — Штурм! Трубачи!

Он топал каблуками. Но никто его не слушал. Мимо проскакал с остекленевшими глазами Алексашка Меншиков. Хлестнул шпагой лошадь — перемахнул через ров... «Ур-рра», — ревел его разинутый рот... Трещали барабаны. И вдруг что-то случилось. Турки добежали до стен. Ворота раскрылись. Вывалилась толпа янычар, и кто-то — на белом коне, весь в красном, в большой чалме — раскинул вздетые руки... Сквозь выстрелы донесся такой страшный вой, что Петр содрогнулся... Русские уже бежали назад, за ними — конные и пешие турки... Падали, падали, Петр схватился за виски... Снова увидел Алексашку: он мчался к тому — в красном, в чалме, — сшиблись... Клубы порохового дыма... Разрывы бомб... Взбесившиеся лошади. Люди вырастают, подбегая, — ужасом исковерканы лица... Через брустверы скатываются в окоп. Разбиты... разбиты...

.

Потеряли на этом деле до пятисот человек, полковника, десять офицеров и всю батарею. Несколько дней Петр не глядел в сторону крепости, где турки скалили зубы. Алексашка перед кем только мог хвастался окровавленной шпагой, — Алексашка-то был герой... В лагерях приуныли... Вот тебе и поспали! Лефорт и Головин не показывались на глаза, — теперь в их лагерях только и видно было, как летела земля с лопат...

Петра изумила неудача. Ходил мрачный, неразговорчивый, будто повзрослел за эти дни. Клином засело: Азов должен быть взят! Славно ли, бесславно, — хоть всю Россию на карачки поставить, — Азов будет взят! По вечерам, сидя под звездами у землянки, покуривая, он спрашивал Гордона о войне, о счастье, о славных полководцах. Гордон говорил:

— Тот полководец счастлив, кто воюет кашей да лопатой, кто упрям и осторожен... Если зольдат доверяет полководцу и зольдат сыт, — он храбро воюет...

Из пушек по крепости Петр более не баловался. Дни проводил на земляных работах в апрошах, коими войска шаг за шагом приближались к крепости. Скинув кафтан и парик, копал землю, плел фашины, здесь же ел с солдатами.

Азов со стороны реки был расположен на полугоре. Гордон посоветовал возвести напротив крепости на острову шанец с батареями. Вызвался на это опасное дело Яков Долгорукий, человек злой и упрямый. Ему хоть голову потерять, — найти было честь на войне. Ночью с двумя полками он занял остров и окопался. Наутро турки поняли опасность и начали переправляться сильным отрядом с татарской конницей через Дон на правый берег, чтобы оттуда сбить русских с острова. Гордон послал к обоим генералам просьбу идти на выручку Долгорукому и сам, не дожидаясь, пошел с пушками и конницей и стал за рогатками ниже острова.

Турки испугались, остановились. И так стояли, — Гордон на левом берегу, Долгорукий, в страхе, на острове, турки, тоже в смущении, на правом... Лефорт и Головин медлили, а потом и совсем решили не выходить из лагерей: обоим Гордон становился поперек горла... «Пускай-де один справляется...»

Петр с высоты редута следил за движением войск и так же, как и все, не понимал, что происходит. Вмешаться — боялся... И вдруг — татарская конница кинулась в воду и поплыла, янычары держались за хвосты лошадей. Татары ушли в степь, турки — назад в крепость. Гордон вернулся с музыкой и развернутыми знаменами. Сражение выиграли без выстрела.

С острова понеслись бомбы на Азов, видный, как на ладони, разрушали дома, зажигали пожары. Было видно, как жители, спасаясь, бежали под стены. В русском лагере началось веселье. Опять заговорили о штурме. Но и на этот раз Гордон удержал от неразумной попытки: уговорил попробовать — быть может, комендант крепости, Муртаза-паша, сдастся на добрых условиях. После жаркой бомбардировки, когда весь Азов задымился, — послали двух казаков с грамотой к паше. Глядели, что будет: казаки подошли к стенам, махали шапками и грамотой, их впустили в ворота, но через малое время вытолкнули бесчестно... Царских-то послов! Грамоту они при-

несли обратно. На ней рукой Якова Янсена были написаны русские нехорошие слова.

В шатре у Головина Гордон напрасно уверял, что по военной науке должно сначала подойти к стенам апрошами и пробить брешь, тогда только идти на штурм. Его не хотели слушать. Генералы сидели за стаканами вина. Петр, обхватив голову, скреб затылок, глядел на свечи: ему уже мерещились звуки победных рожков на стенах Азова. Гордон стучал шпагой:

— Преславный маршал Конде имел всегда обыкновение...

— Конде, Конде,— перебивая, гнусил Головин,— а иди ты с Конде!.. С тобой только время проволокли да честь государеву замарали.

Лефорт нагло улыбался в лицо. Петр упрямо желал немедленного приступа. Штурм назначили на пятое августа.

Вызвали охотников. Офицерам обещали по двадцати пяти рублей, солдатам— по десяти, кто возьмет пушку. Полковые попы за обедней склоняли людей пострадать. В солдатских и стрелецких полках охотников не нашлось. Угрюмо поворачивали спины: «Нашли дураков на этукую страсть...» Но донские казаки прислали к Петру есаулов сказать, что две с половиной тысячи казаков готовы лезть на стены, а нужно — и более наберется, лишь бы потом отдали им Азов хоть на сутки— пограбить.

Петр, а за ним и генералы обняли есаулов, обещали отдать крепость на три дня. В подсобу отрядили пять тысяч стрельцов и солдат. В ночь перед штурмом Гордон вошел в землянку, где Петр при свете напывшего огарка сосал трубку над военной картой.

— Говорил с солдатами? Ну что, Петр Иванович,— с богом, значит?..

Гордон сел, держа шлем на коленях. Старик устал. Седая щетина на ввалившихся щеках. Трудно дышал, открыв большие желтые зубы, из коих не хватало двух спереди. С ласковой грустью глядел на самонадеянного мальчика. А может быть, так и нужно было, чтобы молодость шла напролом...

— Зимой будем строить большой флот в Воронеже,— сказал Петр, поднимая покрасневшие глаза.— Завтра нужно взять Азов, Петр Иванович. (Указал чубуком на небольшой залив на западе от устья Дона.) Гляди... Здесь поставим вторую крепостцу. За зиму турки не просунутся в Азовское море, а весной мы приплывем сюда с большим флотом... Гляди,— в проливе под Керчью ставим крепость — и все море наше... Строим морские корабли, и — в Черное море. (Чубук летал по карте.) Здесь уж мы на просторе. Крым будем воевать с моря. Крым — наш. Остается — Босфор и Дарданелы. Войной ли, миром — пробьемся в Средиземное море. Шелком, пшеницей завалим... Гляди — какие страны: Венеция, Рим... А вот — гляди,— Москва,— водяным путем повезем товары до Царицына, а здесь, где мы шли до Паншина через волок, пророем канал в Дон... Прямым — Москва — Рим. А? Тогда будем купцы... Петр Иванович, возьмем Азов?

Гордон ответил, подумав:

— Я хорошо не знаю... Я видел зольдат... Многие очень глупые,— они думают, что можно идти на приступ без лестниц. У многих я видел на лице раскаяние, даже уныние. Но я сказал: назвался груздем — полезай в кузов,— кто назвался, все пойдут,— трусов я буду расстреливать. Впрочем, все готово: лестницы, и фашины, и ручные бомбы. Будем молить бога о помощи...

Петр не был спокоен. В первом часу ночи разбудил Меньшикова, и они поскакали в казачий табор. Там было тихо. Казаки беспечно спали на возах. Встретил атаман — бритоголовый, крепколицый, с бегающими глазами. Посадил Петра у костра на седло, сам сел по-турецки. Казаки столпились вокруг. Принесли вяленой рыбы, водки. Начались разговоры — смелые, насмешливые. Казаки ни дьявола, видно, не боялись. Протискавшись к костру, озарявшему черные бороды, дерзкие лица, говорили с усмешками:

— Самая сила, самый сок человеческий — казачество... А что в Москве про нас знают? Что мы-де разбойники... Эка!.. Пришлют к нам воеводу, так он больше разбойничает... Вот и хорошо, государь, что ты к нам пришел. Ты на нас посмотри хорошенько. Разве мы на дурных похожи? Казаки — орлы! Хо-хо... Нас надо беречь...

Когда зазеленел восток, по табору полетели негромкие окрики. Сотни казаков начали перелезать через земляной вал и, как кошки, скрывались в темном поле в стороне прибрежных стен крепости. Другие садились в струги. Тащили веревки с крючками, легкие лестницы. Табор неслышно опустел.

В огромном небе бледнели звезды. Закричали обозные петухи. Предутренний ветерок знобил плечи. На севере блеснул короткий свет, ударила пушка. Это Бутырский и Тамбовский полки генерала Гордона пошли на приступ.

.

На стену удалось забраться только бутырцам и тамбовцам. Идущие вслед стрельцы услышали бешеную резню, лязг железа,— заробели и залегли в вишневых садах сожженной слободы. Казаки отчаянно приступали со стороны реки, но лестницы оказались короткими, турки валили со стен камни, лили горячую смолу. Казаки ни с чем вернулись в табор. Штурм был отбит.

Когда поднялось солнце, увидели множество трупов у крепости. Турки, раскачивая, сбрасывали русских со стен, трупы скатывались в ров. Погибло свыше полутора тысяч. В окопах солдаты вздыхали:

— Вчера смеялись мы с Ванюшкой,— вон его птицы клюют...

— И куда нам лезть к туркам... Чаво мы тут не видели...

— Разве мы можем воевать... Всех побьют...

— Одни генералы в Москву вернутся...

К царю в головинский шатер сошлись генералы. Гордон был печален и молчалив. Лефорт скучно подавливал зевоту, не глядел в глаза. Упалый лицом Головин то и дело ронял голову. Только пришедший с царем Меншиков геройски подбоченивался,— голова обвязана тряпкой, шпага опять в крови: был на стенах... Его, дьявола, смерть не брала...

Петр сидел, гневно вытянувшись. Генералы стояли.

— Ну? — он спросил.— Что скажете, господа генералы? (Лефорт незаметно пожал Гордону локоть. Головин безнадежно махнул кистями рук.) Осрамились вконец? Что ж — осаду снимать?



«ПЕТР ПЕРВЫЙ» (Книга первая)



«ПЕТР ПЕРВЫЙ» (Книга первая)

Они молчали. Петр стучал ногтями, щека подергивалась. Меньшиков шагнул к столу, глаза наглые... Протянул руку:

— Петр Алексеевич, дозволю... Мне не по чину здесь говорить... Но как я сам был на стене.. Агу проткнул шпагой, конечно... Скажу про их обычай... На турка надо считать наших солдат — пятеро на одного. Ведь страх — до чего бешеные... Уж Ага-то — у меня на шпаге, а визжит, проклятый, от злости, как боров, зубами за железо хватается. Да и вооружение у них способнее нашего: ятаганы — бритва, его шпагой али бердышем,— он три раза голову снесет... Покуда мы стен не проломаем,— турок не одолеть. Стены надо ломать. А солдатам вместо длинного оружия — ручные бомбы да казачьи шашки...

Алексашка шевельнул бровями, лихо вступил в тень. Гордон сказал:

— Молодой человек очень хорошо нам объяснил... Но ломать стены можно только минами,— значит, нужно вести подкопы... А это очень опасная и очень долгая работа...

— А у нас и хлеб кончается,— сказал Головин.— Все припасы на исходе.

— Не отложить ли до будущего года,— раздумчиво проговорил Лефорт.

Петр, откинувшись, глядел остекленевшими глазами на недавних приятелей-собутельников.

— Мать вашу так, генералы,— гаркнул он, багровея.— Сам поведу осаду. Сам. Нынче в ночь начать подкопы. Хлеб чтоб был... Вешать буду... С завтрашнего дня начинается война... Алексашка, приведи инженеров.

В шатер вошли постаревший и обрюзгший Франц Тиммерман и костлявый высокий молодой человек, с умным открытым лицом, иноземец Адам Вейде.

— Господа инженеры,— Петр расправил ладонями карту, придвинул свечу.— К сентябрю должно взорвать стены... Глядите, думайте... На подкоп даю месяц сроку...

Он поднялся, зажег трубку о свечу и вышел из шатра — глядеть на звезды. Алексашка шептал что-то у него за плечом. Генералы остались стоять в шатре, смущенные небывалым поведением Бом Бар Дира...

.

Осада продолжалась. Турки, ободренные неудачей приступа, не давали теперь покоя ни днем, ни ночью, разрушали работы, врывались в траншеи. Татарская конница носилась в тучах пыли под самыми лагерями. Громили обозы. Много казаков погибло в схватках с нею. Русская армия таяла. Не хватало то того, то другого. С Черного моря пошли грозовые тучи, — таких гроз еще не видали московские люди: пылающими столбами падали молнии, от грома дрожала земля, потоки дождя доверху заливали окопы и подрывные траншеи. Вслед за грозами неожиданно подкралась осень с холодными и серенькими днями. Теплой одежды в армии не было запасено. Начались болезни. В стрелецких полках началось шептание... И, что ни день, на холодеющей пелене моря вырастали паруса: к туркам шло и шло подкрепление.

Лефорт не раз пытался склонить Петра снять осаду. Но воля Петра будто окаменела. Стал суров, резок. Похудел до того, что зеленый кафтан болтался на нем, как на жерди. Шутки бросил. Князь-папу, появившегося пьяным в лагере, избил черенком лопаты.

.....

Никто не думал, что можно было работать с таким напряжением, как требовал Петр. Но оказалось, что можно. В середине сентября инженер Адам Вейде донес, что подобрался уже под самый бастион, и рабочие в подкопе слышат какой-то шум: не ведут ли турки контрмину? тогда все дело пропало. Петр лазил с огарком в подкоп и тоже слышал шум. Тут же было решено не медлить и взорвать хоть бы одну мину. Заложили восемьдесят три пуда пороху. Отдали приказ по войскам готовиться к приступу. Тремя пушечными выстрелами оповестили рабочих и солдат. Петр поджег шнур и побежал в глубь лагеря, за ним — Алексашка и Вареной Мадамкин. Турки бросились со стен за внутренние укрепления. Стало необыкновенно тихо. Только каркали вороны, летя за Дон. Внезапно под стеной крепости земля поднялась бугром, раздался тяжелый грохот, из распавшегося бугра взлетел, раскидываясь, косматый столб огня, дыма, земли, камней, бревен, и через минуту все это начало валиться на русские окопы. Дунул горячий вихрь. С шипеньем неслись горящие бревна до середины лагеря.

В трех шагах от Петра упал Вареной Мадамкин с проломанным черепом. До полутора ста солдат и стрельцов, два полковника и подполковник были убиты и поранены. На войска напал неопиcуемый ужас. Когда развеялась пыль, увидели нетронутые стены и на них бешено хохочущих турок.

.

К Петру боялись подходить. Он сам написал (вкривь и вкось, пропуская буквы, брызгая чернилами) приказ, чтоб не позднее конца сего месяца быть общему приступу с воды и суши. Заканчивали оставшиеся неповрежденными два минных подкопа. Войскам велено исповедаться и причаститься. И все готовились к смерти.

Постоянно теперь видели Петра, объезжающего лагерь на косматой лошаденке. По худым его ногам хлестала трава. На уши нахлобучен рыжий от дождей войлочный треух. Неизменно позади верхами — Меньшиков с пистолетами, заткнутыми за шарф, и — Алексей Бровкин с трубой и мушкетом. Люди прятались в окопы: не то что противное слово не скажи, а заметят невеселую морду, прицепятся эти трое дьяволов, подзовут унтер-офицера и — допрос. Чуть что — плети. Нескольких стрельцов, говоривших между собой, что-де «пригнали сюда — русским мясом турецких воронов кормить», Петр бил по лицу и велел повесить в обозе на вздернутых оглоблях.

В ночь на двадцать пятое августа Петр переправился на остров к Якову Долгорукому, чтобы оттуда следить за боем. Во всех лагерях войска не спали. Полковые попы сидели у костров, — так было приказано, — повсюду шевелились усы унтер-офицеров. На зябком рассвете полки вышли в поле. Раздались два взрыва. Мрачным пламенем на минуту озарило минареты, крепости, холмы, реку... человеческие лица, ужасом раскрытые глаза... Русские пошли на приступ...

Бутырский полк ворвался через пролом стены и бился на внутренних палисадах, поражаемый ручными бомбами.

Преображенцы и семеновцы подплыли на лодках, приставили лестницы, полезли на стены. Турки пронзали их стрелами, кололи пиками. Люди сотнями валялись

с лестниц. Зверели, лезли, задыхались матерной руганью. Влезли. Сам Муртаза-паша с визжавшими не по-человечьи янычарами кинулись рубиться...

Остальные полки подошли к стенам, кричали и суетились, но не хватало ярости умирать. Не полезли. Стрельцы опять не пошли далее вала. Тогда Гордон приказал бить в барабаны отбой. Бутырцев только половина убралась живыми из пролома. Потешные дрались уже более часу, тесня Муртазу-пашу, врывались в узкие улицы, где из-за обгорелых развалин летели стрелы, бомбы, камни. Но никто не пособлял. Петр бесновался на острове, гнал верховых, чтобы вернуть, снова бросить войска на стены. Лефорт, в золотых латах, в перьях, скакал с захваченным турецким знаменем среди смешавшихся полков. Головин, как слепой, колотил людей обломками копья... Гордон — один на валу под стрелами и пулями — хрипел и звал... Войска доходили до рва и пятились. Многие, бросив ружье или пику, садились на землю, закрывали лицо: убивайте так уж, не пойдём, не можем... Снова барабаны ударили отбой.

Все затихло и в крепости и в лагерях. Слетались птицы на кучи мертвых тел. На третьи сутки в ночь осада была снята. Не зажигая огней, без шума впрягли пушки и пошли по левому берегу Дона: впереди обозы, за ними остатки войска, в тылу — два полка Гордона... В укрепленных каланчах оставили три тысячи солдат и казаков.

Наутро налетел ураган с моря. Дон потемнел и вздулся... Попытались было переправиться на крымскую сторону. потопили немало телег и людей. Продолжали двигаться ногайским берегом в виду татар. Гордону приходилось непрестанно отражать их напуски: поворачивали пушки, строились четырехугольником и залпами отбивались. Все же, заблудившийся ночью, солдатский полк Сверта погиб весь под татарскими саблями, с полковником и знаменами, — живых увели в плен.

За Черкасском татары отстали. Теперь шли безлюдной, голой степью. Доедали последние сухари. Не из чего было зажечь огня, негде укрыться от ночной стужи. Грядами наползали осенние тучи. Подул северный ветер, нанес изморозь. Обледенела земля. Повалил снег, закрутилась вьюга. Солдаты, босые, в летних кафтанах,

брели по мертвым забелевшим равнинам. Кто упал — не поднимался. Наутро многих оставляли лежать на стану. За войском шли волки, завывая сквозь вьюгу.

Через три недели добрались до Валук,— всего треть осталась от армии. Отсюда Петр с близкими уехал вперед в Тулу на оружейный завод Льва Кирилловича. За царем везли двух пленных турок и отбитое знамя.

С дороги Петр написал князю-кесарю:

«Мин хер кениг... По возвращении от невзятото Азова с консилии господ генералов указано мне к будущей войне делать корабли, галисты, галеры и иные суда. В коих трудах отныне будем пребывать непрестанно. А о здешнем возвещаю, что отец ваш государев, святейший Ианикит, архиепископ, прешбургский и всеа Яузы и всего Кукуя патриарх с холопями своими, дал бог, в добром здравии. Петр».

Так без славы окончился первый азовский поход.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Прошло два года. Кто горланил,— прикусил язык, кто смеялся,— примолк. Большие и страшные дела случились за это время. Западная зараза неудержимо проникла в дремотное бытие. Глубже в нем обозначились трещины, дальше расходились непримиримые силы.

Боярство и поместное дворянство, духовенство и стрельцы страшились перемен (новые дела, новые люди), ненавидели быстроту и жестокость всего нововводимого... «Стал не мир, а кабак, все ломают, всех тревожат... Безродный купчишко за власть хватается... Не живут — торопятся. Царь отдал государство править похотникам-мздоимцам, не имущим страха божия... В бездну катимся...»

Но те, безродные, расторопные, кто хотел перемен, кто замороженно тянулся к Европе, чтобы крупинку хотя бы познать от золотой пыли, окутывающей закатные страны,— эти говорили, что в молодом царе не ошиб-

лись: он оказывался именно таким человеком, которого ждали. От беды и позора под Азовом кукуйский кутилка сразу возмужал, неудача бешеными удилами взнузда-ла его. Даже близкие не узнавали — другой человек: зол, упрям, деловит.

После азовского невзятия он только показался в Москве, где все хихикали: «Это тебе, мол, не кожуховская потеха», — тотчас уехал в Воронеж. Туда со всей России начали сгонять рабочих и ремесленников. По осенним дорогам потянулись обозы. В лесах по Воронежу и Дону закачались под топорами вековые дубы. Строились верфи, амбары, бараки. Два корабля, двадцать три галеры и четыре брандера заложили на стапелях. Зима выпала студеная. Всего не хватало. Люди гибли сотнями. Во сне не увидеть такой неволи, бежавших — ловили, ковали в железо. Выюжный ветер раскачивал на виселицах мерзлые трупы. Отчаянные люди поджигали леса кругом Воронежа. Мужики, идущие с обозами, резали солдат-конвоиров; разграбив что можно, уходили куда глаза глядят... В деревнях калечились, рубили пальцы, чтобы не идти под Воронеж. Упиралась вся Россия, — воистину пришли антихристовы времена: мало было прежней тяготы, кабалы и барщины, теперь волокли на новую непонятную работу. Ругались помещики, платя деньги на корабельное строение, стонали, глядя на незасеянные поля и пустые житницы. Весьма неодобрительно шепталось духовенство, черное и белое: явственно сила отходила от них к иноземцам и к своей всякой нововзысканной и непородной сволочи...

Трудно начинался новый век. И все же к весне флот был построен. Из Голландии выписаны инженеры и командиры полков. В Паншине и Черкасске поставлены большие запасы продовольствия. Войска пополнены. В мае месяце Петр на новой галере «Принкипиум» во главе флота появился под Азовом. Турки, обложенные с моря и суши, оборонялись отчаянно, отбили все штурмы. Когда вышел весь хлеб и весь порох, сдались на милость. Три тысячи янычар с беєм Гасаном Араслановым покинули разрушенный Азов.

В первую голову это была победа над своими: Кукуй одолел Москву. Тотчас отправили высокопарные грамоты к императору Леопольду, венецианскому дожу,

прусскому королю. На Москве-реке у въезда с Каменного моста воздвигли старанием Андрея Андреевича Виниуса порты, или триумфальные ворота. Наверху их среди знамен и оружия сидел двуглавый орел, под ним подпись:

«Бог с нами, никто же на ны. Никогда же бываемое».

Крышу у этих ворот держали золоченые Геркулес и Марс, мужики по три сажени. Под ними — деревянные, раскрашенные, — азовский паша в цепях и татарский мурза в цепях же, под ними подпись:

«Прежде на степях мы ратовались, ныне же от Москвы бегством едва спаслись».

С боков ворот написаны на больших полотнах картины: морской бог Нептун, с надписью: «Се и аз поздравляю взятием Азова и вам покоряюсь...» И на другой — как русские бьют татар: «Ах, Азов мы потеряли и тем бедство себе достали...»

В конце сентября тучи народу облепили берега и крыши: из Замоскворечья через мост и порты шла азовская армия. Впереди ехал на шести лошадях князь-папа с мечом и щитом. За ним — певчие, дудошники, карлы, дьяки, бояре, войска. Далее вели четырнадцать богато убранных лошадей Лефорта. Сам он, в латах, с планом Азова в руке, стоя, ехал в царских золотых санных по гололедице. Опять — бояре, дьяки, войска, матросы, новые вице-адмиралы Лима и де Лозьер. С великой пышностью, окруженный гремящими литаврщиками, ехал на греческой колеснице приземистый, напыщенный, с лицом, раздававшимся в ширину, боярин Шеин, генералиссимус, жалованный этой честью перед вторым азовским походом, чтобы заткнуть рты боярам. За ним волокли полотнищами по земле шестнадцать турецких знамен. Вели пленного татарского богатыря Алатыка, — он шурил косые глаза на толпу, бешено оголял зубы, — ему улюлюкали. Позади Преображенского полка на телеге в четыре коня везли виселицу, под ней стоял с петель на шее изменник Яков Янсен, два палача по сторонам его щелкали пытошными клещами, потряхивали кнутами. Шли инженеры, корабельные мастера, плотники, кузнецы. За стрельцами верхом — генерал Гордон, далее — пленные турки в саванах. Восемь сивых коней та-

шили золотую в виде корабля колесницу. Перед нею шел Петр в морском кафтане, в войлочном треухе со страусовым пером. Удивлялись его круглому лицу и длинному телу — выше человеческого, и многие, крестясь, припоминали страшные и таинственные слухи про этого царя.

Войска прошли через Москву в Преображенское. Вскорости туда приказано было съезжаться боярам для сидения. На большой Думе, где, противно всем обычаям, присутствовали иноземцы, генералы, адмиралы и инженеры, Петр мужественным голосом сказал боярам:

— Понеже фортуна сквозь нас бежит, которая никогда так близко на юг не бывала: блажен, кто хватает ее за волосы. Посему приговорите, бояре: разоренный и выжженный Азов благоустроить вновь и населить войском немалым, да неподалеку оттуда, где заложена мною крепость Таганрог, сию крепость благоустроить и населить же... И еще потребно, — аще нам способнее морем воевать, нежели сухим путем, — построить морской караван в сорок али более того судов... Корабли делать со всей готовностью, с пушками и мелким ружьем, как быть им на войне. И делать их так: патриарху и монастырям с восьми тысяч крестьянских дворов — корабль. Боярам и всем чинам служилым с десяти тысяч крестьянских дворов — корабль. Гостям и гостинной сотне, черным сотням и слободам сделать двенадцать больших кораблей. И посему боярам, и духовным, и служилым людям, и торговым составить кумпанства, сиречь товарищества, и быть всех кумпанств тридцать пять...

Бояре так и приговорили, хоть у многих глаза повывезли и шубы вспотели. Кумпанства велено составить к декабрю под страхом отписки вотчин, поместий и дворов на государя. Каждому кумпанству, кроме русских плотников и пильщиков, держать на свой счет иноземных мастеров, переводчиков, кузнецов добрых, одного резчика, и одного столяра, и одного живописца, и лекаря с аптекой.

И далее — Петр велел приготовить особую подать на постройку канала Волга — Дон и рыть тот канал не мешкая. Развели руками, без спора приговорили. Тя-

жеда была боярам такая спешка, но видели, — спорь не спорь, у Петра все решено вперед. С трона не говорит, а жестко лает, бритые генералы его только потряхивают париками... Ох, как круто! Кругом Преображенского — военный лагерь — трубы, барабаны, солдатские песни. И получилось, что боярская Дума прееет здесь только порядка древнего ради, — вот-вот царь уж и без нее обойдется.

Действительно, вскоре случилось великое дело не боярским приговором, а просто: личной государя канцелярии дьяк и князь-папа настрочил и послал с солдатами царский указ пятидесяти лучшим московским дворянам, чтоб собирались за границу — учиться математике, фортификации, кораблестроению и прочим наукам (без коих, слава богу, жили от Володимера Святого). Взвыли во многих домах в Москве, но об отмене просить или высказываться за немощью — побоялись. Молодых людей собрали, благословили, простились как на смерть. К каждому приставлен был солдат для услуг и для отписки, и поехали они по весенней распутице в чужедальние прелестные страны.

Одним из этих стольников был Петр Андреевич Толстой, зять Троекурова. Он какую угодно ценой рад был загладить участие свое в стрелецком мятеже.

2

Взятие Азова было чрезвычайно легкомысленным и опасным делом: русские накликали большую войну со всей Турецкой империей. А сил имелось только-только, чтобы справиться с одной крепостцой, и Петр и генералы отлично это поняли в боях под Азовом. От прежнего козюховского задора не осталось и следа. И мысли теперь не было о завоеваниях, а лишь уцелеть на первых порах, буде турки пожелают воевать Россию с моря и суши.

Нужно было искать союзников, со всей поспешностью улучшать и вооружать армию и флот, перестраивать насквозь проржавевшую государственную машину на новый, европейский, лад и добывать денег, денег, денег...

Все это могла дать только Европа. Туда требовалось послать людей, и так послать, чтоб там дали. Задача мудреная, неотложная, спешная. Петр (и ближайшие) разрешил ее с азиатской хитростью: послать со всей пышностью великое посольство и при нем поехать самому — переодетым, как на маскараде, — под видом урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Получалось так: «Вы-де нас считали закоснелыми варварами, и мы хоть и цари и прочее и победители турок под Азовом, но люди мы не гордые, простые, легкие, и косности у нас может быть меньше вашего, — спать можем на полу, едим с мужиками из одной чашки, и одна забота у нас — развеять нашу темноту и глупость, поучиться у вас, наши милостивцы...»

Расчет был, конечно, верный: привези в Европу девку с рыбьим хвостом, там бы так не удивились... Помнили, что еще брат Петра почитался вроде бога... А этот — саженого роста, изуродованный судорогою красавец плюет на царское величие ради любопытства к торговле и наукам... Сие невероятно и удивительно.

Великими полномочными послами выбрали Лефорта, сибирского наместника Федора Алексеевича Головина, мужа острого ума и знавшего языки, и думного дьяка Прокофия Возницына. При них двадцать московских дворян и тридцать пять волонтеров, среди них — Алексашка Меншиков и Петр.

Отъезд задержался из-за неожиданной неприятности: раскрылся заговор среди донских казаков, во главе обнаружился полковник Цыклер, тот, кто в бытность Петра в Троице первым привел к нему стрелецкий полк. Петр никогда не мог забыть, что Цыклер был одним из вернейших слуг Софьи, и упрямо не доверял его льстивости. После взятия Азова он послал Цыклера строить крепость Таганрог, — для честолюбца это было равно ссылке. В Таганроге он нашел возбужденное принудительными работами казачество, — степная воля их гибла под жесткой рукой царя, — и там, сразу заворовавшись, Цыклер стал говорить казакам:

«В государстве ныне многое нестроение для того, что государь уезжает за море и посылает великим послом врага нашего, проклятого чужеземца Лефорта, и в ту посылку тащит казну многую... Царь упряма, никого не

хочет слушать, живет в потехах непотребных и творит над всеми печальное и плачевное, и только зря казну ташит... Ходит один по ночам к немке, и легко можно подстеречь, изрезать его ножами. А убьете его,— вам, казакам, никто мешать не станет, сделайте, как делал Стенька Разин... А сделаете так, потом царем хоть меня выбирайте: я — за старую веру, и простых, непородных люблю».

Казаки на это кричали: «Дай срок, отъедет государь в немцы,— учиним, как Стенька Разин...» Стрелецкий пятидесятник Елизарьев, не жалея коней, прискакал в Москву и донес о сем воровстве. На розыске открылось, что в связи с Цыклером были московские дворяне Соковнин и Пушкин и сносились с Новодевичьим монастырем. Петр сам пытал Цыклера, и тот в отчаянии от боли и смертной тоски много нового рассказал про бывшие смертельные замыслы Софьи и Ивана Михайловича Милославского (умершего года три тому назад). Снова поднималась страшная с детских лет тень Милославского, оживала недобитая ненавистная старина...

В Донском монастыре разломали родовой склеп Милославских, взяли гроб с останками Ивана Михайловича, поставили на простые сани, и двенадцать горбатых длиннорылых свиней, визжа под кнутами, поволокли гроб по навозным лужам через всю Москву в Преображенское. Толпами вслед шел народ, не зная — смеяться или кричать от страха.

На площади солдатской слободы в Преображенском увидели четырехугольник войск с мушкетами перед собой. Гудели барабаны. Посреди — помост с плахой, подле — генералы и Петр, верхом, в треухе, в черной епанче. Рука у него дергала удила — привычный конь стоял смирно, — нога, выскакивая из стремени, лягалась, белое лицо кривилось на сторону, запрокидывалось, будто от смеха. Но он не смеялся. Гроб раскрыли. В нем в полуистлевшей парче синел череп и распавшиеся кисти рук. Петр, подъехав, плюнул на останки Ивана Михайловича. Гроб подтащили под дощатый помост. Подвели изломанных пытками Цыклера, Соковнина, Пушкина и троих стрелецких урядников. Князь-папа, пьяный до изумления, прочел приговор...

Первого Цыклера втащили за волосы по крутой лесенке на помост. Сорвали одежду, голого опрокинули на плаху. Палач с резким выдохом топором отрубил ему правую руку и левую, — слышно было, как они упали на доски. Цыклер забил ногами, — навалились, вытянули их, отсекали обе ноги по пах. Он закричал. Палачи подняли над помостом обрубок его тела с всклокоченной бородой, бросили на плаху, отрубили голову. Кровь через щели моста лилась в гроб Милославского...

3

Государство было оставлено боярам во главе со Львом Кирилловичем, Стрешневым, Апраксиным, Троекуровым, Борисом Голицыным и дьяком Виниусом. Москва — со всеми воровскими и разбойными делами — Ромодановскому. В середине марта великое посольство с Петром Михайловым выехало в Курляндию.

Первого апреля Петр отписал симпатическими чернилами:

«Мин хер Виниус... Вчерашнего дня приехали в Ригу, слава богу, в добром здравии, и приняты господа послы с великою честью. При котором въезде была ис 24 пушек стрельба, когда в замок вошли и вышли. Двину обрели еще льдом покрыту и для того принуждены здесь некоторое время побыть... Пожалуй, поклонись всем знаемым... И впредь буду писать тайными чернилами, — поддержи на огне — прочтешь... А для виду буду писать черными чернилами, где пристойно будет, такие слова: «Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул маво домишку»... Остальное все — тайными чернилами, а то здешние людишки зело любопытные...»

На это Виниус отвечал:

«...Понеже от господина великого посла с товарищи первая явилась почта, ввалился я в такую компанию в те часы, и за здравие послов и храбрых кавалеров, а паче же за государское так подколотили, что Бахус со внуком своим Ивашкою Хмельницким надселя со смеху. Генералы и полковники и все начальные люди, урядники и все солдаты вашей милости отдают поклон. В первой роте барабанщик Лука умер. Арап,

Ганибалка, слава богу, живет теперь смиренно, с цепи сняли, учится по-русски... А в домах ваших все здорово».

Через неделю в Москву прибыло второе письмо:

«Хер Виниус... Сегодня поехал отсель в Митау... А жили мы за рекой, которая вскрылась в самый день пасхи... Здесь мы рабским обычаем жили и сыты были только зрением. Торговые люди здесь ходят в мантиях, и кажется, что зело правдиво, а с ямщиками нашими, как стали сани продавать, за копейку матерно лаютя и клянутся... За лошадь с санями дают десять копеек. А чего ни спросишь,— ломают втрое...

Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул маво домишку... (Далее все симпатическими чернилами.) А как ехали из Риги через город в замок,— солдаты стояли на стенах, которых было не меньше двух тысяч... Город укреплен гораздо, только не доделан... Здесь зело боятся, и в город и в иные места и с караулом не пускают, и мало приятны... А в стране зело голодно,— неурожай».

И еще через три недели:

«Сегодня поедем отсель в Кенигсберг морем... Здесь, в Либаве, видел диковинку, что у нас называли ложью... У некоторого человека в аптеке — саламандра в склянице в спирту, которую я вынимал и на руке держал. Слово в слово такоф, как пишут: саламандра — зверь — живет в огне... Ямщиков всех отпустили отседова. А которые ямщики сбежали,— вели сыскать и кнутом путно выбить, вода по торгу, и деньги на них доправить, чтобы другие впредь не воровали».

4

Приятным ветром наполняло четыре больших прямых паруса на грот- и фок-мачтах и два прямых носовых — на конце длинного бушприта... Чуть навалившись на левый борт, корабль «Святой Георгий» скользил по весеннему солнечному серому морю. Кое-где, окруженные пеной, виднелись хрупкие льдины. На громоздкой, как башня, корме вился бранденбургский флаг. Палуба корабля была чистая, вымытая, блестела начи-

щенная медь. Веселая волна ударяла о дубового Нептуна, на носу под бушпритом взлетала радужной пылью.

Петр, Алексахка Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков и хилый, с подстриженной бородой, большеголовый поп Битка,— все, одетые в немецкое, серого сукна, платье, в нитяных чулках и юфтовых башмаках с железными пряжками, сидели на свертках смоляных канатов, курили в трубках хороший табак.

Петр, положив локти на высоко задранные колени, веселый, добрый, говорил:

— Фридрих, курфюрст бранденбургский, к которому плывем в Кенигсберг, свой брат,— поглядите — как встретит... Мы ему вот как нужны... Живет в страхе: с одной стороны его шведы жмут, с другой — поляки... Мы это все уже разузнали. Будет просить у нас военного союза,— увидите, ребята.

— Это тоже мы подумаем,— сказал Алексахка.

Петр сплюнул в море, вытер конец трубки о рукав:

— То-то что нам этот союз ни к чему. Пруссия с турками воевать не будет. Но, ребята, в Кенигсберге не озорничайте — голову оторву... Чтоб о нас слава не пошла.

Поп Битка сказал с перепойной надтугой:

— Поведение наше всегда приличное, нечего грозить... А такого сану — курфюрст — не слыхивали.

Алексахка ответил:

— Пониже короля, повыше дюка,— получается — курфюрст. Но, ка-анешно, у этого — страна разоренная — перебивается с хлеба на квас.

Алеша Бровкин слушал, разинув светлые глаза и безусый рот... Петр дунул ему в рот дымом. Алеша закашлялся. Засмеялись, стали пихать его под бока... Алеша сказал:

— Ну, чаво, чаво... Чай, все-таки боязно,— вдруг это мы — и к ним.

На них, балующих среди канатов, с изумлением поглядывал старый капитан, финн. Не верилось, чтобы один из этих веселых парней — московской царь... Но мало ли диковинного на свете...

С левого борта вдали плыли песчаные берега. Изредка виднелся парус. На запад за край уходил полный парусов корабль. Это было море викингов, ганзей-

ских купцов, теперь — владения шведов. Клонилось солнце. «Святой Георгий» отдал шкоты и фордевиндом, мягко журча по волнам, плыл к длинной отмели, отделяющей от моря закрытый залив Фришгаф. Вырос маяк и низкие форты крепости Пилау, охранявшей проход в залив. Подплыв, выстрелили из пушки, бросили якорь. Капитан просил московитов к ужину.

5

Поутру вылезли на берег. Особенного здесь ничего не было: песок, сосны. Десятка два рыбачьих судов, сети, сохнувшие на колышках. Низенькие, изъеденные ветрами бедные хижинки, но в окошках за стеклами — белые занавесочки... (Петр со сладостью вспомнил Анхен.) У подметенных порогов — женщины в полотняных чепцах за домашней работой, мужики в кожаных шапках — зюйдвестках, губы бриты, борода только на шее. Ходят, пожалуй, неповоротливее нашего, но видно, что каждый идет по делу, и приветливы без робости.

Петр спросил, где у них шинок. Сели за дубовые чистые столы, дивясь опрятности и хорошему запаху, стали пить пиво. Здесь Петр написал по-русски письмо курфюрсту Фридриху, чтоб увидеться. Волков вместе с солдатом из крепости повез его в Кенигсберг.

Рыбаки и рыбачки стояли в дверях, заглядывали в окна. Петр весело подмигивал этим добрым людям, спрашивал, как кого зовут, много ли наловили рыбы, потом позвал всех к столу и угостил пивом.

В середине дня к шинку подкатила золоченая карета со страусовыми перьями на крыше, проворно выскочил напудренный, весь в голубом шелку, камер-юнкер фон Принц и, расталкивая рыбаков и рыбачек, с испуганным лицом пробирался к московитам, стучавшим оловянными кружками. На три шага от стола снял широкополую шляпу и помел по полу перьями, при сем отступил, рука коромыслом, нога подогнута.

— Его светлейшество, мой повелитель, великий курфюрст бранденбургский Фридрих имеет удовольствие просить ваше... (Тут он запнулся. Петр погрозил ему.) Просит высокого и давно желанного гостя пожаловать

из сей жалкой хижины в отведенное согласно его сану приличное помещение...

Алексашка Меньшиков впился глазами в голубого кавалера, пхнул под столом Алешку:

— Вот — это политес... На ципках стоит,— картинка... Парик, гляди, короткий, а у нас — до пупа... Ах, сукин сын!..

Петр сел с фон Принцем в карету. Ребята поехали сзади на простой телеге. В лучшей части города, в Кнейпгофе, для гостей был отведен купеческий дом. Въехали в Кенигсберг в сумерках, колеса загремели по чистой мостовой. Ни заборов, ни частоколов,— что за диво! Дома прямо — лицом на улицу, рукой подать от земли — длинные окна с мелкими стеклами. Повсюду приветливый свет. Двери открыты. Люди ходят без опаски... Хотелось спросить — да как же вы грабежа не боитесь? Неужто и разбойников у вас нет?

В купеческом доме, где стали,— опять — ничего не спрятано, хорошие вещи лежат открыто. Дурак не унесет. Петр, оглядывая темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, турьими рогами, тихо сказал Алексашке:

— Прикажи всем настрого, если кто хоть на мелочь позарится,— повешу на воротах...

— И правильно, мин херц, мне и то боязно стало... Покуда не привыкнут, я велю карманы всем зашить... Ну, не дай бог с пьяных-то глаз...

Фон Принц опять вернулся с каретой. Петр поехал с ним во дворец...

Прошли туда через потайную калитку огородом, где плескал фонтан и на лужайках темнели кусты, подстриженные то в виде шара, то петуха или пирамиды. Фридрих встретил гостя в саду, в стеклянных дверях, протянул к нему кончики пальцев, прикрытые кружевными манжетами. Шелковистый парик обрамлял его весьма пронзительное лицо с острым носом и большим пробитым лбом. На голубой через грудь ленте переливались бриллиантовые звезды.

— О брат мой, юный брат мой,— проговорил он по-французски и повторил то же по-немецки. Петр глядел на него сверху, как журавль, и не знал, как на-

зывать его — братом? Не по чину... Дяденькой? Неудобно. Светлостью или еще как? Не угадаешь — еще обидится...

Не выпуская рук гостя и пятясь, курфюрст ввел его по ковру в небольшой покой. У Петра закружилась голова, — будто ожила одна из любимых в детстве картинок, что висели у него в Преображенском. На мраморном, весело топившемся камине помахивали маятником дивной работы часы, украшенные небесной сферой, звездами и месяцем. Мягкий свет стенных с зеркалом трехсвечников озарял шпалерные картины на стенах, хрупкие стульчики и лавочки и множество красивых и забавных вещиц, коим трудно найти употребление. Ветки с цветами яблонь и вишен в тонких, как мыльный пузырь, высоких кубках.

Курфюрст вертел табакерку, острые глаза его были добродушно полуприкрыты. Усадил гостя у огня на такой легонький золоченый стульчик, что Петр больше держался на мускулах ног, боясь поломать вещицу... Курфюрст пересыпал немецкую речь французскими словами. Наконец помянул о военном союзе. Тут Петр понял. Застенчивость немного сняло с него. На голландско-немецком матросском языке пояснил, что здесь он инкогнито и о делах не говорит, а через неделю придут великие послы, — с теми и надо говорить о мире.

Курфюрст шлепнул в ладоши. Неслышно растворилось то, что Петр принимал за окно, — зеркальная дверца, — и лакеи в красных ливреях внесли столик, уставленный едой и напитками.

У Петра схватило кишки от голода, — сразу повеселел. Но еды оказалось до обидности мало: несколько ломтиков колбасы, жареная птичка-голубь, пирожок с паштетом, салат... Изящным движением курфюрст предложил гостю сесть за стол, заложил накрахмаленную салфетку за камзол и с тонкой улыбкой говорил:

— Вся Европа с восхищением следит за блистательными успехами оружия вашего царского величества против врагов Христовых. Увы, я принужден лишь рукоплескать вам, как римлянин со скамей амфитеатра. Моя несчастная страна окружена врагами — поляки и шведы. Покуда в Саксонии, в Польше, на Балтийском море, в Ливонии хозяйничают эти разбойники

шведы, процветание народов невозможно... Юный друг мой, вы скоро поймете, — наш общий враг, посланный богом за грехи наши, — не турки, но шведы... Они берут пошлину с каждого корабля в Балтийском море. Мы все трудимся, — они, как осы, живут грабежом. Страдаем не только мы, но Голландские штаты и Англия... А турки, турки! Они сильны лишь поддержкой Франции — этого ненасытного тирана, который узурпаторски протягивает руку к испанской короне Габсбургов... Дорогой друг, скоро вы будете свидетелем великой коалиции против Франции. Король Людовик Четырнадцатый стар, его знаменитые маршалы в могиле, Франция разорена непосильными налогами... У нее не найдется сил помогать турецкому султану... В международной игре карта Турции будет бита... Но Швеция, о, это опаснейший враг за спиной Московии.

Легко касаясь кончиками локтей стола, курфюрст тербил цветок яблони. Водянистые глаза его поблескивали. Озаренное свечами бритое лицо было бесовски умное.

Петр чувствовал, — оплетет его немец.

Выпил большой стакан вина.

— Хотел бы у ваших инженеров артиллерийской стрельбе поучиться...

— Весь парк к услугам вашего величества...

— Данке...

— Попробуйте глоточек вот этого мозельского вина...

— Данке. Нам еще рановато в европейскую кашу лезть, — турки нам в великую досаду...

— Только не рассчитывайте на помощь Польши, мой юный друг, — там пляшут под шведскую дудку...

— А мозельское вино хорошее...

— Черное море вам ровно ничего не даст для развития торговли... Тогда как несколько гаваней на балтийском побережье раскроют перед Россией неисчислимые богатства.

Курфюрст кусал лепестки яблони, стальной взгляд его с невидимой усмешкой скользнул по смущенному лицу москвиты...

Всю последующую неделю до прибытия посольства Петр провел за городом, стреляя из пушек по мишеням. От главного артиллерийского инженера Штейнера фон Штернфельда он получил аттестат:

«...Господина Петра Михайлова признавать и почитать за совершенного в метании бомб, и в теории науки и в практике, осторожного и искусного огнестрельного художника, и ему во внимание к его отличным сведениям оказывать всевозможное вспоможение и приятную благосклонность...»

Великие послы въехали в Кенигсберг столь пышно, как никогда и нигде того не случалось. Впереди поезда вели верховых лошадей под дорогими чепраками и попонами, за ними — прусские гвардейцы, пажы, кавалеры и рыцари. Оглушительно гремели русские трубы. За ними шли тридцать волонтеров в зеленых кафтанах, шитых серебром. Верхами — посольские в малиновых кафтанах с золотыми гербами на груди и спине. В развалистой, кругом стеклянной карете ехали три посла — Лефорт, Головин и Возницын — в атласных белых шубах на соболях, с бриллиантовыми двуглавыми орлами на бобровых, как трубы, горлатных шапках. Сидели они, откинувшись, неподвижно, как истуканы, сверкая перстнями на пальцах и на концах тростей. За каретой — московские дворяне, надевшие на себя все, что было дорогого...

Пока шли приемы и переговоры с курфюрстом, Петр уехал кататься на яхте по Фришгафу. Дела здесь не было: сколько курфюрст ни хитер, — с Польшей союз был нужнее, чем с ним. Великие послы, не в пример прошлым временам, к словам и к букве не цеплялись, в обычаях были обходчивы, только не захотели коленопреклоненно целовать руку курфюрста, потому что-де еще не король. Предложили они союз не военный, а дружественный, и на том уперлись. Курфюрст стал уламывать. Послы сказали: ладно, быть союзу военному, но воевать противу тех держав, кои отстанут от войны с Турцией. И это решение было противно курфюрсту, он поехал на яхту к Петру и проговорил с ним всю ночь.

Но мальчишка только кусал грязные ногти. Под конец сказал:

— Да, ладно... Бумагу только не будем писать... Буде у тебя нужда, курфюрст, поможем, вот крест... Веришь?

.

Заклучив тайный словесный союзный договор (что все же пришлось закрепить на бумаге), великое посольство собралось к отъезду, но пришлось задержаться на три недели в Пилау из-за важнейшего известия: в Польше начались выборы нового короля. На сеймах и сеймиках шляхетство рубилось саблями и стреляло из пистолей, отстаивая кандидатов. Их нашлось более десяти человек, но главными и достоверными были Август, курфюрст саксонский, и принц Конти, брат французского короля.

Француз на польском престоле — значило отпадение Польши от союза против турок и война с Московией. Только здесь, на европейском берегу, Петр понял, что значит политическая игра. Из Пилау он послал гонца к Винуусу с приказом написать такое письмо полякам, чтобы как можно напугать партию французского принца. В Москве сочинили грамоту на имя кардинала примаса гнездинского. В ней говорилось: «...Когда бы в польском государстве француз королем стал, то не только против неприятели святого креста союз, но и вечный мир с Польшей был бы зело крепко поврежден... Того ради мы, великий государь, имея ко государям вашим королям польским постоянную дружбу, также и к панам, раде и речи посполитой, такого короля с французской и турецкой стороны быти не желаем...» Грамоту подкрепили соболями и червонными. Из Парижа тоже прислали золото. Суетные поляки выбрали в короли и Августа и Конти. Началась смута. Паны вооружали челядь и мужиков, разбивали друг у друга хутора, жгли местечки. Петр в тревоге писал в Москву, чтоб двинули войско к литовской границе на подсобу Августу. Но Август сам явился в Польшу с двенадцатитысячным войском — садиться на престол. Французская партия была бита. Паны разъехались по замкам, мелкое шляхетство — по шинкам. Принц Конти, — так стало изве-

стно в Европе,— доехав только до Булони, пожал плечами и вернулся к своим развлечениям. Король Август поклялся русскому резиденту в Варшаве, что будет заодно с Петром.

Великое дело закончилось благополучно. Послы и Петр с волонтерами покинули Пилау.

7

Петр ехал на перекладных впереди посольства, не останавливаясь, через Берлин, Бранденбург, Гальберштадт. Свернули только к знаменитым железным заводам близ Ильзенбурга. Здесь Петру показали выпуск чугуна из доменной печи, варку железа в горшках, ковку из тонких пластин ружейных стволов, обточку и сверление на станках, вертящихся от водяных колес. Работали цеховые мастера и подмастерья по своим кузницам и мастерским. Изделия сносились в замок Ильзенбург: ружья, пистолеты, сабли, замки, подковы. Петр подговорил было двух добрых мастеров ехать в Москву, но цех не отпустил их.

Ехали по дорогам, обсаженным грушами и яблонями, никто из жителей плодов сих не воровал. Кругом — дубовые рощи, прямоугольники хлебов, за каменными изгородями — сады, и среди зелени — черепичные крыши, голубятни. На полянах — красивые сытые коровы, блестят ручьи в бережках, вековые дубы, водяные мельницы. Проедешь две-три версты — городок, — кирпичная островерхая кирка, мощеная площадь с каменным колодцем, высокая крыша ратуши, тихие чистенькие дома, потешная вывеска пивной, медный таз цирюльника над дверью. Приветливо улыбающиеся люди в вязаных колпаках, коротких куртках, белых чулках... Старая добрая Германия...

В теплый июльский вечер Петр и Алексашка на переднем дормезе въехали в местечко Коппенбург, что близ Ганновера. Лаяли собаки, светили на дорогу окна, в домах садились ужинать. Какой-то человек в фартуке появился в освещенной двери трактира под вывеской: «К золотому поросенку» — и крикнул что-то кучеру. Тот остановил уставших лошадей, обернулся к Петру:

— Ваша светлость, трактирщик заколол свинью, и сегодня у него колбаски с фаршем. Лучше ночлега не найдем...

Петр и Меньшиков вылезли из дормеза, разминая ноги.

— А что, Алексашка, заведем когда-нибудь у себя такую жизнь?

— Не знаю, мин херц,— не скоро, пожалуй...

— Милая жизнь... Слышь, и собаки здесь лают без ярости... Парадиз... Вспомню Москву,— так бы сжег ее...

— Хлев, это верно...

— Сидят на старине,— ж...па сгнила... Землю за тысячу лет пахать не научились... Отчего сие? Курфюрст Фридрих — умный человек: к Балтийскому морю нам надо пробиваться — вот что... И там бы город построить новый,— истинный парадиз... Гляди,— звезды здесь ярче нашего...

— А у нас бы, мин херц, кругом бы тут все обгадили...

— Погоди, Алексашка, вернись — дух из Москвы вышибу...

— Только так и можно...

Вошли в трактир. Над большим очагом и на дубовой балке под потолком висели окорока и колбасы, от пылающего хвороста блестела медная посуда. Трактирщик низко кланялся, ухмыляясь красной, как кастрюля, рожей. Спросили пива, и только расположились закусывать,— с улицы вошел кавалер.

Был он в высокой — конусом — широкополой шляпе, в суконном плаще, задевающим за шпоры. Кивнул трактирщику, чтобы тот удалился, подскакнул, захватил спереди шляпу и начал раскланиваться, шпагой задирая плащ, летая по кухне. Петр и Алексашка, разинув рты, глядели на него. Кавалер сказал на мягком наречии:

— Ее светлость курфюрстина ганноверская, Софья, с дочерью Софьей-Шарлоттой, курфюрстиной бранденбургской, и сыном кронпринцем Георгом-Людвиком, августейшим наследником английского престола, и герцогом Цельским, также придворными ее светлости дамами и кавалерами,— покинув Ганновер, поспешили на встречу вашему царскому величеству с единственным

намерением вознаградить себя за утомительную дорогу и неудобства ночлега — знакомством с необыкновенным и славным царем московским...

Коппенштейн, — таково было имя кавалера, — просил Петра пожаловать к ужину: курфюрстина с дочерью не садятся за стол, ожидая гостя... Петр половину только понял из сказанного и до того испугался, — едва не дернул на улицу...

— Не могу, — сказал, заикаясь, — зело тороплюсь... Да и время позднее... Назад когда из Голландии поеду, тогда разве...

Плащ и шляпа Коппенштейна опять полетели по кухне. Он настаивал, не смущаясь. Алексашка шепнул по-русски:

— Не отвяжется... Лучше сходи на часок, мин херц, — немцы обидчивы...

Петр с досады оторвал пуговицу на камзоле. Согласился с условием, чтобы их с Алексашкой провели как-нибудь задним ходом, в безлюдстве, и чтоб за столом была одна курфюрстина, в крайности — с дочерью. Нахлобучил на глаза пыльный треух, с тоской взглянул на колбасы под очагом.

На улице ждала карета.

8

Курфюрстина Софья с дочерью Софьей-Шарлоттой сидели у накрытого к ужину стола, перед камином, занавешенным из-за уродства китайской тканью. Мать и дочь мужественно терпели все неудобства в средневековом замке, предоставленном им местным помещиком. Несколько современных шпалер и ковров едва прикрывали облупленные кирпичные стены, где высоко под сводами несомненно водились совы. Спешно добытые хозяином шелковые креслица стояли на плитчатом полу, истертом сапогами рыжебородых рыцарей и подковами рыцарских жеребцов. Отовсюду пахло мышами и пылью. Дамы содрогнулись при мысли о грубости нравов, слава создателю, — исчезнувших навсегда. Их взор утешала висевшая на ржавом крюке, предназначенном для щитов и панцирей, большая картина, она

изображала роскошное изобилие: прилавок с грудой морских рыб и лангустов, связки битой птицы, овощи и фрукты, кабаны, пораженные копьями... Краски излучали солнечный свет...

Живопись, музыка, поэзия, игра живого ума, устремленного ко всему утонченному и изящному, — вот единственное достойное содержание мимолетной жизни: так думали мать и дочь. Они были образованнейшими женщинами в Германии. Обе состояли в переписке с Лейбницем¹, говорившим: «Ум этих женщин настолько пытлив, что иногда приходится капитулировать перед их глубокомысленными вопросами». Покровительствовали искусствам и словесности. Софья-Шарлотта основала в Берлине академию наук. На днях курфюрст Фридрих с добродушным остроумием сообщил им в письме впечатления о царе варваров, путешествующем под видом плотника. «Московия, как видно, пробуждается от азиатского сна. Важно, чтобы ее первые шаги были направлены в благодетельную сторону». Мать и дочь не любили политики, их привело в Коппенбург благороднейшее любопытство.

Курфюрстина Софья сжимала худыми пальцами подлокотник кресла. Она прислушивалась, — за окном, раскрытым в ночной сад, сквозь шорох листвы чудился стук колес. Вздрагивали нитки жемчугов на ее белом парике, натянутом на каркас из китового уса, столь высокий, что, даже подняв руки она не могла бы коснуться его верхушки. Курфюрстина была худа, вся в морщинках, недостаток между нижними зубами залеплен воском, кружева на вырезе лилового платья прикрывали то, что не могло уже соблазнять. Лишь черные большие глаза ее светились живым лукавством.

Софья-Шарлотта, с темным, как у матери, взором, но более покойным, была красива, величественна и бела. Умный лоб под напудренным париком, блистающие плечи и грудь, открытая почти до сосков, тонкие губы, сильный подбородок... Немного вздернутый нос ее заставлял внимательно вглядеться в лицо, ища скрытого легкомыслия.

¹ Лейбниц Готфрид-Вильгельм — знаменитый немецкий философ, математик, физик, историк и дипломат.

— Наконец-то,— сказала Софья-Шарлотта, поднимаясь,— подъехали.

Мать опередила ее. Обе, шумя шелком, подошли к глубокой, в толще стены, нише окна. По дорожке сада стремительно шагала, размахивая руками, длинная тень, за ней поспевала вторая — в плаще и шляпе конусом, подальше — третья.

— Это он,— сказала курфюрстина,— боже, это великан...

Дверь отворил Коппенштейн.

— Его царское величество!

Появилась косолапая нога в пыльном башмаке и шерстяном чулке,— боком вошел Петр. Увидя двух дам, озаренных свечами, пробормотал: «Гутен абенд...» Поднес руку ко лбу, будто чтобы потереть, совсем смутился и закрыл лицо ладонью.

Курфюрстина Софья подошла на три шага, приподняла кончиками пальцев платье и с легкостью, не свойственной годам, сделала реверанс.

— Ваше царское величество, добрый вечер...

Софья-Шарлотта так же, подойдя на ее место, лебединым движением отнесла вбок прекрасные руки, приподняла пышные юбки, присела.

— Ваше царское величество простит нам то законное нетерпение, с каким мы стремились увидеть юного героя, повелителя бесчисленных народов и первого из русских, разбившего губительные предрассудки своих предков.

Отдирая руку от лица, Петр кланялся, складывался, как жердь, и видел, что смешон до того,— вот-вот дамы зальются обидным смехом. Смущение его было крайнее, немецкие слова выскочили из памяти.

— Их кан ниht шпрехен... Я не могу говорить,— бормотал он упавшим голосом... Но говорить не пришлось. Курфюрстина Софья задала сто вопросов, не ждя ответа: о погоде, о дороге, о России, о войне, о впечатлениях путешествия, просунула руку ему под локоть и повела к столу. Сели все трое — лицом к мрачному залу с темными сводами. Мать положила жареную птичку, дочь налила вина. От женщин пахло сладкими духами. Старушка, разговаривая, ласково, как мать, касалась сухонькими пальчиками его руки, еще судо-

рожно сжатой в кулак, ибо ногтей своих он застыдился на снежной скатерти, среди цветов и хрусталя. Софья-Шарлотта угощала его с приятной обходительностью, приподнимаясь, чтобы дотянуться до кувшина или блюда, — оборачиваясь с прельстительной улыбкой:

— Откушайте вот этого, ваше величество... Право, это стоит того, чтобы вы откушали...

Не будь она так красива и гола, не шурши ее надушенное платье, — совсем бы сестра родная. И голоса у них были как у родных. Петр перестал топорщиться, начал отвечать на вопросы. Курфюрстины рассказывали ему о знаменитых фламандских и голландских живописцах, о великих драматургах при французском дворе, о философии и красоте. О многом он не имел понятия, переспрашивал, дивился...

— В Москве — науки, искусства! — сказал он, лягнув ногой под стол. — Сам их здесь только увидел... Их у нас не заводили, боялись... Бояре наши, дворяне — мужичье сиволапое — спят, жрут да молятся... Страна наша мрачная. Вы бы там со страху дня не прожили. Сижу здесь с вами, — жутко оглянуться... Под одной Москвой — тридцать тысяч разбойников... Говорят про меня — я много крови лью, в тетрадах подметных, что-де я сам пытаю...

Рот у него скривился, щека подскочила, выпуклые глаза на миг остекленели, будто не стол с яствами увидел перед собой, а кислую от крови избу без окон в Преображенской слободе. Резко дернул шей и плечом, отмахиваясь от видения... Обе женщины с испуганным любопытством следили за изменениями лица его...

— Так вы тому не верьте... Больше всего люблю строить корабли... Галера «Принкипиум» от мачты до киля вот этими руками построена (разжал наконец кулаки, показал мозоли)... Люблю море и очень люблю пускать потешные огни. Знаю четырнадцать ремесел, но еще плохо, за этим сюда приехал... А про то, что зол и кровь люблю, — врут... Я не зол... А пожить с нашими в Москве, каждый бешеным станет... В России все нужно ломать, — все заново... А уж люди у нас упрямы! — на ином мясе до костей под кнутом слезет... — Запнулся, взглянул в глаза женщин и улыбнулся им виновато: — У вас королями быть — разлюбезное де-

ло... А ведь мне, мамаша,— схватил курфюрстину Софью за руку,— мне нужно сначала самому плотничать научиться.

Курфюрстины были в восторге. Они прощали ему и грязные ногти и то, что вытирал руки о скатерть, чавкал громко, рассказывая о московских нравах, ввертывал матросские словечки, подмигивал круглым глазом и для выразительности пытался не раз толкнуть локтем Софью-Шарлотту.

Все,— даже чудившаяся его жестокость и девственное непонимание иных проявлений гуманности,— казалось им хотя и страшноватым, но восхитительным. От Петра, как от сильного зверя, исходила первобытная свежесть. (Впоследствии курфюрстина Софья записала в дневнике: «Это — человек очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он — полный представитель своей страны».)

От шипучего вина, от близости таких умных и хороших женщин Петр развеселился. Софья-Шарлотта пожелала представить ему дядю, брата и двор. Петр полез в карман за трубкой, странно улыбаясь маленьким ртом, кивнул: «Ладно, валяйте...» Вошли герцог Цельский, сухой старик, с испанской, каких теперь уже не носили, седой бородкой и закрученными усами волокиты и дуэлиста, кронпринц — вялый, узколицый юноша в черном бархате; пестрые и пышные дамы и кавалеры; широкоплечий красавец Алексашка, окруженный фрейлинами,— этот всюду был дома,— и послы: Лефорт и толстый Головин, наместник Сибирский. (Они нагнали в Коппенбурге царский дормез и, узнавши, где Петр, в великом страхе, не поевши, не переодевшись, поспешили в замок.)

Петр обнял герцога, подняв под мышки, поцеловал в щеку будущего английского короля, согнул руку коромыслом и бойко поклонился придворным. Дамы враз присели, кавалеры запрыгали со шляпами.

— Алексашка, прикрой дверь покрепче,— сказал он по-русски. Налил вином бокал, без малого — с кварту, кивком подозвал ближайшего кавалера и — опять со странной улыбкой:

— Отказываться по русскому обычаю от царской чаши нельзя, пить всем — и дамам и кавалерам по полной...

Словом, веселье началось, как на Кукуе. Появились итальянские певцы с мандолинами. Петр захотел танцевать. Но итальянцы играли слишком мягко, тягуче. Он послал Алексашку в трактир, в обоз за своими музыкантами. Пришли преображенские дудожники и рожечники, — все в малиновых рубашках, стриженные под горшок, — стали, как истуканы, у стены и ударили в ложки, в тарелки, заиграли на коровьих рогах, деревянных свистелках, медных дудах... Под средневековыми сводами отродясь не раздавалось такой дьявольской музыки. Петр подтопывал, вертел глазами:

— Алексашка, жги!

Меньшиков повел плечами, повел бровями, соскучился лицом и пошел с носка на пятку. Софья пожелала видеть, как танцует Петр. Он шепотно взял старушку за пальцы, повел ее лебедью. А посадив, выбрал толстенькую — помоложе и начал выписывать ногами курбеты. Лефорт взялся распоряжаться танцами. Софья-Шарлотта выбрала толстого Головина. Подоспевшие из сада волонтеры разобрали дам и хватили вприсядку с вывертами, татарскими бешеными взвизгами, крутились юбки, растрепались парики. Всыпали поту немкам. И многие дивились, — отчего у дам жесткие ребра? Спросил и Петр об этом у Софьи-Шарлотты. Курфюрстина не поняла сначала, потом смеялась до слез:

— Сие не ребра, а пружины да кости в наших корсетах...

9

В Коппенбурге разделились. Великие послы двинулись кружным путем в Амстердам. Петр с небольшим числом волонтеров погнал прямо к Рейну, не доезжая городка Ксантена, сел на суда и поплыл вниз. За Шенкеншанцем начиналась желанная Голландия. Свернули правым рукавом Рейна и при деревне Форт вошли через шлюзы в прокопы, или каналы.

Плоскодонную барку тянули две широкозадых карачиных лошади в высоких хомутах, степенно помахивали

вая головами; они шли песчаной тропкой по травянистому берегу. Канал тянулся прямой полосой по равнине, расчерченной, как на карте, огородами, пастбищами, цветочными посевами и сетью канав и каналов. День был жаркий, слегка мглистый. Левкой, гиацинты, нарциссы уже отцветали, кое-где остатки их на почерневших грядках срезались и укладывались в корзины. Но тюльпаны — черно-лиловые, красные, как пламя, пестрые и золотистые — бархатом покрывали землю. Повсюду под ленивым ветром вертящиеся крылья мельниц, мызы, хуторки, домики с крутыми черепичными кровлями, с гнездами аистов, ряды невысоких ив вдоль канав. В голубоватой дымке — очертания городов, соборов, башен, и — мельницы, мельницы...

Ладья с сеном двигалась мимо огородов по канаве. Из-за крыши мызы появился парус и скользил тихо между тюльпанами... У зеленого от плесени шлюза голландцы в широких, как бочки, штанах, узкогрудых куртках, деревянных башмаках (их лодки с овощами стояли в канаве, убегающей туда, где мглисто блестело солнце), спокойно покуривая трубки, дожидались открытия шлюза.

Местами барка плыла выше полей и строений. Внизу виднелись плоды на деревьях, распластанных ветвями вдоль кирпичной стены, белье на веревках, на чистом дворике по песку — разгуливающие павлины. Видя живьем этих птиц, русские только ахали. Сном наяву казалась эта страна, дивным трудом отвоеванная у моря. Здесь чтили и холили каждый клочок земли... Не то, что у нас в дикой степи!.. Петр говорил волонтерам, дымя глиняной трубкой на носу барки:

— На ином дворе в Москве у нас просторнее... А взять метлу, да подмести двор, да огород посадить zelo приятный и полезный — и в мыслях ни у кого нет... Строение валится, и то вы, дьяволы, с печи не слезете подпереть, — я вас знаю... До ветру лень сходить в приличное место, гадите прямо у порога... Отчего сие? Сидим на великих просторах и — нищие... Нам то в великую досаду... Глядите — здесь землю со дна морского достали, каждое дерево надо привезти да посадить И устроен истинный парадиз...

Через шлюзы из большого канала барка вошла в малые. Шли на шестах, постоянно расходясь с тяжело нагруженными ладьями. На востоке разостлалась молочно-серая пелена Зейдерзее — голландского моря. Все больше виднелось на нем парусов. Все многолюднее становилось вокруг. Вечерело, приближались к Амстердаму. Корабли, корабли на розовеющей морской пелене. Мачты, паруса, пылающие в закатном свете, острые кровли соборов и зданий... Багровые облака, как горы, вставшие из-за моря, но быстро погасал свет, они подергивались пеплом. На равнине загорались огоньки, скользили по каналам.

Ужинать остановились на берегу в приветливо освещенном трактире. Пили джин и английский эль. Отсюда Петр отослал в Амстердам всех волонтеров с переводчиками и коробьями, сам же с Меньшиковым, Алейшей Бровкиным и попом Биткой пересел в бот и поплыл дальше (минуя столицу) в деревеньку Саардам.

Более всего на свете не терпелось увидеть ему это любимое с детства место. О нем рассказывал старинный друг, кузнец Гаррит Кист (когда строили потешные корабли на Переяславском озере). Кист, подработав, тогда же вернулся на родину, но из Саардама прибыли (в Архангельск, потом — Воронеж) другие кузнецы и корабельные плотники и говорили: «Уж где строят суда, Петр Алексеевич, так это в Саардаме: легки, ходки, прочны, — всем кораблям корабли».

Километрах в десяти на север от Амстердама в деревнях Саардам, Ког, Ост-Занен, Вест-Занен, Зандик было не менее пятидесяти верфей. Работали на них днем и ночью с такой быстротой, что корабль поспевал в пять-шесть недель. Вокруг — множество фабрик и заводов, приводимых в движение ветряными мельницами, изготовляли все нужное для верфей: точеные части, гвозди, скобы, канаты, паруса, утварь. На этих частных верфях строили средней величины купеческие и китобойные корабли, — военные и большие купеческие, ходившие в колонии, сооружались в Амстердаме на двух адмиралтейских эллингах.

Всю ночь с лодки, плывущей по глубокому и узкому заливу, видели на берегах огни, слышали стукотню топоров, скрип бревен, звон железа. При свете

костра различались ребра шпангоутов, корма корабля на стапелях, переплет деревянной машины, поднимающей на блоках связки досок, тяжелые балки. Сновали лодки с фонариками. Раздавались хриплые голоса. Пахло сосновыми стружками, смолой, речной сыростью... Четыре дюжих голландца поскрипывали веслами, посапывали висячими трубками.

В середине ночи заехали передохнуть в харчевню. Гребцы сменились. Утро настало сырое, серенькое. Дома, мельницы, барки, длинные бараки — все, казавшееся ночью таким огромным, принизилось на берегах, покрытых сизой росой. К туманной воде свешивались плакучие ивы. Где же славный Саардам?

— Вот он, Саардам, — сказал один из гребцов, кивая на небольшие с крутыми крышами и плоской лицевой стороной домики из дерева и потемневшего кирпича. Лодка плыла мимо них по грязноватому каналу, как по улице. В деревне просыпались, кое-где горел уже огонь в очаге. Женщины мыли квадратные окна с мелкими стеклами, радужными от старости. На покосившихся дверях чистили медные ручки и скобы. Кричал петух на крыше сарая, крытого дерном. Светлело, дымилась вода в канале. Поперек его на веревках висело белье: широчайшие штаны, холщовые рубахи, шерстяные чулки. Проплывая, приходилось нагибаться.

Свернули в поперечную канаву мимо гнилых свай, курятников, сараев с прилепленными к ним нужными чуланами, дуплистых ветел. Канавка кончалась небольшой заводью, посреди ее в лодке сидел человек в вязаном колпаке, с головой, ушедшей в плечи, — удил угрей. Вглядываясь, Петр вскочил, закричал:

— Гаррит Кист, кузнец, это ты?

Человек вытащил удочку и тогда только взглянул, и, видимо, хотя и был хладнокровен, но удивился: в подъезжавшей лодке стоял юноша, одетый голландским рабочим, — в лакированной шляпе, красной куртке, холщовых штанах... Но другого такого лица он не знал — властное, открытое, с безумными глазами... Гаррит Кист испугался — московский царь в туманное утро выплыл из канавы, на простой лодке. Поморгал Гаррит Кист рыжими ресницами, — действительно царь, и окрикнул его...

— Эй, это ты, Питер?

— Здравствуй...

— Здравствуй, Питер...

Гаррит Кист жесткими пальцами осторожно пожал его руку. Увидал Алексашку:

— Эй, это ты, парень?.. То-то я смотрю, как будто они... Вот как славно, что вы приехали в Голландию...

— На всю зиму, Кист, плотничать на верфи... Сегодня побежим покупать инструмент...

— У вдовы Якова Ома можно купить добрый инструмент и недорого, — я уж поговорю с ней...

— Еще в Москве думал, что остановлюсь у тебя...

— У меня тесно будет, Питер, я бедный человек, — домишко совсем плох...

— Так ведь и жалованья на верфи, чай, мне дадут немного...

— Эй, ты все такой же шутник, Питер...

— Нет, теперь нам не до шуток. В два года должны флот построить, из дураков стать умными! Чтоб в государстве белых рук у нас не было.

— Доброе дело задумал, Питер.

Поплыли к травянистому берегу, где стоял под осевшей черепичной кровлей деревянный домишко в два окна с пристройкой. Из плоской высокой трубы поднимался дымок под ветви старого клена. У покосившихся дверей, с решетчатым окном над притолокой, постелен чистый половичок, куда ставить деревянные башмаки, ибо в дома в Голландии входили в чулках. На подъехавших с порога глядела худая старуха, заложив руки под опрятный передник. Когда Гаррит Кист крикнул ей, бросая весла на траву: «Эй, эти — к нам из Москвы», — она степенно наклонила крахмальный ушастый чепец.

Петру очень понравилось жилище, и он занял горницу в два окна, небольшой темный чулан с постелью (для себя и Алексашки) и чердак (для Алешки с Биткой), куда вела приставная лестница из горницы. В тот же день он купил у вдовы Якова Ома добрые инструменты и, когда вез их в тачке домой, — встретил плотника Ренсена, одну зиму работавшего в Воронеже. Толстый, добродушный Ренсен, остановясь, раскрыл рот и вдруг побледнел: этот идущий за тачкою парень в сдвинутой

на затылок лакированной шляпе напомнил Ренсену что-то такое страшное — защемило сердце... В памяти раскрылось: летящий снег, зарево и вьюгой раскачиваемые трупы русских рабочих...

— Здорово, Ренсен,— Петр опустил тачку, вытер рукавом потное лицо и протянул руку: — Ну, да, это я... Как живешь? Напрасно убежал из Воронежа... А я на верфи Лингста Рогге с понедельника работаю... Ты не проговорись, смотри... Я здесь — Петр Михайлов.— И опять воронежским заревом блеснули его пристально-выпуклые глаза.

10

«Мин хер кениг... Которые навигаторы посланы по вашему указу учиться,— розданы все по местам... Иван Головин, Плещеев, Крапоткин, Василий Волков, Верещагин, Александр Меньшиков, Алексей Бровкин, по вся дни пьяный поп Битка, при которых и я обретаюсь, отданы — одни в Саардаме, другие на Остиндский двор к корабельному делу... Александр Кикин, Степан Васильев — машты делать; Яким маляр да посольский дьякон Кривосыхин — всяким водяным мельницам; Борисов, Уваров — к ботовому делу; Лукин и Кобылин — блоки делать; Коншин, Скворцов, Петелин, Муханов и Синявин — пошли на корабли в разные места в матрозы; Арчилов поехал в Гагу бомбардирству учиться... А стольники, которые прежде нас посланы сюда, выуча один компас, хотели в Москву ехать, чаяли, что — все тут... Но мы намерение их переменили, велели им идти в чернорабочие на остадскую верфь — еще и ртом посрать...

Господин Яков Брюс приехал сюды и отдал от вашей пресветлости письмо. Показывал раны, кои до сих пор не зажили, жаловался, что получил их у вашей пресветлости на пиру... Зверь! Долго ль тебе людей жечь? И сюды раненные от вас приехали. Перестань знаться с Ивашкою Хмельницким... Быть от него роже драмой... Питер...»

.

«...В твоём письме, господине, написано ко мне, будто я знаюсь с Ивашкою Хмельницким, и то, господине, не-

правда... Яков к вам приехал прямой московской пьяной, да и сказал в беспамятстве своем... Неколи мне с Ивашкой знаться,— всегда в ругательстве и лае, всегда в кровях омываемся... Ваше-то дело на досуге держать знакомство с Ивашкою, а нам недосуг... Как я писал тебе, господине, опять той же шайки воров поймано восемь человек, и те воры из посадских торговых людей, из мясников, из извозчиков и из боярских людей — Петрушка Селезень, да Митька Пичуга, да Попугай, да Куска Зайка, да сын дворянский Мишка Тыртов... Пристанище и дуван разбойной рухляди были у них за Тверскими воротами... А что до Брюса, али другие приедут жаловаться на меня,— так то все спяну... Челом бью, Фетка Ромодановский...»

«...Мин хер кениг... Письмо мое государское мне отдано, в котором написано о иноземце о Томасе Фаденбрахте,— как ему впредь торговать табаком? О том еще зимою указ учинен, что первый год — торговать на себя, другой год — на себя же с пошлинами, в третий год дать торг: кто больше даст, тому и отдать... Паки дивлюсь— разве ваши государевы бояре сами-то не могли подумать, а кажется дела посредственны... К службе вашей государской куплено здесь 15 000 ружья и на 10 000 подряжено, так же велено сделать к службе же вашей 8 гаубиц да 14 единорогов. О железных мастерах многожды здесь говорил, но сыскать еще не можем, добрые здесь крепко держатся, а худых нам не надобно... Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтобы не покинул мою домишку... (Далее симпатическими чернилами.) А вести здесь такие: король французский готовит паки флот в Бресте, а куды — ни хто не знает... Вчерась получена из Вены ведомость, что король гишпанский умер... А что по смерти его будет,— о том ваша милость сама знаешь...¹

Так же пишешь о великих дождях, что у нас ныне. И о том дивимся, что на таких хоромах в Москве у вас такая грязь... А мы здесь и ниже воды живем — однако сухо... Питер...»

¹ Война за испанское наследство.

Василий Волков, по приказу Петра ведя дневник, записал:

«В Амстердаме видел младенца женска пола, полутора года, мохната всего сплошь и толста гораздо, лицо поперек полторы четверти,—привезена была на ярмарку. Видел тут же слона, который играл минутами, трубил по-турецки, стрелял из мушкетона и делал симпатию с собакою, которая с ним пребывает,—зело дивно преудивительно...

Видел голову сделанную деревянную человеческую,—говорит! Заводят, как часы, а что будешь говорить, то и она голова говорит. Видел две лошади деревянные на колесе,—садутся на них и скоро ездят куда угодно по улицам... Видел стекло, через которое можно растопить серебро и свинец, им же жгли дерево под водой, воды было пальца на четыре,—вода закипела и дерево сожгли.

Видел у доктора анатомию: вся внутренность разнята разно,—сердце человеческое, легкое, почки, и как в почках рождается камень. Жила, на которой легкое живет, подобно как тряпица старая. Жилы, которые в мозгу живут,—как нитки... Зело предивно...

Город Амстердам стоит при море в низких местах, во все улицы пропущены каналы, так велики, что можно корабли вводить, по сторонам каналов улицы широки,—в две кареты в иных местах можно ехать. По обе стороны великие деревья при канале и между ними — фонари. По всем улицам фонари, и на всякую ночь повинен каждый против своего дома ту лампаду зажечь. На помянутых улицах — plezier, или гулянье великое.

Купечество здесь живет такое богатое, которое в Европе больше всех считается, и народ живет торговый и вельми богатый. Так сподеваются, что — нигде... Биржа, которая вся сделана из камня белого и внутри вся нарезана алебастром — зело пречудно... Пол сделан, как на шахматной доске, и каждый купец стоит на своем квадрате... И так на всякий день здесь бывает много народу, что на всей той площади ходят с великой теснотою... И бывает там крик великий... Некоторые люди,—которые из жидов — бедные,—ходят между купцами и дают нюхать табак, кому сгоряча надобно,—и тем кормятся...»

Яков Номен, любознательный голландец, записал в дневнике:

«...Царю не более недели удалось прожить инкогнито: некоторые, бывшие в Московии, узнали его лицо. Молва об этом скоро распространилась по всему нашему отечеству. На амстердамской бирже люди ставили большие деньги и бились об заклад,— действительно ли это великий царь, или только один из его послов... Господин Гаутман, торгующий с Московией и неоднократно угощавший в Москве царя, приехал в Заандам, чтоб засвидетельствовать царю свое глубокое почтение. Он сказал ему:

«Ваше миропомазанное величество, вы ли это?»

На это царь ответил довольно сурово:

«Как видишь».

После сего они долго беседовали о затруднительности северного пути в Московию и о преимуществах балтийских гаваней,— причем Гаутман не смел смотреть царю прямо в лицо, зная, что это могло бы рассердить его: он не мог терпеть, когда ему смотрели прямо в глаза. Был такой пример: некий Альдертсон Блок посмотрел как-то на улице весьма дерзко царю в глаза, словом, так — будто перед ним было что-то весьма забавное и удивительное. За это царь сильно ударил его рукой по лицу, так что Альдертсон Блок почувствовал боль и, пристыженный, убежал, между тем как над ним засмеялись гуляющие:

«Браво, Альдертсон, ты пожалован в рыцари».

Другой торговец захотел видеть царя за работой и просил мастера на верфи, чтобы тот удовлетворил его любопытство. Мастер предупредил, что тот, кому он скажет: «Питер, плотник заандамский, сделай то или это», — и есть царь московитов... Любопытный купец вошел на верфь и увидел, как несколько рабочих несут тяжелое бревно. Тогда бас или мастер крикнул:

«Питер, плотник заандамский, что же ты не подсобишь?»

Тогда один из плотников, почти семи футов росту, в запачканной смолою одежде, с кудрями, прилипшими ко лбу,— воткнул топор и, послушно подбежав, подставил плечо под дерево и понес его вместе с другими, к немалому удивлению помянутого торговца...

После работы он посещает невзрачную портовую харчевню, где, сидя за кружкой, курит трубку и весело беседует с самыми неотесанными людьми и смеется их шуткам, нисколько в таких случаях не заботясь о почтении к себе. Он часто посещает жен тех рабочих, которые служат в настоящее время в Московии, пьет с женщинами можжевелевую водку, похлопывает их и шутит... О некоторых его странностях говорит следующий случай... Он купил слив, положил их в свою шляпу, взял ее под мышку и ел их на улице, проходя через плотину к Зейддейку. За ним увязалась толпа мальчишек. Некоторые из детей ему понравились, он сказал:

«Человечки, хотите слив?»

И дал им несколько штук. Тогда подошли другие и сказали: «Дай нам тоже слив или чего-нибудь». Но он скорчил им гримасу и плюнул косточкой, забавляясь, что раздражил их. Некоторые мальчуганы рассердились так сильно, что стали бросать в него гнилыми яблоками, грушами, травой, разным мусором. Посмеиваясь, он пошел от них. Один из мальчиков попал ему в спину камнем, причинившим боль, и это уже вывело его из терпения... Наконец у шлюза комок земли попал ему в голову,— и он вне себя закричал:

«Что у вас — бургомистров нет,— смотреть за порядком!..» Но и это нисколько не испугало мальчишек...

В праздники он катается по заливу в парусном ботике, купленном у маляра Гарменсена за сорок гульденов и кружку пива. Однажды, когда он катался по Керкраку, к его боту стало подходить пассажирское судно, где на палубе собралось много людей, горевших любопытством поближе рассмотреть царя. Судно подошло почти вплоть, и царь, желая отделаться от назойливости, схватил две пустые бутылки и бросил их одну за другой прямо в толпу пассажиров, но, к счастью, никого не задел...

Он чрезвычайно любознателен, по всякому поводу спрашивает: «Что это такое?» И когда отвечают,— он говорит: «Я хочу это видеть». И рассматривает и спрашивает, пока не поймет. В Утрехте, куда он ездил с частью своих спутников для свидания с штатгальтером голландским, английским королем Вильгельмом Оран-

ским,— пришлось водить его по воспитательным домам, гошпиталям, различным фабрикам и мастерским. Особенно понравилось ему в анатомическом кабинете профессора Рюйша,— он так восхитился отлично приготовленным трупом ребенка, который улыбался, как живой, что поцеловал его. Когда Рюйш снял простыню с разнятого для анатомии другого трупа,— царь заметил отвращение на лицах своих русских спутников и, гневно закричав на них, приказал им зубами брать и разрывать мускулы трупа...

Все это я записал по рассказам разных людей, но вчера мне удалось увидеть его. Он выходил из лавки вдовы Якова Ома.

Он шел быстро, размахивая руками, и в каждой из них держал по новому топорищу. Это — человек высокого роста, статный, крепкого телосложения, подвижной и ловкий. Лицо у него круглое, со строгим выражением, брови темные, волосы короткие, кудрявые и темноватые. На нем был саржевый кафтан, красная рубашка и войлочная шляпа.

Таким его видели сотни людей, собравшихся на улице, а также моя жена и дочь...»

.

«Мин хер кениг... Вчерашнего дня прислали из Вены цезарские послы к нашим послам дворянина с такою ведомостью, что господь бог подал победу войскам цезаря Леопольда над турок такую, что турки в трех окопах отсидеться не могли, но из всех выбиты и побиты и побежали через мост, но цезарцы из батарей стрелять стали. Турки стали бросаться в воду, а цезарцы сзади рубить, и так вконец турок побили и обоз взяли. На том бою убито турков 12 000, меж которыми великий визирь, а сказывают, будто и султан убит.

Генералиссимусом над цезарскими войсками был брат арцуха савойскова — Евгений, молодой человек, сказывают — 27 лет, и этот бой ему первый...

Сие донесши, оным триумфом вам, государю, поздравляя, просим — дабы всякое веселие при стрельбе пушечной и мушкетной отправлено было... Из Амстердама, сентября в 13 день... Питер...»

В январе Петр переехал в Англию и поселился верстах в трех от Лондона, в городке Дептфорде на верфи, где он увидел то, чего тщетно добивался в Голландии: корабельное по всем правилам науки искусство, или геометрическую пропорцию судов. Два с половиной месяца он учился математике и черчению корабельных планов. Для учреждения навигаторской школы в Москве взял на службу ученого профессора математики Андрея Фергарсона и шлюзного мастера капитана Джона Перри — для устройства канала между Волгой и Доном. Моряков англичан уломать не смогли, сильно дорожились, а денег в посольской казне было мало. Из Москвы непрерывно слали соболя, парчу и даже кое-что из царской ризницы: кубки, ожерелья, китайские чашки, но всего этого не хватало на уплату больших заказов и наем людей.

Выручил любезный англичанин лорд Перегрин маркиз Кармартен: предложил отдать ему на откуп всю торговлю табаком в Московии и за право ввезти три тысячи бочек той травы никоцианы, — по пятисот фунтов аглицкого веса каждая, — уплатил вперед двадцать тысяч фунтов стерлингов... Тогда же удалось взять на службу знаменитейшего голландского капитана дальнего плавания, человека гордого и строптивого, но искусного моряка, — Корнелия Крейса: жалованье ему положили 9000 гульденов, — по-нашему — 3600 ефимков, — дом на Москве и полный корм, звание вице-адмирала и право получать три процента с неприятельской добычи, а буде возьмут в плен, — выкупить его на счет казны.

Через Архангельск и Новгород прибывали в Москву иноземные командиры, штурманы, боцманы, лекари, матросы, коки и корабельные и огнестрельные мастера. Царскими указами их размещали по дворянским и купеческим дворам, — в Москве начиналась великая теснота. Бояре не знали, что им делать с такой тучей иноземцев.

Тянулись обозы с оружием, парусным полотном, разными инструментами для обделки дерева и железа, китовым усом, картузной бумагой, пробкой, якорями,

бокаutom и ясенем, кусками мрамора, ящиками с младенцами и уродами в спирту, сушеные крокодилы, птичьи чучела... Народ перебивается с хлеба на квас, нищих полна Москва, разбойнички — и те с голоду пухнут, а тут везут!.. А тут гладкие, дерзкие иноземцы наскакивают... Да уж не зашел ли у царя ум за разум?

С некоторого времени по московским базарам пошел слух, что царь Петр за морем утонул (иные говорили, что забит в бочку), и Лефорт-де нашел немца одного, похожего, и выдает его за Петра, именем его теперь будет править и мучить и старую веру искоренять. Ярыжки хватали таких крикунов, тащили в Преображенский приказ. Ромодановский сам их допрашивал под кнутом и огнем, но нельзя было добиться, откуда идут воровские слухи, где самое гнездо. Усилили караул в Новодевичьем, чтобы не было каких пересылок от царевны Софьи. Ромодановский зазывал к себе пировать бояр и больших дворян, вина не жалел. Ставили к дверям мушкетеров, чтобы гости сидели крепко, и так пировали по суткам и более, карлы и шуты ползали под столами, слушая разговоры, ходил меж пьяными ученый медведь, протягивал в лапах кубок с вином, чтобы гость пил, а кто пить не хотел, — медведь, бросив кубок, драл его и, наваливаясь, норовил сосать лицо. Князь-кесарь, тучный, усталый, дремал сполупьяна на троне, чутко слушая, остро видя, но гости и во хмелю не говорили лишнего, хоть он и знал про многих, что только и ждут, когда под Петром с товарищи земля зашатается...

Враг вскорости сам обнаружился открыто. В Москве появилось человек полтораста стрельцов, убежавших из войска, из-под литовского рубежа. Туда были посланы на подкрепление воеводе, князю Михайле Ромодановскому, четыре стрелецких полка — полковников Гундертмарка, Чубарова, Колзакова и Чермного. Это были те полки, что по взятии Азова остались на крепостных работах в Азове и Таганроге и позапрошлой осенью бунтовали вместе с казаками, грозясь сделать, как Стенька Разин. Им хуже редьки надоела тяжелая служба, хотелось вернуться в Москву, к стрельчихам, к спокойной торговлишке и ремеслам, вместо отдыха, —

как простых ратников, погнали их на литовский рубеж, в сырые места, на голодный корм.

Стрельцов, видимо, на Москве кое-кто ждал. Их челобитная сразу пошла (через дворцовую бабу) в Кремль, в девичий терем, где не крепко запертая жила Софьяна сестра, царица Марфа. Через ту же бабу от Марфы был скорый ответ:

«У нас наверху позамялось: некоторые бояре, что на Кукуй часто ездят и с иноземцами кумятся, хотят царицу Алексея задушить. Да мы его подменили, и они, рассердясь, молодую царицу били по щекам... Что будет,— не знаем... А государь — неведомо жив, неведомо мертв... Если вы, стрельцы, на Москву не поторопитесь, не видать вам Москвы совсем, про вас уж указ написан...»

С этим письмом стрельцы бегали по площадям и, где нужно, кричали: «Бывало, царица Софья кормила по восьми раз в году по триста человек, и сестры ее, царицы, кормили ж,— давали в мясоед простым людям языки говяжьих и студень, полотки гусиные, куры в кашах и пироги с говядиной и яйцами, а потом давали соленую буженину, и тешки, и снятки, и вина вдоволь, двойного меду цыженого... Вот какие царицы у нас были... А ныне хорошо жрут одни иноземцы, а вам всем с голоду помереть, на ваш-то сытый кусок крокодилов за морем покупают». Приходили они шуметь к Стрелецкому приказу, не испугались и боярина Ивана Борисовича Троекурова, а когда нескольких крикунов схватили было, повели в тюрьму,— отбили товарищей...

Князь-кесарь вызвал генералов — Гордона, Автонома Головина, и порешили — незамедлительно беглых стрельцов выбить из Москвы вон. Федор Юрьевич в сильной тревоге поехал проверять гвардейские и солдатские полки, но повсюду было тихо, смирно. Отобрали сто человек семеновцев и вызвали охотников из посадского купечества. Ночью, без шума, пошли в слободу, по стрелецким дворам, начали ломать ворота, выбивать стрельцов поодиночке. Но никто из них не сопротивлялся: «Ай, это вы, семеновцы... Чего шумите, мы и так уйдем...» Брали мешок с пирогами, ружье, завернутое в тряпицу, уходили, посмеиваясь, будто сделали то, за чем были в Москве...

Стрельцы уносили на литовский рубеж письмо царевны Софьи. В тот день Марфа посылала с карлицей в Новодевичье царевне Софье в постном пироге стрелецкую челобитную. Софья через карлицу передала ответ:

«Стрельцы... Вестно мне учинилось, что из ваших полков приходило к Москве малое число... И вам быть в Москве всем четверем полкам и стать под Девицким монастырем табором, и бить челом мне, чтоб идти мне к Москве против прежнего на державство... А если солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве отпускать бы не стали,— с ними вам управиться, их побить и к Москве нам быть... А кто б не стал пускать,— с людьми, али с солдаты,— и вам чинить с ними бой...»

Сие был приказ брать Москву с бою. Когда беглые вернулись с царевниным письмом на литовский рубеж в полки, там начался мятеж.

12

И Петр и великие послы не дуже разбирались в европейской политике. Воевать для московитов значило: охранять степи от кочевников, смирить разбойничьи набеги крымских татар, обезопасить гужевые и водные пути на восток, пробиться к морю.

Европейская политика казалась им делом мутным. Они твердо верили в письменные договоры и клятвы королей. Знали, что французский король с турецким султаном заодно и что Вильгельм Оранский, как король английский и голландский штатгальтер, обещал Петру пособлять в войне с турками. И вдруг,— снег на голову— приходит непонятная весть (привез ее из Польши от Августа шляхтич),— австрийский цезарь Леопольд вступил в мирные переговоры с турками, и об этом замирении особенно хлопочет Вильгельм Оранский, не спросясь ни московитов, ни поляков.

А все недавние уверения его в ревности к успехам христианского оружия против врагов гроба господня? Это что ж такое? Яхту Петру подарил... Назвал братом... Пировали вместе... Это как же теперь думать?

Было еще понятно, что цезарь Леопольд разговаривает с турками о мире: между ним и французским королем начиналась война за испанское наследство,

то есть (как понимали послы) — кто из них посадит сына в Мадрид королем... Дело великое, конечно, но при чем здесь Англия и Голландия?

Петру и великим послам трудно было усвоить то, что английские и голландские торговые и промышленные люди давно уже кровно озабочены в войне за сокращение торгового и военного господства Франции на Атлантическом океане и Средиземном море, что испанское наследство — не трон для того или иного королевского сына, не драгоценная корона Карла Великого, а свободные пути для кораблей, набитых сукном и железом, шелком и пряностями, богатые рынки и вольные гавани, и что голландцам и англичанам удобнее воевать не самим, а втравить других... И еще мудренее казалось, что англичане и голландцы, стремясь развязать руки австрийскому цезарю, — для войны с Францией, — настоятельно желают, чтобы русские продолжали войну с султаном... Сие есть двоясмысленный и великий европейский политик...

Петр вернулся в Амстердам. Бургомистры, спрошенные о неприятных слухах из Вены, отвечали уклончиво и разговор переводили на торговые дела. Так же уклонялись они и от другого важного для московитов дела... В этом году на Урале кузнечным мастером Демидовым была найдена магнитная железная руда... Виниус писал Петру:

«...Лучше той руды быть невозможно и во всем мире не бывало, так богата, что из ста фунтов руды выходит сорок фунтов чугуна. Пожалуйста, подкучай послам, чтоб нашли железных мастеров добрых, умевших сталь делать...»

Англичане и голландцы весьма внимательно слушали разговоры про магнитную руду на Урале, но, когда дело доходило до подыскания добрых мастеров, мялись, виляли, говорили, что-де вам самим с такими заводами не справиться, съездим, посмотрим на месте, может, сами возьмемся... Железных мастеров так и не удалось нанять ни в Англии, ни в Голландии.

Ко всем тревогам прибавилась весть о стрелецком воровстве в Москве. Из Вены тайный пересыльщик написал великим послам, что-де и здесь уже знают об этом, — какой-то ксендз болтает по городу, будто в Мо-

скве бунт, князь Василий Голицын вернут из ссылки, царевна Софья возведена на престол, и народ присягнул ей в верности...

• • • • •
«...Мин хер кениг... В письме вашем государском объявлено бунт от стрельцоф, и что вашим правительством и службою солдат усмирен. Зело радуемся. Только мне зело досадно на тебя,— для чего ты в сем деле в розыск не вступил и воров отпустил на рубеж... Бох тебя судит... Не так было говорено на загородном дворе в сенях...

А буде думаете, что мы пропали, для того что почты отсюда задержались,— только, слава богу, у нас ни один человек не умер, все живы... Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий... Пожалуй не осердись: воистину от болезни сердца пишу... Мы отсель поедем на сей неделе в Вену... Там только и разговоров, что о нашей пропаже... Питер...»

13

В троицын ясный и тихий день на улицах было подметено. У ворот и калиток вяли березовые ветки. Если и виднелся человек,— то сторож с дубиной или копьем у запертых на пудовые замки лавок. Вся Москва стояла обедню. Жаркий ладанный воздух плыл из низеньких дверей, убранных березками. Толпы нищих — и те разомлели в такой синий день на папертях под колокольный звон,— праздничное солнце пекло взъерошенные головы, тело под рубищами... Попахивало вином...

В тихую эту благодать ворвался треск колес — по Никольской бешено подпрыгивала по бревнам хорошая тележка на железном ходу, сытый конь несся скачком, в тележке подскакивал купчина без шапки, в запыленном синем кафтане,— выпучив глаза, хлестал коня... Все узнали Ивана Артемича Бровкина. На Красной площади он бросил раздувающего боками коня подскочившим нищим и кинулся,— горячий, медный,— в Казанский собор, где обедню стояли верхние бояре... Распихивая таких людей, до кого в мыслях дотронуться страшно, увидел коренастую парчовую спину князя-ке-

саря: Ромодановский стоял впереди всех на коврике перед древними царскими воротами, желтоватое и толстое лицо его утонуло в жемчужном воротнике. Протолкавшись, Бровкин махнул князю-кесарю поклон в пояс и смело взглянул в мутноватые глаза его, страшные от гневно припухших век...

— Государь, всю ночь я гнал из Сычевки,— деревенька моя под Новым Иерусалимом... Страшные вести...

— Из Сычевки? — не понимая, Ромодановский тяжело уставился на Ивана Артемича.— Ты что — пьян, чина не знаешь? — Гнев начал раздувать ему шею, зашевелились висячие усы. Бровкин, не страшаясь, присунулся к его уху:

— Четырьмя полки стрельцы на Москву идут. От Иерусалима днях в двух пути... Идут медленно, с обозами... Уж прости, государь, потревожил тебя ради такой вести...

Прислонив к себе посох, Ромодановский схватил Ивана Артемича за руку, сжал с натугой, багровея, оглянулся на пышно одетых бояр, на их любопытствующие лица... Все глаза опустили перед князем-кесарем. Медленным кивком он подозвал Бориса Алексеевича Голицына:

— Ко мне — после обедни... Поторопи-ка архимандрита со службой... Автоному скажи да Виниусу, чтоб ко мне, не мешкая...

И снова, чувствуя шепот боярский за спиной, обернулся в полтела, муть отошла от глаз... Люди со страха забыли и креститься... Слышно было, как позвякивало кадило, да голубь забил крыльями под сводом в пыльном окошечке.

Четыре полка — Гундертмарка, Чубарова, Колзакова и Черного — стояли на сырой низине под стенами Воскресенского монастыря, называемого Новым Иерусалимом. В зеленом закате за ступенчатой вавилонской колокольной мигала звезда. Монастырь был темен, ворота затворены. Темно было и в низине, затоптаны костры, скрипели телеги, слышались суровые голоса,—

в ночь стрельцы с обозами хотели переправиться через неширокую речку Истру на московскую дорогу.

Задержались они под монастырем и в деревне Сычевке из-за корма. Разведчики, вернувшиеся из-под Москвы, говорили, что там — смятение великое, бояре и большое купечество бегут в деревни и вотчины. В слободах стрельцов ждут, и только бы им подойти, — побьют стражу у ворот и впустят полки в город. Генералиссимус Шеин собрал тысячи три потешных, бутырцев, лефортовцев и будет биться, но — думать надо — весь народ подсобит стрельцам, а стрельчихи уж и сейчас пики и топоры точат, как полоумные бегают по слободе, ждут — мужей, сыновей, братьев...

Весь день в полках спорили, — одни хотели прямо ломиться в Москву, другие говорили, что надобно Москву обойти и сесть в Серпухове или в Туле и оттуда слать гонцов на Дон и в украинные города, — звать казаков и стрельцов на помощь.

— Зачем — в Серпухов... Домой, в слободы...

— Не хотим в осаду садиться... Что нам Шеин...
Всю Москву подыдем...

— Один раз не подняли... Дело опасное...

— У них с войском — Гордон да полковник Краге... Эти не пошутят...

— А мы устали... И зелья мало... Лучше в осаду сесть...

На телегу влез Овсей Ржов. Был он выбран пятисотенным. Еще в Торопце, откуда начался бунт, выкинули всех офицеров и полковников, Тихон Гундертмарк только и спасся, что на лошади, Колзаков с разбитой головой едва ушел за реку по мостовинам. Тогда же созвали круг и выбрали стрелецких голов... Овсей, надсаживая голос, закричал:

— У кого рубашка на теле? У меня — сгнила, с прошлого года бороду не чесал, в бане не был... У кого рубашка, — садись в осаду... А у нас одна дума — домой...

— Домой, домой! — закричали стрельцы, влезая на воза. — Забыли, что Софья нам отписала? Как можно скорее идти выручать. А не поторопимся — наше дело погибло... Франчишку Лефорта по гроб себе нака-

чаем на шею... Лучше нам сейчас биться, да успеть Софью посадить царицей... Будет нам и жалованье, и корм, и вольности. Столб опять на Красной площади поставим. Бояр с колокольни покидаем, — дома их разделим, продуванизим, царица все нам отдаст... А Немецкая слобода, — люди забудут, где и стояла...

На телегу к Овсею вскочили стрельцы-заводчики — Тума, Проскуряков, Зорин, Ерш... Застучали саблями о ножны...

— Ребята, начинай переправу...

— Кто к Москве не пойдет, — сажать тех на копья...

Многие побежали к телегам, дико закричали на лошадей. Обоз и толпы стрельцов двинулись к дымящейся реке... Но на том берегу в неясных кустах замахали чем-то — будто значком, и надрывной голос протянул:

— Стой, стой...

Вглядываясь, различили над водой человека в латах, в шлеме с перьями. Узнали Гордона. Стало тихо...

— Стрельцы! — услышали его голос. — Со мной четыре тысячи войск, верных своему государю... Мы заняли прекрасную позицию для боя... Но мне очень не хочется проливать братскую кровь. Скажите мне, о чем вы думаете и куда вы идете?

— В Москву... Домой... Оголодали... Ободрались...

— Зачем вы нас в сырые леса загнали?..

— Мало нас побито под Азовом... Мало мы мертвечины ели, когда из Азова шли...

— Изломались на крепостных работах...

— Пустите нас в Москву... Дня три поживем дома, потом покоримся...

Когда откричались, Гордон приставил ладони ко рту:

— Очень карашо... Но только дураки переправляются ночью через реку. Дураки!.. Истра глубокая река, потопите обозы... Лучше подождите на том берегу, а мы — на этом, а завтра поговорим...

Он влез на рослого коня и ускакал в ночной сумрак. Стрельцы помялись, пошумели и стали разводить костры, варить кашу...

Когда из безоблачной зари поднялось солнце, увидели за Истрой на холме ровные ряды Преображенского полка и выше их — двенадцать медных пушек на зеленых лафетах. Дымили фитили. На левом крыле стоя-

ли пять сотен драгун со значками. На правом, загораживая Московскую дорогу, за рогатками и дефилями, — остальные войска...

Стрельцы подняли крик, торопливо впрягали лошадей, ставили телеги четырехугольником — по-казачьи... С холма шагом спустился Гордон с шестью драгунами, подъехал к реке, вороной конь его понюхал воду и скачками через брод вынес на эту сторону. Стрельцы окружили генерала...

— Слюшайте... (Он поднял руку в железной перчатке...) Вы добрые и разумные люди... Зачем нам биться? Выдайте нам заводчиков, всех воров, кто бегал в Москву.

Овсей рванулся к его коню, — борода клочьями, красные глаза:

— У нас нет воров... Это вы русских людей ворами крестите, сволочи! У нас у всех крест на шее... Франчишке Лефорту, что ли, этот крест не нравится?

Надвинулись, загудели. Гордон полуприкрыл глаза, сидел на коне не шевелясь:

— В Москву вас не пустим... Послушайте старого воина, бросьте бунтовать, будет плохо...

Стрельцы разгорались, кричали уже по-матерному. Рослый, темноволосый, соколиноглазый Тума, взлезши на пушку, размахивал бумагой.

— Все наши обиды записаны... Пустите нас за реку, — хоть троих, мы прочтем челобитную в большом полку...

— Пусть сейчас читает... Гордон, слушай...

Запинаясь, рубя воздух стиснутым кулаком, Тума читал:

— «...будучи под Азовом, еретик Франчишко Лефорт, чтоб русскому благочестию препятствие великое учинить, подвел он, Франчишко, лучших московских стрельцов под стену безвременно и, ставя в самых нужных к крови местах, побил множество... Да его же умышлением делан подкоп, и тем подкопом побил он стрельцов с триста, и более!..»

Гордон тронул шпорами коня, хотел схватить грамоту. Тума отшатнулся. Стрельцы бешено закричали.

Тума читал:

— «Его ж, Франчишки, умышлением, всему народу чинится наглость, и брадобритие, и курение табаку во всесовершенное ниспровержение древнего благочестия...»

Не надеясь более перекричать стрельцов, Гордон поднял коня на дыбы и сквозь раздавшуюся толпу поскакал к реке. Видели, как он соскочил у палатки генералиссимуса. Вскоре там загорелись под косым солнцем поповские ризы. Тогда и стрельцы велели служить молебн перед боем. Попоной накрыли лафет у пушки, поставили конское ведро с водой — кропить. Сняли шапки. Босые, оборванные попы истово начали службу... «Даруй, господи, одоление на агарян и филистимлян, иноверных языцев...»

На той стороне, у палатки Шеина, уже подходили к кресту, а стрельцы все еще стояли на коленях, подпевали. Крестясь, шли за ружьями, скусывали патроны, заряжали. Попы свернули потрепанные епитрахили и ушли за телеги. Тогда с холма враз ударили все двенадцать пушек... Ядра, шипя, понеслись над обозом и стали рваться у монастырских стен, вскидывая вороха земли...

Овсей Ржов, Тума, Зорин, Ерш,— размахивая саблями:

— Братцы, пойдем грудью напролом...

— Добудем Москву грудью...

— Стройся в роты...

— Пушки, пушки откатывай...

Стрельцы сбегались в нестройные роты, бросали вверх шапки, неистово кричали условленный знак:

— Сергиев! Сергиев!

Полковник Граге велел принизить прицел, и батарея ударила ядрами по обозу,— полетели щепы, забили лошади. Стрельцы отвечали ружейными залпами и бомбами из четырех пушек. В третий раз с холма выстрелили в самую гущу полков. Часть стрельцов кинулась к рогаткам и дефилям, но там их встретили бутырцы и лефортовцы. Четвертый раз прогрохотали орудия, густым дымом окутался холм. Стрелецкие роты смешались, закрутились, побежали. Бросая знамена, оружие, кафтаны, шапки, драли кто куда. Драгуны, переправив-

шись через речку, поскакали в угон, сгоняя бегущих, как собаки стадо, назад в обоз.

В тот же день генералиссимус Шеин перенес стан под монастырские стены и начал розыск. Ни один из стрельцов не выдал Софьи, не помянул про ее письмо. Плакались, показывали раны, трясли рубищами, говорили, что к Москве шли страшною неурядною яростью, а теперь опомнились и сами видят, что — повинны.

Тума, висая на дыбе, со спиной, изодранной кнутом в клочья, не сказал ни слова, глядел только в глаза допросчиков нехорошим взглядом. Туму, Проскурякова и пятьдесят шесть самых злых стрельцов повесили на Московской дороге. Остальных разослали в тюрьмы и монастыри под стражу...

15

Таких увертливых людей и лгунов, как при цезарском дворе в Вене, русские не видели отроду... Петра приняли с почетом, но как частного человека. Леопольд любезно называл его братом, но с глазу на глаз, и на свидание приходил инкогнито, по вечерам, в полумаске. Канцлер в разговорах насчет мира с Турцией со всем соглашался, ничего не отрицал, все обещал, но, когда доходило до решения, увертывался, как намыленный. Петр говорил ему: «Англичане и голландцы хлопочут лишь из-за прибылей торговых, не во всяком деле надобно их слушать. А нам писал иерусалимский патриарх, чтоб гроб господень оберегли... Так неужто цезарю гроб господень не дорог?..» Канцлер отвечал: «Цезарь вполне присоединяется к сим высоким и достопочтенным мыслям, но на пятнадцатилетнюю войну истрачены столь несметные суммы, что единственным достойным деянием является мир в настоящее время...»

«Мир, мир,— говорил Петр,— а с французами собираетесь воевать, как же сие?»

Но канцлер в ответ только глядел веселыми водянисто-непонимающими глазами. Петр говорил, что ему нужна турецкая крепость Керчь, и пусть-де цезарь, подписывая с турками мир, потребует Керчь для Москвы. Канцлер отвечал, что, несомненно, сии претензии с восторгом разделяются всем венским двором, но

он предвидит в вопросе о Керчи великие трудности, ибо турки не привыкли отдавать крепостей без боя...

Словом, ничего путного из посещения Вены не получалось. Даже послам не давали торжественной аудиенции для вручения грамот и подарков. Послы уже соглашались идти через кавалерские комнаты без шляп и ограничиться сорока восемью простыми гражданами для переноса подарков, но упорно настаивали, чтобы при входе в зал обер-камергер громогласно провозгласил царский титул, хотя бы малый, и чтоб царские подарки на ковер к ногам цезаря кладены не были... «Мы де не чуваша и цезарю не данники, а народ равновеликий...» Министр двора улыбался, разводил руками: «Сих неслыханных претензий удовлетворить никак невозможно...»

Тут еще горше, чем в Голландии, узнали, что такое европейский политик. С горя ездили в оперу, дивились. Посетили загородные замки. Были на великом придворном машкараде...

Петр совсем собрался уже ехать в Венецию. Из Москвы от Ромодановского и Виниуса пришли письма о стрелецком бунте под Новым Иерусалимом.

.

«...Мин хер кених... Письмо твое, июня 17 дня писанное, мне отдано, в котором пишешь, ваша милость, что семя Ивана Милославского растет,— в чем прошу вас быть крепких, а кроме сего ни чем сей огонь угасить не мочно...

Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете... Питер...»

За обедней в Успенском соборе князь-кесарь, приложась к кресту, вошел на амвон, повернулся к боярам, посохом звякнул о плиты:

— Великий государь Петр Алексеевич изволит быть на пути в Москву.

И пошел сквозь толпу, переваливаясь. Сел в золоченую карету с двумя саженого роста зверовидными гайдуками на запятках, загрохотал по Москве.

Весть эта громом поразила бояр. Обсиделись, привыкли за полтора года к тихому благополучию... Принесло ясна сокола! Прощай, значит, сон да дрема,— опять надевай машкерку. А отвечать за стрелецкие бунты? за нешибкую войну с татарами? за пустую казну? за все дела, кои вот-вот собирались начать, да как-то еще не собрались? Батюшки, беда!

Не до отдыха стало, не до неги. Два раза в день сходилась большая государева Дума. Приказали всем купеческим сидельцам закрыть лавки, идти в приказ Большой Казны — считать медные деньги, чтоб в три дня все сосчитать... Призвали приказных дьяков,— Христом богом просили,— буде какие непорядки в приказах — как-нибудь, навести порядок, мелких подьячих и писцов в эти дни домой на ночь не отпускать, строптивых привязывать к столам за ногу...

Бояре готовились к царским приемам. Иные вытаскивали из сундуков постылое немецкое платье и парики, пересыпанные мятой от моли. Приказывали лишние образа из столовых палат убрать, на стены вешать хоть какие ни на есть зеркала и личины. Евдокия с царевичем и любимой сестрой Петра — Натальей — спешно вернулись из Троицы.

Четвертого сентября под вечер у железных ворот дома князя-кесаря остановились две пыльные кареты. Вышли Петр, Лефорт, Головин и Меньшиков. Постучали. На дворе завывали страшные кобели. Отворивший солдат не узнал царя. Петр пхнул его в грудь и пошел с министрами через грязный двор к низенькому, на шарах и витых столбах, крытому свинцом крыльцу, где у входа на цепи сидел ученый медведь. Сверху, подняв оконную раму, выглянул Ромодановский,— опухшее лицо его задрожало радостью.

От Ромодановского царь поехал в Кремль. Евдокия уж знала о прибытии и ожидала мужа, прибранная, разрумянившаяся. Воробыха в нарядной душегрее, жмуря глаза, улыбаясь, стояла на страже на боковом царицыном крылечке. Евдокия поминутно выглядывала в окошко на Воробыху, освещенную сквозь

дверную щель,— ждала, когда она махнет платком. Вдруг баба вкатилась в опочивальню:

— Приехал!.. Да прямо у царевнина крыльца вылез... Побегу, узнаю...

У Евдокии сразу опустела голова — почувствовала недоброе. Обессилев — присела. За окном — звездная осенняя ночь. За полтора года разлуки не написал ни письмеца. Приехав,— сразу к Наталье кинулся... Хрустнула пальцами... «Жили, были в божьей тишине, в непрестанной радости. Налетел — мучить!»

Вскочила... Где ж Алешенька? Бежать с ним к отцу!.. В двери столкнулась с Воробьиной... Баба громко зашептала:

— Своими глазами видела... Вошел он к Наталье... Обнял ее,— та как заплачет... А у него лик — суровый... Щеки дрожат... Усы кверху закручены. Кафтан заморский, серой, из кармана платок да трубка торчат, сапоги громадные — не нашей работы...

— Дура, дура, говори, что было-то...

— И говорит он ей: дорогая сестра, желаю видеть сына моего единственного... И как это она повернулась, и тут же выводит Алешеньку...

— Змея, змея, Наташка,— дрожа губами, шептала Евдокия.

— И он схватил Алешеньку, прижал к груди и ну его целовать, миловать... Да как на пол-то его поставит, шляпу заморскую нахлобучит: «Спать, говорит, поеду в Преображенское...»

— И уехал? (Схватилась за голову.)

— Уехал, царица-матушка, ангел кротости,— уехал, уехал, не то спать поехал, не то в Немецкую слободу...

Еще на утренней заре потянулись в Преображенское кареты, колымаги, верхоконные... Бояре, генералы, полковники, вся вотчинная знать, думные дьяки — спешили поклониться вновь обретенному владыке. Протискиваясь через набитые народом сени, спрашивали с тревогой: «Ну, что? ну, как — государь?..» Им отвечали со странными усмешками: «Государь весел...»

Он принимал в большой, заново отделанной палате у длинного стола, уставленного флягами, стаканами, кружками и блюдами с холодной едой. В солнечных лучах переливался табачный дым. Не русской казалась царская видимость,— тонкого сукна иноземный кафтан, на шее — женские кружева, похудевший, со вздернутыми темными усиками, в шелковистом паричке, не по-нашему сидел он, подогнув ногу в гарусном чулке под стул.

В длинных шубах, бородою вперед, выкатывая глаза, люди подходили к царю, кланялись по чину,— в ноги или в пояс, и тут только замечали у ног Петра двух богопротивных карлов, Томоса и Секу, с овечьими ножницами.

Приняв поклон, Петр иных поднимал и целовал, других похлопывал по плечу и каждому говорил весело:

— Ишь — бороду отрастил! Государь мой, в Европе над бородами смеются... Уж одолжи мне ее на радостях...

Боярин, князь, воевода, старый и молодой, опешив, стояли, разведя рукава... Томос и Сека тянулись на цыпочках и овечьими ножницами отхватывали расчесанные, холеные бороды. Падала к царским ножкам древняя красота. Окромсанный боярин молча закрывал лицо рукой, тряся, но царь сам подносил ему не малый стакан тройной перцовой:

— Выпей наше здоровье на многие лета... И Самсону власы резали... (Оглядывался блестящим взором на придворных, поднимал палец.) Откуда брадобритие пошло? Женской породе оно любезно,— сие из Парижа. Ха, ха! (Два раза — деревянным смехом.) А бороду жаль,— в гроб вели положить, на том свете пристанет...

Будь он суров или гневен, кричи, таскай за эти самые бороды, грози чем угодно,— не был бы столь страшен... Непонятный, весь чужой, подмененный,— улыбался так, что сердца захватывало холодом...

В конце стола суетился полячок — цирюльник, намыливая остриженные бороды, брил... Зеркало подставлял, проклятый, чтоб изувеченный боярин взглянул на босое, с кривым ребячьим ртом, срамное лицо свое... Тут же, за столом, плакали пьяные из обритых... Толь-

ко по платью и узнавали — генералиссимуса Шеина, боярина Троекурова, князей Долгоруких, Белосельских, Мстиславских... Царь двумя перстами брал обритых за щеку:

— Теперь хоть и к цесарскому двору — не стыдно...

19

Обедать Петр поехал к Лефорту. Любезный друг Франц едва проснулся к полудню и, позевывая, сидел перед зеркалом в просторной, солнечной, обитой золоченой кожей опочивальне. Слуги хлопотали около него, одевая, завивая, пудря. На ковре шутили карл и карлица, вывезенные из Гамбурга. Управитель, конюший, дворецкий, начальник стражи почтительно стояли в отдалении. Вошел Петр. Придавив Франца за плечи, чтобы не вставал, взглянул на него в зеркало:

— Не розыск был у них, преступное попущение и бабловство... Шеин рассказал сейчас, — и сам, дурак, не понимает, что нить в руках держал... Фалалеев, стрелец, как повели его вешать, крикнул солдатам: «Щуку-де вы съели, а зубы остались...»

В зеркале дикие глаза Петра потемнели. Лефорт, обернувшись, приказал людям выйти...

— Франц... Жало не вырвано!.. Сегодня бояр брил, — вся внутренность во мне кипела... Помыслию о сей кровожаждущей саранче!.. Знают, все знают, — молчат, затаились... Не простой был бунт, не к стрельчихам шли... Здесь страшные дела готовились... Гангреной все государство поражено... Гниющие члены железом надо отсечь... А бояр, бородачей, всех связать кровавой поручкой... Семя Милославского! Франц, сегодня ж послать указы, — из тюрем, монастырей везти стрельцов в Преображенское...

20

За обедом он опять как будто повеселел. Некоторые заметили новую в нем особенность — темный, пристальный взгляд: среди беседы и шуток вдруг, замолкнув, уставится на того или другого, — непроницаемо, пылливо, — нечеловечным взглядом... Дернет ноздрей и — снова усмехается, пьет, хохочет деревянно...

Иноземцы — военные, моряки, инженеры сидели весело, дышали свободно. Русским было тяжело за этим обедом. Играла музыка, ждали дам для танцев. Алексашка Меньшиков поглядывал на руки Петра, лежавшие на столе, — они сжимались и разжимались. Лефорт рассказывал различные курьезы о любовницах французского короля. Становилось шумнее. Вдруг, высоко вскрикнув петушиным горлом, Петр вскочил, бешено переснулся через стол к Шеину:

— Вор, вор!

Отшвырнув стул, выбежал. Гости смешались, поднялись. Лефорт кидался ко всем, успокаивая. Музыка гремела с хором. В сенях появились первые дамы, оправляя парики и платья... Взоры всех привлекла пышная синеглазая красавица, с высоко взбитыми пепельными волосами, — шелковые с золотыми кружевами юбки ее были необъятны, голые плечи и руки белы и соблазнительны до крайности. Ни на кого не глядя, она вошла в зал, медленно, по-ученому, присела, и так стояла, глядя вверх, в руке — роза.

Иноземцы торопливо спрашивали: «Кто эта?» Оказалось — дочь богатейшего купчины Бровкина, — Александра Ивановна Волкова. Лефорт, поцеловав кончики пальцев, просил ее на танец. Пошли пары, шаркая и кланяясь. И снова — замешательство: дыша ноздрями, вернулся Петр, зрачки его нашли Шеина, — выхватил шпагу и с размаху рубанул ею по столу перед лицом отшатнувшегося генералиссимуса. Полетели осколки стекла. Подскочил Лефорт. Петр ударил его локтем в лицо и второй раз промахнулся шпагой по Шеину.

— Весь твой полк, тебя, всех твоих полковников изрублю, вор, бл...ий сын, дурак...

Алексашка бросил даму, смело подошел к Петру, не берегясь шпаги, обнял его, зашептал на ухо. Шпага упала, Петр задышал в Алексашкин парик:

— Сволочи, ах, сволочи... Он полковничьими званиями торговал...

— Ничего, мин херц, обойдется, выпей венгерского...

Обошлось. Выпил венгерского, после сего погрозил пальцем Шеину. Подозвал Лефорта, поцеловал его в распухший нос:

— А где Анна? Справлялся? Здорова? — Переко-

сив сжатый рот, взглянул на оранжевый закат за высокими окнами.— Постой, сам схожу за ней...

В домике у вдовы Монс бегали со свечками, хлопали дверьми, и вдова и сенные девки сбились с ног,— беда: Анхен разгневалась, что плохо были крахмалены нижние юбки, пришлось крахмалить и утюжить заново. Анна сидела наверху, в напудренном парике, но не одетая, в пудромантеле, зашивала чулок. Такой застал ее Петр, пробежав наверх мимо перепуганных вдовы и девок.

Анхен поднялась, закинула голову, слабо ахнула. Петр жадно схватил ее, полураздетую, любимую. В низенькой комнатке звонко стучало ее сердце.

21

Закованных стрельцов отовсюду отвозили в Преображенскую слободу, сажали под караул по избам и подвалам.

В конце сентября начался розыск. Допрашивали Петр, Ромодановский, Тихон Стрешнев и Лев Кириллович. Костры горели всю ночь в слободе перед избами, где происходили пытки. В четырнадцати застенках стрельцов поднимали на дыбу, били жнутом, сняв — волочили на двор и держали над горящей соломой. Давали пить водку, чтобы человек ожил, и опять вздергивали на вывороченных руках, выпытывая имена главных заводчиков.

Недели через две удалось напасть на след... Овсей Ржов, не вытерпев боли и жалости к себе, когда докрасна раскаленными клещами стали ломать ему ребра, сказал про письмо Софьи, по ее-де приказу они и шли в Новодевичье — сажать ее на царство. Константин, брат Овсея, с третьей крови сказал, что письмо они, стрельцы, затоптали в навоз под средней башней Нового Иерусалима. Вскрылось участие царевны Марфы, карлицы Авдотьи и Верки — ближней к Софье женщины...

Но тех, кто говорил с пыток, было немного. Стрельцы признавали вину лишь в вооруженном бунте, но не в замыслах... В этом смертном упорстве Петр чувствовал всю силу злобы против него...

Ночи он проводил в застенках. Днем — в делах с иноземными инженерами и мастерами, на смотрах войск. К вечеру ехал к Лефорту, какому-либо послу или генералу обедать. Часу в десятом, среди смеха, музыки, дурачества князь-папы — вставал, — прямой, со втиснутой в плечи головой, — шагал из пиршественной залы на темный двор и в таратайке по гололедице, укрывая лицо вязаным шарфом от ледяного ветра, ехал в Преображенское, — издали видное по тусклому зареву костров...

Один из секретарей цезарского посольства записывал в дневнике то, что видел в эти дни, и то, что ему рассказывали...

«...Чиновники датского посланника, — писал он, — пошли из любопытства в Преображенское. Они обходили разные темничные помещения, направляясь туда, где жесточайшие крики указывали место наиболее грустной трагедии... Уже они успели осмотреть, содрогаясь от ужаса, три избы, где на полу и даже в сенях виднелись лужи крови, — когда крики, раздирательнее прежних, и необыкновенно болезненные стоны возбуждали в них желание взглянуть на ужасы, совершающиеся в четвертой избе...

Но лишь вошли туда — как в страхе поспешили вон, ибо наткнулись на царя и бояр. Царь, стоявший перед голым, подвешенным к потолку человеком, обернулся к вошедшим, видимо крайне недовольный, что иностранцы застали его при таком занятии. Нарышкин, выскочив за ними, спросил: «Вы кто такие? Зачем пришли?..» И, так как они молчали, объявил, чтобы немедленно отправились в дом князя Ромодановского... Но чиновники, чувствуя себя неприкосновенными, пренебрегли этим довольно наглым приказанием. Однако в погоню за ними пустился офицер, намереваясь обскákat и остановить их лошадь. Но сила была на стороне чиновников, — их было много, и они были бодрее духом... Заметив все же, что офицер намеревается применить решительные меры, они убежали в безопасное место... Впоследствии я узнал фамилию этого офицера, — Алексашка, — царский любимец и очень опасен...»

«...Определен новый денежный налог: на каждого служащего в приказах наложена подать соразмерно должности, которую он исправляет...

Вечером даны были во дворце Лефорта, с царскою пышностью, разные увеселения. Собрание любовалось зрелищем потешных огней. Царь, как некий огненный дух, бегал по обнаженному от листвы саду и поджигал транспаранты и фонтаны, мечущие искры. Царевич Алексей и царица Наталья были тоже зрителями сих огней, но из особой комнаты... На состоявшемся балу единодушно красивейшей из дам признана Анна Монс, говорят, заменившая царю законную супругу, которую он собирается сослать в отдаленный монастырь...»

.

«...Десятого октября, приступая к исполнению казни, царь пригласил всех иноземных послов. К ряду казарменных изб в Преображенской слободе прилегает возвышенная площадь. Это место казни: там обычно стоят позорные колья с воткнутыми на них головами казненных. Этот холм окружал гвардейский полк в полном вооружении. Много было москвитян, влезших на крыши и ворота. Иностранцев, находившихся в числе простых зрителей, не подпускали близко к месту казни.

Там уже были приготовлены плахи. Дул холодный ветер, у всех замерзли ноги, приходилось долго ждать... Наконец его царское величество подъехал в карете вместе с известным Александром и, вылезая, остановился около плах. Между тем толпа осужденных наполнила злополучную площадь. Писарь, становясь в разных местах площади на лавку, которую подставлял ему солдат, читал народу приговор на мятежников. Народ молчал, и палач начал свое дело.

Несчастные должны были соблюдать порядок, они шли на казнь поочередно... На лицах их не было заметно ни печали, ни ужаса предстоящей смерти. Я не считаю мужеством подобное бесчувствие, оно происходило у них не от твердости духа, а единственно от того, что, вспоминая о жестоких истязаниях, они уже не дорожили собой,— жизнь им опротивела...

Одного из них провожала до плахи жена с детьми,— они издавали пронзительные вопли. Он же спокойно

отдал жене и детям на память рукавицы и пестрый платок и положил голову на плаху.

Другой, проходя близко от царя к палачу, сказал громко:

«Посторонись-ка, государь, я здесь лягу...»

Мне рассказывали, что царь в этот день жаловался генералу Гордону на упорство стрельцов, даже под топором не желающих сознавать своей вины. Действительно русские чрезвычайно упрямы...»

...
«У Новодевичьего монастыря поставлено тридцать виселиц четырехугольником, на коих 230 стрельцов повешены. Трое зачинщиков, подавших челобитную царевне Софье, повешены на стене монастыря под самыми окнами Софьиной кельи. Висевший посредине держал привязанную к мертвым рукам челобитную».

...
«Его царское величество присутствовал при казни попов, участников мятежа. Двум из них палач перебил руки и ноги железным ломом, и затем они живыми были положены на колеса, третий обезглавлен. Еще живые, попы зловещим шепотом негодовали, что третий из них отделался столь быстрым родом смерти...»

...
«Желая, очевидно, показать, что стены города, за которые стрельцы хотели силою проникнуть, священны и неприкосновенны, царь велел всунуть бревна между бойницами московских стен. На каждом бревне повешено по два мятежника. Таким способом казнено в этот день более двухсот человек... Едва ли столь необыкновенный частокोल ограждал какой-либо город, каковой изобразили собою стрельцы, перевешанные вокруг всей Москвы».

...
«...27 октября... Эта казнь резко отличается от предыдущей. Она совершена различными способами и почти невероятными... Триста тридцать человек зараз обгрили кровью Красную площадь. Эта громадная казнь могла быть исполнена только потому, что все бояре, сенаторы царской Думы, дьяки — по повелению царя — должны были взяться за работу палача. Мнительность

его крайне обострена; кажется, он подозревает всех в сочувствии к казнимым мятежникам. Он придумал связать кровавой порукой всех бояр... Все эти высокородные господа являлись на площадь, заранее дрожа от предстоящего испытания. Перед каждым из них поставили по преступнику. Каждый должен был произнести приговор стоящему перед ним и после исполнить оный, собственноручно обезглавив осужденного.

Царь сидел в кресле, принесенном из дворца, и смотрел сухими глазами на эту ужасную резню. Он нездоров, — от зубной боли у него распухли обе щеки. Его сердило, когда он видел, что у большей части бояр, не привыкших к должности палача, трясутся руки...

Генерал Лефорт также был приглашен взять на себя обязанность палача, но отговорился тем, что на его родине это не принято. Триста тридцать человек, почти одновременно брошенных на плахи, были обезглавлены, но некоторые не совсем удачно: Борис Голицын ударил свою жертву не по шее, а по спине; стрелец, разрубленный, таким образом, почти на две части, перетерпел бы невыносимые муки, если бы Александр, ловко действуя топором, не поспешил отделить несчастному голову. Он хвастался тем, что отрубил в этот день тридцать голов. Князь-кесарь собственной рукой умертвил четверых. Некоторых бояр пришлось уводить под руки, так они были бледны и обессилены».

.

Всю зиму были пытки и казни. В ответ вспыхивали мятежи в Архангельске, в Астрахани, на Дону и в Азове. Наполнялись застенки, и новые тысячи трупов раскачивала вьюга на московских стенах. Ужасом была охвачена вся страна. Старое забилося по темным углам. Кончалась византийская Русь. В мартовском ветре чудились за балтийскими побережьями призраки торговых кораблей.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕТР ПЕРВЫЙ

Роман

Книга первая	5
------------------------	---

А. Н. Т О Л С Т О Й.
Собрание сочинений
в восьми томах.

Том VII.

Редактор тома
Ю. А. Крестинский.

Оформление художника
Р. Г. Алеева.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 17/XII 1971 г.
Подписано к печати 15/V 1972 г.
Бумага типогр. № 1. Формат 84×108¹/₃₂.
Объем 18,48 усл. печ. л. 19,14 уч.-изд. л.
Тираж 375 000 экз. Изд. № 899. Зак. № 2298.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина, 125865, Москва, А-47,
ГСП, улица «Правды», 24.

Индекс 70756

